

53.3(2)712
К 12

ГОЛОСА МИНУВШЕГО

И. М. КАЛИНИН
**ПОД ЗНАМЕНОМ
ВРАНГЕЛЯ**

ЗАМЕТКИ БЫВШЕГО
ВОЕННОГО
ПРОКУРОРА

069661



Ростов-на-Дону
Ростовское книжное издательство
1991

архив www.elan.kazak.ru



ББК 63.3
К 17

Документальное издание

Печатается по изданию Рабочего издательства «Прибой» (Ленинград, 1925).

Научный редактор **С. В. Карпенко**

Вступительная статья **С. В. Карпенко**

Комментарии составили: преподаватель Российского гос. гуманитарного университета кандидат исторических наук **С. В. Карпенко** и научный сотрудник Института военной истории МО СССР **А. И. Дерабин**.

Калинин И. М.

К 17 Под знаменем Врангеля: Заметки бывшего военного прокурора. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1991. — 352 с.

ББК 63.3

К 0902050000—031 7—91
М 156(03)—91

ISBN 5—7509—0293—5

© Вступительная статья, комментарии, оформление.
Ростовское книжное издательство,
1991

СЛОВО ИСТОРИКА

Много трагических страниц было в истории донского казачества. Несправедливо много. И участие в «крымской эпопее» — не самая последняя из них. До сих пор эта страница как-то обойдена советскими историками. Но тем не менее она хорошо известна специалистам, именно благодаря сохранившимся экземплярам книги воспоминаний бывшего прокурора Донской армии полковника И. М. Калинина, переиздание которой предлагается вниманию читателя.

К сожалению, мы мало знаем об авторе.

Уроженец Архангельской губернии, Иван Михайлович Калинин окончил юнкерское училище и Александровскую военно-юридическую академию, участвовал в 1-й мировой войне. Накануне Февральской революции он, в чине полковника, занимал пост помощника военного прокурора Кавказского военно-окружного суда, в феврале 1917 г. был назначен товарищем (заместителем) полевого военного прокурора Кавказского фронта. В 1918 г. поступил на службу во Всевеликое Войско Донское, был сначала помощником военного прокурора, а затем военным прокурором Донской армии. В апреле 1920 г., в Крыму, возглавил военно-судную часть штаба Донского корпуса. В ноябре 1920 г. эвакуировался с остатками Русской армии генерала П. Н. Врангеля в Турцию, где продолжал служить помощником военного прокурора в суде Донского корпуса до отъезда в Болгарию. Весной 1921 г. стал одним из организаторов «Общеказачьего сельскохозяйственного союза», взявшегося за возвращение казаков в Советскую Россию. В ноябре 1922 г. на состоявшемся в Софии съезде Союза был избран в состав делегации, направляемой в Москву с целью ходатайствовать перед Советским правительством о возвращении на родину казаков, бывших бойцов Донской и Кубанской армий. Выполнив свою миссию, остался в Москве.

В 20-е годы И. М. Калинин были написаны три книги воспоминаний, повествующих о казачьей контрреволюции на Дону, участии донских казаков в операциях армий Деникина и Врангеля, пребывании остатков казачьих войск в Турции и Болгарии — «Русская Вандея» (М.—Л., 1926), «Под знаменем Врангеля» (Л., 1925), «В стране братьев» (М., 1923).

Пройдя вместе с донцами крестным путем гражданской войны и эмиграции, И. М. Калинин хорошо узнал их. Не заразившись специфическим казачьим патриотизмом, он проникся к ним самой искренней симпатией, смотрел на них хотя и несколько со стороны, с некоторой

прошней, но всегда с уважением и сочувствием. Образование и склад души истинного русского интеллигента позволили ему непредвзято взглянуть на события, глубоко проникнуть в психологию казачьей массы, метко охарактеризовать ее вождей, ярко и достоверно описать нравы и быт времен гражданской войны.

Перед тем как непосредственно обратиться к воспоминаниям И. М. Калинина, восстановим кратко историю последнего белого режима на юге России.

«...О причинах наших бывших неудач...

Вместо того, чтобы объединить все силы, поставившие себе целью борьбу с большевизмом и коммуной, и проводить одну политику, «русскую» вне всяких партий, проводилась политика «добровольческая», какая-то частная политика, руководители которой видели во всем том, что не носило на себе печать «добровольцев», — врагов России.

Дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией, и с Азербайджаном, и лишь немногого не хватило, чтобы начать драться с казаками, которые составляли половину нашей армии и кровью своей на полях сражений спаяли связь с регулярными частями».

Такие резкие и категоричные суждения о политике своего предшественника — генерала А. И. Деникина — раздавал корреспондентам крымских газет генерал-лейтенант П. Н. Врангель, назначенный 22 марта (4 апреля) 1920 г. Главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России (ВСЮР). Назначение состоялось последним приказом Деникина. Потеряв после отступления из-под Орла, пораженный на Дону и Кубани, эвакуации Одессы и Новороссийска доверие добровольческого офицерства и союзников, разбитый морально, А. И. Деникин поспешил покинуть Крым, оставшийся единственной территорией ВСЮР. Формально была соблюдена преемственность власти, но по сути смена главкома означала победу правого, монархического крыла деникинщины над кадетскими кругами, резкую перемену политического курса. И отнюдь не по прихоти судьбы во главе остатков деникинских войск встал П. Н. Врангель.

Осенью 1919 г., когда наступление ВСЮР на московском направлении стало захлебываться, а тыл всыхнул крестьянскими восстаниями, генерал П. Н. Врангель, командующий Кавказской армией ВСЮР, стал выдвигаться монархическим генералитетом и саповной бюрократией на пост главкома. По мнению правых, катастрофическое положение явилось результатом пренебрежения Деникиным «принципами военного искусства» и его неумения «устроить тыл». В декабре 1919 г.— феврале 1920 г. Врангель, не брезгуя никакими средствами, склонял командиров добровольческих и казачьих частей к «замене» Деникина, допустившего, по его словам, «колоссальные ошибки, особенно по гражданской части». Результатом этого «похода на власть» стало увольнение из армии и высылка в Константинополь.

После кошмара повороссийской эвакуации, когда дезорганизованные войска дрались за малочисленные суда, когда большая часть Донской армии была брошена на произвол судьбы, правая оппозиция открыто потребовала смены главкома. Епископ Севастопольский Вениами́н, глашатай черносотенцев, проповедывал: Деникина погубил «либеральный» курс, русский народ, «который ждет хозяина», отверг его, а Врангель — «тот божиею милостию диктатор, из рук которого получит власть и царство помазанник». Дорога к воцаренному посту главкома ВСЮР открылась...

«Стратегия была принесена в жертву политике, а политика никуда не годилась». Таков был главный вывод, сделанный новым главкомом из опыта краха «деникии». По мнению Врангеля и его политических советников, шанс на победу могла дать только политика «уступок низам», которая позволила бы вовлечь народные массы, прежде всего среднее крестьянство, в орбиту монархической контрреволюции. Новый политический курс, получивший название «левой политики правыми руками», предусматривал передачу «крепким» крестьянам части помещичьих земель за выкуп, улучшение материального положения рабочих и г. д.

С не меньшей остротой, чем аграрный или рабочий, встал перед новым главкомом вопрос казачий.

Вообще, отношения между монархической контрреволюцией и казачьими областями в немалой степени определяли победы и поражения белого движения на юге. И отношения эти никогда не были безоблачными, а порой становились предгрозовыми. Казачество, прежде всего донское и кубанское, было естественным союзником офицерской Добровольческой армии в борьбе против «захватчиков власти» — большевиков. Зажиточность, сословные привилегии, острое чувство собственности на политую кровью и потом землю и выращенный на ней хлеб стихийно порождали неприятие «камуны», протест против продажности и репрессий. Однако антидемократизм и монархизм белых генералов, их стремление на казачьем заговоре въехать в Белокаменную, а затем лишить Дон и Кубань автономии и вновь подчинить их столичному диктату вызывали противодействие большинства казачьих политиков и военачальников и умеряли боевой пыл казаков-воинов. Сколь яростно казаки, включая женщин и детей, защищали свои станицы и хутора от Красной Армии, столь же безразлично относились они к «освобождению от ига большевиков» центральных губерний России, разве только речь шла о том, чтобы стремительным палетом в тыл врага поживиться грабежом и поправить оскудевшие за годы войны хозяйства. Деникин, у которого Донская армия находилась лишь в оперативном подчинении, так и не смог двинуть ее дальше Воронежа, Кавказскую армию (из кубанцев) — дальше Царицына. Врангель, в бытность в 1919 г. командующим Кавказской армией, на своей шкуре

ощутил, что значит иметь в тыловом районе «автономную» казачью область: отсутствие регулярных пополнений и снабжения, пропаганда «самостийников» против «единой и неделимой России», уклонение казаков от боя и дезертирство.

Возглавив ВСЮР, Врангель прежде всего позаботился о том, чтобы накинуть крепкую узду на казачьих атаманов, казачьи представительные учреждения и правительства, командный и рядовой состав допских и кубанских частей. Задача облегчалась тем, что у атаманов и правительств, оказавшихся в Крыму «без народов и территорий», поубавилось спеси, а войска оставили в Новороссийске лошадей и — боевой дух. Казачьи политики и командиры в большинстве своем покорно склонили головы перед потомком шведских баронов, известным своими антиказачьими настроениями.

2 (15) апреля в Севастополе было подписано соглашение между главкомом ВСЮР и атаманами Донского, Кубанского, Терского и Астраханского казачьих войск, в соответствии с которым Врангелю передавалась «вся полнота гражданской и военной власти» над казачьими вооруженными силами; при сношении с правительствами иностранных держав никакие «сепаратные выступления» атаманов не могли иметь места; за казачьими областями сохранялась «полная автономия и независимость» в отношении внутреннего гражданского устройства.

5 (18) апреля был снят с должности командир Донского корпуса генерал В. И. Сидорин, наиболее оппозиционно настроенный по отношению к новому главкому.

22 июля (4 августа), готовясь к перелесению военных действий в казачьи области, Врангель заключил новое соглашение с атаманами и правительствами казачьих областей. Начинаясь с торжественного провозглашения «полной независимости в их внутреннем устройстве и управлении» казачьих областей Дона, Кубани, Терка и Астрахани, соглашение передавало главкому ВСЮР полную власть над казачьими войсками как в оперативном плане, так и по вопросам организации, управление железными дорогами и линиями связи, денежной и палочковой системой в казачьих областях, осуществление сношений с иностранными государствами. По указанию главкома, казачьи области обязаны были проводить мобилизации и снабжать ВСЮР всем необходимым.

Демократические деятели Дона и Кубани, укрывшиеся от большевиков и белых генералов в меньшевистской Грузии, назвали этот договор «позорным», лишаящим казачьи области суверенитета и обрекающим их на разграбление. «Единственное утешение», по их мнению, состояло в том, что население, страдающее мира, а не гражданской войны, ничего Врангелю не даст или «найдет, что большевизм — меньшее зло». «До Москвы никто не дойдет, в том числе и Врангель». «Борьба с большевиками во всероссийском масштабе, — предупреждали они казаков, — отдаст нас в цепкие лапы реакции, ибо это единственная

ныне активная антибольшевистская сила. Эта сила делает из нас базу, ибо в России ей не на кого опереться. В этом случае мы будем истреблены».

Инстинктивное ощущение безысходности да страстное желание вернуться в родные станицы и хутора — вот что двигало казаками, оказавшимися весной 1920 г. не столько «под знаменем» Врангеля, сколько у него в плену.

Не одной тысячей своих жизней заплатили казаки, воины и беженцы за участие в «крымской эпопее» генерала П. Н. Врангеля. И все лишь для того, чтобы оказаться на Туретчине, которая всегда олицетворяла для них чуть не ирредверие ада. В Константинополе, беседа с донским журналистом Г. Н. Раковским, П. Н. Врангель признал: «В Крыму происходила гальванизация трупа. Все, что там делалось, было лишь искусственным поддержанием жизни умирающего организма». Естественно, вождь не обронил и слова сочувствия тем, кого он вовлек в эту мертвецкую и кто уже никогда из нее не вышел.

Трудно удержаться, чтобы не привести обширную цитату из неизвестного до сих пор документа — протокола допроса чекистами некоего Криуленко, одного из агентов, посланных в июле атаманом А. П. Богатевским на Дон.

«...Врангелю не верят, и «единая, неделимая Россия» произносится среди казачьего офицерства с иронией, а между казаками с ругательствами. В войне Дона с Россией обвиняют Добрармию... С казаками говорить трудно, они смотрят подозрительно, всем недовольны, плохо их кормят, еще хуже одевают, к молодому офицерству относятся безразлично, а штаб-офицерство и командование ругают, ненавидят свой войсковой круг. Говорят: «Дай только вернуться домой, мы этих всех перевешаем, чтобы они другой раз не брались нами командовать, коли не умеют». В победу не верят, а надеются на мир. Отношение к Добрармии то же, что и офицерства. На атамана махнули рукой, говоря, что под дудку Врангеля пляшет. Это казаки молодые, но самое ужасное положение — стариков-беженцев, которые голодные, голые и без дела бродят по Евпаторийскому уезду. Правительстве помощи им почти не дает, а если и дает, то атаманы округов, которые должны заботиться о своих людях, воруют себе, готовясь на всякий случай. Люди же ходят по деревням по работам, но их так много, что всем работы нет даже за харчи, а потому тиф и холера свирепствуют и они мрут повально, и медицина совершенно беспомощна. Эти люди недовольны всем, плачут о брошенных домах, но что они могут сделать — старики, женщины и дети? Они молча мрут, как мухи. Это просто самое обыкновенное кошмарное уничтожение невинного народа».

А теперь — еще более яркие, драматичные, насыщенные событиями и обращенные к конкретным судьбам воспоминания И. М. Калинина.

Предваряя знакомство читателей с этой книгой, заметим, что она,

как и другие, не свободна от идеологических и пропагандистских клише, уже начинавших складываться в середине 20-х годов: восхваление С. М. Буденного, упрощение и принижение казачьего «сепаратизма», преувеличение зависимости казаков от белых генералов и т. д. Думается, современный читатель сам уловит эти, несколько фальшивые, нотки в тексте воспоминаний и не будет ставить их в вину автору, находившемуся на родине в весьма сложном положении (и завершившему свой жизненный путь, скорее всего, на одном из «островов» «Архипелага ГУЛАГ»).

Что касается рецензентов-современников, то они, в целом высоко оценивая воспоминания И. М. Калянина, упрекали его за сбивание на фельетонную топальность, чрезмерную хвалу в адрес Красной Армии, преуменьшение военно-политической опасности врангелевщины. Вместе с тем книга «Под знаменем Врангеля» привлекалась историками как источник для изучения врангелевщины. Внимательный читатель без труда заметит, что ею пользовался М. Булгаков, работая над пьесой «Бег».

СЕРГЕЙ КАРПЕНКО

I. После Новороссийской катастрофы

Остатки разбитых и сброшенных в Черное море армий генерала Деникина¹ нашли себе временное убежище под благодатным небом Крымского полуострова, который с моря защищал от Красной Армии небольшой отряд генерала Слащева².

— Крым нам нужно держать в своих руках во что бы то ни стало. Пусть это будет незначительный клочок земли, но здесь должна тлеть антибольшевистская искра, — говорил мне еще в конце февраля 1920 года, в Екатеринодаре бывший глава архангельского правительства Н. В. Чайковский³, занимавший тогда у Деникина пост министра без портфеля.

— Крым сделается нашей Вандеей, — гордо заявляла газета известного монархиста Шульгина⁴ «Великая Россия», благополучно начавшая выходить в Севастополе после небольшого перерыва.

— Из Крыма мы еще раздуем кадило на всю Россию... Мы еще покажем себя, еще повоюем! — шумели многочисленные безработные администраторы и тыловые герои, уцелевшие от новороссийского разгрома.

Для подобного ликования решительно не было никаких оснований.

Древнее владение Гирсеев⁵ менее всего могло сыграть ту роль, которую возлагали на него современные толстосумы Мичины и князя Пожарские. Разноплеменное, разноязычное население полуострова совершенно не понимало «национальных» задач спасателей отечества. Ставка на крестьянина, которую обычно делали белые вожди и которая неукоснительно вела к проигрышу, в благословенной Тавриде также заранее была обречена на неудачу. Татары, самый консервативный и в то же время самый мирный по своей натуре народ, не имели ни малейшей склонности воевать, вполне убежденные в том, что никакой режим не уменьшит и не увеличит их горных пастбищ. Немцы-колонисты являлись по преимуществу кулацким элементом; всякий же кулак любит защищать свое дра-

ц
гоценное добро чужими, по отнюдь не своими силами. Северные уезды Таврической губернии — Мелитопольский, Днепровский и Бердянский, — где преобладало русское население, находились в руках врага и пребывали в полном покое после того, как Красная Армия прогнала отсюда и белых, и шайки Махно⁶.

Для нового наступления или продолжительной обороны приходилось искать источники внутри «бутылки», в которой оказались остатки южнорусской белогвардейщины. А такие источники отсутствовали. Ясно было, что в самом непродолжительном времени наступит крах. Идти вперед — не с кем, а отсиживаться — не с чем. Полуостров будет очень быстро объеден войсками, которые, наконец, начнут пухнуть с голоду и задохнутся в крымской бутылке.

От поворооссийского погрома более всего уцелело того самого элемента, который безвозвратно губил дело белых вождей. Спаслись решительно все политические деятели решительно всех мастей и оттенков, — а этим последним в антибольшевистском стане не было числа. Бешеная междоусобная борьба этих политиков и политиканов — отчасти общероссийского масштаба, а частью выросших в казачьих кругах и радах — не могла не перенестись с Кубани и Дона в Тавриду.

Казачество никогда не ладило с Добровольческой армией. Казачьи государственные образования — Дон, Кубань, Терек — имели демократическое устройство и потому были сугубо противны руководителям политики главного командования — скрытым реакционерам. Ни для кого не составляло тайны, что за спиной «внепартийной» Добровольческой армии, во главе с Деникиным, стояла старая Россия, весь мир царской бюрократии, жаждущей своих прежних постов с десятитысячными окладами, и «первенствующее сословие», мечтавшее о возвращении в свои прадедовские усадьбы. Все они ненавидели казачьих политических деятелей, считая их неучами, деревенщиной, сепаратистами, полубольшевиками. Вторые, в свою очередь, не жалели крепких слов по адресу своих противников, которых в насмешку титуловали «единонеделимцами».

Борьба с общим врагом, Советской властью, много теряла от этой постоянной грызни, так как счеты политических бойцов находили неизбежное болезненное отражение в сердцах бойцов на фронте. В июле 1919 года

добровольческие реакционеры убили председателя Кубанской рады Н. С. Рябовола⁷. В ответ на это кубанские самостийники прикончили яростного сторонника «Единой и Неделимой», председателя кубанского военного суда В. Я. Лукина. В ноябре деникинские генералы барон Врангель⁸ и Покровский⁹ повесили в Екатеринодаре члена той же рады Калабухова¹⁰.

Декабрьское поражение несколько примирило обе политические группировки юга России. После долгих переговоров и многих скандалов образовалось объединенное «Южно-русское правительство»¹¹ с очень пестрым составом. Председателем его Деникин назначил старого царского чиновника, члена Новочеркасской судебной палаты Н. М. Мельникова, который вместе с тем являлся главой и донского правительства. Портфель министра земледелия получил П. М. Агеев, казакоман эсеровского толка; иностранных дел — генерал Н. Н. Баратов, осетин по национальности, беспартийный; военных — генерал А. К. Кельчевский¹² — беспартийный. Старый революционер Н. В. Чайковский вошел в это правительство министром без портфеля.

Но всем этим господам уже нечем было управлять. «Южно-русское правительство» умерло почти в день своего рождения. Ко времени переброски в Крым для каждой политической группировки опять предоставлялась полная свобода действий. К тому же теперь существовали новые поводы для обострения вражды между этими двумя совершенно разнородными группами.

Штаб Деникина в Новороссийске позаботился о погрузке решительно всех, кроме казаков. Горечь этой обиды теперь давала о себе знать в каждом казачьем сердце. Казачьим политикам этот пример явного предательства со стороны главного командования доставил обильную пищу для новых выпадов против Деникина и его политической теории.

Крым, по словам одного приказа Главнокомандующего, окружало с трех сторон море, с четвертой — непроходимая красноармейская стена. Но и в этом крошечном, замкнутом пространстве, почти в осажденной крепости, как некогда в Иерусалиме, обложенном Веспасианом, кипели политические страсти, бушевали оскорбленные самолюбия, сводились старые и новые счеты, так что после хлопот о насыщении желудка главнейшая забота сливок белого стана сосредоточивалась на мщениии своим

политическим врагам. Холодная черноморская ванна, предпринятая по предписанию такого медика, как тов. Буденный¹³, не принесла особой пользы разгоряченным головам, совершенно позабывшим, что Таврическая губерния не Таврический дворец.

В войсковых частях дело обстояло не лучше.

От многолюдных деникинских армий в Крым перекочевали только жалкие обрывки, из которых впоследствии удалось сформировать четыре худосочных корпуса. Не одна новороссийская катастрофа была повинна в обезлюдении белых полчищ. Знаменитая «Добровольия», — Добровольческая армия Деникина, — обладала свойством губки быстро разбухать и еще быстрее съживаться. Ее кадр составляли «первопоходники»¹⁴, корниловский сброд, по преимуществу выбитая из колеи жизни молодежь, смотревшая на гражданскую войну как на источник дохода, а на боевую работу — как на ремесло. В период своих успехов летом 1919 года эти кадры, с помощью насильственных мобилизаций, превратились в четыре многолюдных дивизии¹⁵, не говоря о многочисленных новых формированиях. Но после бегства от Орла начался обратный процесс. Все мобилизованные — крестьяне и пленные красноармейцы, — разумеется, разбежались. Растаявшая Добрармия еще на Кубани была сведена в один корпус генерала Кутепова¹⁶, впоследствии стяжавшего себе, под прозвищем «Инжир-Паша», такую страшную славу на Балканах.

Донских казаков безжалостно бросили на черноморском побережье. Только незначительное число их, уже в апреле, удалось перевезти в Крым из Туапсе и портов Грузии¹⁷. По словам сложившейся в момент эвакуации песенки, в Новороссийске власти

Погрузили всех сестер.
Дали место санитарам, —
Офицеров, казаков
Побросали комиссарам.

Вечно блуждавшие между красным и белым знаменем кубанцы кацитулировали на побережье, впрочем только для того, чтобы скоро снова подняться против Советской власти под начальством полковника Фостикова¹⁸. Из кубанцев одни только шкуринские отряды¹⁹, запятнавшие себя неслыханными грабежами, необычными даже для Добрармии, сочли за лучшее перебраться в Крым. Впро-

чем, в состав их входило не столько кубанцев, сколько обитателей Кавказских гор.

Так как Деникин в Новороссийске все свои усилия направил на то, чтобы заблаговременно обеспечить перевозочными средствами только кутеповский корпус, то последний явился в Крым с достаточной боевой готовностью и без замедления был двинут на Перекоп, где Слащеву приходилось весьма туго. Все остальное деникинское воинство теперь представляло из себя рассыпанную хранину, шапку вшивых, тифозных, изголодавшихся людей, которым требовалось продолжительное больничное и курортное лечение, но отнюдь не боевая работа.

Особенно жалкий вид имели донцы.

Атаман «Всевеликого Войска Донского» генерал А. П. Богаевский²⁰, разумеется, переехал в Севастополь в весьма не плохих условиях на английском судне «Барон Бек», вывезя с собой громадное количество денежных знаков и всевозможной своей челяди, которую он то и дело повынял в чинах, — благо это ему ничего не стоило.

Но строевым казакам и офицерам пришлось хватить много горя во время их странствований по черноморскому побережью, а затем при переезде в Крым, где для размещения остатков Донской армии отвели г. Евпаторию с уездом.

Вскоре маленькой курортный городок стал неузнаваем.

На улицах замелькали ярко-красные лампасы и околыши шапок тех счастливцев, которые в период бегства не растрясали своих переметных сум и не заразились тифом. Несчастливцы же, — грязные, оборванные, потевшие не только воинский, но и человеческий облик — свезенные на лодках с пароходов, целыми днями валялись на загаженных пристанях, не имея силы подняться на ноги. Более здоровые из них уползали на главную улицу, которая проходила возле пристаней, и загромождали тротуары.

— Станичник*, какого полка будешь?

Землистое, редькой вытянутое лицо неподвижно. Воспаленные, провалившиеся глаза задумчиво рассматривают небо, которое хмурится при виде столь жалкого созерцателя.

* Так обращаются друг к другу незнакомые казаки. Иногда, вместо этого слова, говорят просто — «станция». (Здесь и далее примечания автора.)

— Мы — мамонтовцы, — отвечает за больного сосед, у которого хватает силы не только говорить, но и сбрасывать со своего дырявого чекменя отвратительных «танок», серых паразитов.

Мамонтовцы!

Память с быстротой молнии охватывает все, что связано с этим именем. Дерзки смелый, пагло грабительский набег лучшей донской конницы²¹ под командой лучшего донского генерала²². Ослепительный «успех», фейерверк афиш о бесчисленных «взятых» городах, о десятках тысяч пленных, блистательный триумф и золотая сабля усатому герою. А затем — обычная судьба. Шумные пиры. Разбрасывание награбленных денег. — «Почем арбуз?» — «Пятнадцать рублей». — «На двести, знай мамонтовцев!» В результате — беспардонное разложение под влиянием обильной добычи, гибель конского состава, изнуренного рейдом, смерть вождя от тифа, губительный переход по задонским степям в лютый мороз наперерез Буденному, напиравшему на Тихорецкую²³. И в качестве заключительного аккорда — голод и холод на евпаторийской мостовой.

— Неужели все в таком виде ваши мамонтовцы?

— Кто здоров, тому полбеда. Только мало спаслось нашей братвы. Кто попал к красным, кто ушел к зеленым, немногие добрались до Грузии. Нас, тифозных, побросали в этой самой Туапсе. Думали — пропадем. Ой, что творилось! Отдай все — не хочу другой раз видеть. Мы хоть большие, но как-никак — войско, нас грузили. А что делалось с калмыками — беда.

Калмыки*, по дикому приказу донского правительства, в декабре 1919 года, ввиду наступления красных, снялись со своих мест со всем своим скарбом, скотом, женами, детьми и двинулись на Кубань на манер своих предков монголов.

— Сколько ни пропадали «солнышки»** в дороге, до Туапсе тоже добралось их немало. Перли на пароход почем зря. Их в пагайки, опи режут белугой. «Матерчорт, — кричат офицерам, — ты погоны снял, и кто тебя

* Эти инородцы при царском правительстве были приписаны к казачьему сословию, получили земли и пачали вести оседлый образ жизни. В Донской области они заселяют Сальский округ, центр которого — станция Великокняжеская.

** Шуточное прозвище калмыков за их круглые лица.

знает, а мой — кадетский морда, всякий большак видит». Куды тут! Мало кто пролез за своими зюнгарами*. Когда отчаливали от мола, иные калмычата швыряли о камень своих детишек, а сами бросались в воду. Вот дурные! Жалко подсолнухов**. Мало их доберется до Крыма.

— Сколько же дней вы без еды?

— Пятые сутки крохи во рту не было. Да и по берегу пока брели, не густо разживались. Крестьян еще до нас объели, как саранча нивы. Теперь там хоть шаром покати. Голод будет. Хотелось бы горячего, борща, что ли...

Здесь, на панели, люди почти умирали с голоду, а тут же, в двух шагах, в ресторане «Европа», шел пир горой, и бойкие лакеи-татары едва успевали принимать заказы на самые изысканные кушанья и дорогие вина.

Катастрофа многих разорила, но многие и поживились. Из тех, кто грузился в Новороссийске, одни все оставили на пристани. Другие не только вывезли свое добро, но успели кое-что подцепить и из английских складов. У ловкачей, особенно из числа юнкеров Донского военного училища²⁴, охранявших в Новороссийске погрузку высших донских начальников, сумки рвались от английских брюк, френчей, белья. На европейских базарах немедленно началась спешная реализация новороссийской добычи. Иные, наоборот, от нужды продавали последние сапоги. Должностные лица, имевшие на руках казенные суммы, без стеснения распоряжались ими, как своими собственными. В случае призыва к ответу оправдание простое:

— Все пропало на Кубани, отбили зеленые²⁵.

Или:

— Все остальное в Новороссийске, не успели погрузить.

Пропаж денег оказалось великое множество, а отчетность, конечно, пропала везде. Помню, 11 марта***, во время нападения зеленых на станицу Абинскую, началась паника. Когда нападение было отбито и дорога освободилась, я поехал по станице, направляясь далее на запад. Возле одной хаты, где хохлушка угостила меня куском хлеба, стояла двуколка, заваленная бумагами.

* Донские калмыки в гражданскую войну комплектовали полк, называвшийся Зюнгарским.

** Шуточное прозвище калмыков.

*** По старому стилю, как и все последующие даты.

— Охвигери були. Як зашумели гармати, втикли на бричках. А це бросьли. Це, кажуть, барахло, не треба нам. Я поинтересовался бумагами.

«Денежная прихода-расходная книга 34 Екатерининского полка», — гласил верхний фолиант.

— Без слов все понятно, — подумал я.

Чтобы обнаружить, в каких случаях деньги и отчетность были брошены по злому умыслу и в каких в силу необходимости, донской атаман образовал особую комиссию под председательством ген. Ситникова. Эта комиссия «для расследования дел об утратах казенных ценностей при эвакуации в Крым» работала все лето; штат ее распух до значительных размеров; в конце концов, не посадив никого на скамью подсудимых, она закончила свое бесславное существование тем, что при очередной эвакуации из Крыма в ноябре сама утратила все свои следственные дела.

Но не все успели поживиться в Новороссийске от щедрот доброго дяди, английского короля, и не у всех любителей легкой наживы находились в распоряжении казенные суммы. А хорошо поесть и выпить хотелось большинству, особенно после стольких мытарств, голода или сухоедения.

В селах Евпаторийского уезда начинались неизбежные в таких случаях грабежи, которые иногда принимали полулегальный характер и деликатно назывались «реквизициями».

«Белые войска, расположенные в г. Евпатории и ее окрестностях, заняли все дачи, повыгоняли хозяев, порубили деревья и заборы, убивают людей и хозяйничают, как в завоеванной стране», — писала одна одесская советская газета, номер которой неведомыми путями попал в Крым.

Газета почти не ошибалась.

Очень скоро целый град жалоб на насилия и хищения посыпался во все инстанции. Одно заявление даже было адресовано симферопольскому архиерею, который разумеется, не замедлил препроводить его в донской штаб.

Пили артистически. В вине заливали горечь прошлой неудачи и заглушали гнетущую мысль: «А что же впереди?» Дебоши являлись неизбежными спутниками пьяного угара. В реестрах военно-судебных установлений забили самые громкие фамилии донских генералов, обвиняемых, по шуточной военной терминологии, в «пьянстве,

буянстве и окаянстве». По установившемся в белом стане обычаю, дела о таких лицах дальше производства следствия не шли. Общий масштаб не подходил для этих *Vebermensch*'ей.

О какой-нибудь дисциплине не могло быть и речи. Начальство и подчиненные смешались в одну гниющую кучу. Более богатый казак поил бедного офицера и наоборот. Строго говоря, в гражданскую войну в строевых казачьих частях настоящих офицеров, т. е. старых кадровых, почти не существовало.

— У нас все офицеры «химические», — часто говорили в полках.

— А что это значит?

— Произведены на фронте из простых казаков. Где там достанешь настоящие погоны? Вот ему и чертят химическим карандашом звездочки. Иные настоящих погон, из позумента, за всю службу ни разу не носили.

Иногда казаки говорили про «химических» офицеров:

— Какой он офицер? Такой же козуи*^{*}, как и все. Прапорщик от сохи.

Караульная служба превратилась в фикцию. Часовые без зазрения совести раскладывали бурки на земле и спали до смены подле своих постов. Такой способ окарауливания казенного добра считался еще невинным нарушением устава гарнизонной службы. Иные просто расхищали то, что поручалось их охране. В это благодатное время неохраемое казенное добро имело больше шансов остаться в целости, чем доверенное караулу.

Видимость дисциплины в Евпатории сохранили только юнкера Донского военного училища, по большей части «иногородние»**^{**}, так как казачата получали военное образование в Атаманском военном училище²⁶, которое в Севастополе охраняло от неведомых врагов священную особу донского атамана и его правительство. Эти евпаторийские юнкера были единственной сколько-нибудь реальной силой в руках командующего донской армией. Их берегли и лелеяли, угощали вином и кормили на славу. Сам командарм генерал Сидорин²⁷ нередко являлся попиловать в их среду.

* Козуи, или козя, шуточное искажение слова казак.

** Иногородние — лица не казачьего сословия, живущие среди казаков. В Донской и Кубанской областях они составляют немного свыше 50% всего населения.

Это льстило самолюбию неоперившихся птенцов, а командный состав училища начал высоко задирать нос.

«Янычарский ага», — титуловали в шутку начальника этого училища ген. Максимова, сколько пустого и недалекого, столько же чванного и высокомерного господина.

Возмечтав о своей силе и значении более чем следовало, он нажил массу врагов, которые пустили слух, что «ага» произведен в генералы не то Нестором Махно, не то Юркой Тютюнником!²⁸ Это злословие не особенно далеко уходило от истины: в возведении «аги» на офицерский Олимп был повинен третий «хозяин» Украины — гетман Павло Скоропадский²⁹.

Училищные офицеры, большей частью перебежчики из Красной армии, лица не казачьего происхождения, следовательно, пришельцы в войске Донском и потому третируемые офицерами-казаками, теперь тоже стали поднимать голову и даже предъявили требование увеличить им жалование.

— Ведь сила теперь в нас! Что захотим, то и сделаем, — опростетчиво рассуждали эти молодцы.

Однако не прошло и трех-четырёх месяцев, как оба донские военные училища соединили, казачий элемент взял в них перевес, и все «иногородние» офицеры были безжалостно выкинуты в резерв, на голодное существование, тем же самым «янычарским агой», который до этого времени скрывал свою казакоманию.

II. Донская крамола

В Евпатории царило отнюдь не воинственное настроение.

В первые дни после прибытия на полуостров, когда злополучные вояки приходили в себя и жили не столько рассудком, сколько инстинктом, о войне почти не разговаривали. В продолжительный период бегства от красных многие уже сроднились с мыслью о том, что рано ли, поздно ли, но наступит роковой миг сдачи. Как ни страшили лапы большевиков, но попасть в них казалось неизбежным результатом проигранной кампании. Голод, холод, паразиты, грязь, изнеможение, тиф, бездомное скитальчество, беспросветное будущее — притупили чувство страха перед красными. В этот первоначальный момент состояние казачества в Евпатории было таково, что, по-

явись Красная армия под городом, решительно никто не тронулся бы с места и не оказал бы ей никакого сопротивления.

Да и не с чем было сопротивляться, так как лошади, седла, снаряжение, вся артиллерия и даже часть ручного оружия достались красным или грузинам.

Когда же, наконец, начало пробуждаться сознание, мало кто склонялся к мысли о целесообразности дальнейшей войны. Здравомыслящие люди рассуждали:

— В руках белых армий одно время находилось более половины России, а теперь остался один жалкий клочок. Неистощимые материальные средства, свои и иностранные, пошли прахом. Рабочие везде относились к нам враждебно, крестьяне не пошли за нами, так как мы, помимо своей воли, вели за собой помещиков.

Генеральный же наш штаб, добавляла ходившая по рукам сатира полковника Б. М. Жирова,

Оказался слишком слаб,
И весь плап его мудреный
В пух и прах разбил Буденный.
Прихоть, знать, судьбы нестра:
Нас разбили вахмистра.

— Воевать дальше незачем и не с чем, — таково было общее мнение на первых порах.

Однако, что дальше делать, — никто не знал. Пока же, по старой привычке, казаки ругали всех и вся. Больше всего доставалось представителям Добровольческой армии, которую разделявали на все лады.

— Где же ваш «народ»? У нас здесь сколько казаков-воинов, столько же казаков-беженцев, гражданских лиц. А много ли у вас воронежских, харьковских, курских мужиков? Почему они не пошли за вами, освободители?

— Без вас мы давно помирились бы с большевиками, нашли бы с ними общий язык. А вам, вишь, подай царя да землю панам.

— Пожили на казачьих хлебах два с половиной года... Поотъелись... А в Новороссийске о своих только шкурах думали, побросали казаков на произвол судьбы.

— Одно слово — единаеделимцы.

В Евпатории установилось двоевластие. Существовала добровольческая гражданская власть и комендатура, но допцы плохо признавали их.

Бродячее, безземельное «Всевеликое Войско Донское»,

все еще игравшее в государственность, никак не хотело сознаться в том, что оно состоит на положении бедных родственников в гостях у богатых. За три года самостоятельного существования донское казачество усвоило сепаратистские стремления и не могло от них отрешиться даже теперь, в невольном плену у Добровольии.

Добровольцы здесь считали себя хозяевами и в руготне казачьих сорвиголов видели большую неучтивость. Она неприятно резала слух деникинским администраторам, чинам комендатуры, осважным³⁰ журналистам и всем тем обитателям города, которые исповедывали «единонеделимческий» символ веры. Ни для кого не составляло тайны, что энитеты «Единая и Неделимая» Добровольии выставила на своем знамени в пику окраинам и казакам, которые будущее устройство своих областей, после изгнания большевиков, представляли не иначе, как в виде автономных единиц.

К величайшему ужасу евпаторийских ревнителей «Единой и Неделимой», с 24 марта начал издаваться официоз штаба Донской армии, газета «Донской вестник», принявшая явно враждебный Добровольческой армии тон. Эс-эровским языком она выражала в печати то, что трепали казачьи языки.

«Гражданская война закончится не порабощением одной области другою, а мирным соглашением всего русского народа. Он прогонит всех захватчиков власти как справа, так и слева», — писалось в первом номере. Далее развивалась мысль об искажении идеи борьбы с большевиками, «примазавшимися к Добровольческой армии безответственными лицами».

В сущности, это была довольно старая волынка. Такие песни раздавались почти на каждом заседании донского круга или кубанской рады. Но в Крыму не привыкли к таким крамольным мыслям, тем более когда их высказывали бесприютные гости.

Тон статей «Донского вестника» с каждым номером становился все запосчивее и оскорбительнее. Газета очень зло высмеивала членов Особого Сопещания³¹ (деникинское правительство в 1918—1919 гг.), доведших своей реакционной политикой южнорусские армии до развала, а теперь удиравших в Константинополь с туго набитыми чмодапчиками. «Они обеспечили себе вольготное житье на европейских курортах, а разделяться за их грехи придется казачьим спинам».

Больше всего всполошился заведывающий евпаторийским «Пресс-бюро», т. е. отделением Освага, Борис Ратинов, редактор местной газеты «Евпаторийский курьер». Это был типичный осважник, т. е. журналист, агитатор и контрразведчик в одном лице, всегда готовый служить тому,

Дает кто деньги и чины
И матерьялу на штаны,

как высмеивала его в стихотворном памфлете «Герой нашего времени» сугубо черносотенная крымская газета Измайлова «Царь-Колокол» (1920 г. № 5).

До прихода в Крым белых он редактировал советскую газету. Теперь лез из кожи, чтобы выказать себя верноподданным Доброволии. По своей должности, столько же жандармской, сколько и писательской, он, разумеется, не мог равнодушно относиться к выходкам казачьей газеты. К тому же дела его «Курьера» в это время пошатнулись. Казакам его газета была не нужна, так как они привыкли удостаивать своего внимания только те органы печати, которые украшались вывеской «казачья газета», «казачий журнал» и т. д.

Оппозиционные элементы Евпатории, в том числе и рабочие, которым надоел пресмыкавшийся перед Деникиным «Курьер», с жадностью набросились на «Донской вестник». Хотя рабочие круги далеко не разделяли основных идей этой газеты, но она нравилась своим беспощадно-критическим отношением к Деникину. Наконец, и буржуазия интересовалась этой газетой. Как ни успокаивали крымские газеты тамошнее общество, как ни умаляли решающее значение новороссийской катастрофы, именуя ее «несколько беспорядочной эвакуацией армии», но все обыватели идиллически-спокойных уголков крымского побережья чувствовали, что стряслась непоправимая беда. Толпы оборванных донцов говорили далеко не о спешной эвакуации, а о полном разгроме. В «Донском вестнике» любопытные могли почерпнуть кой-какие сведения о случившемся.

Тираж «Евпаторийского курьера» пал. Доходы Ратинова быстро пошли на убыль.

Осважник решил сразу убить двух зайцев: уничтожить опасное направление и поднять тираж своей газеты. Набравшись смелости, он отправился в гостиницу «Дюльбер», где помещался штаб Донской армии, добрался до

генерал-квартирмейстера Кислова и заявил ему о недопустимости взятого «Донским вестником» тона.

— Впрочем, — дипломатично добавил он, — все эти резкости я объясняю не чем иным, как просто неопытностью донских журналистов. Ничего нет проще устранить зло. Чем иметь свою дорогостоящую газету, донской штаб может дать мне некоторую субсидию, и я организую при своей газете особый казачий отдел.

— Видите ли, это будет не совсем удобно. Вы не казак, а пути и идеология казачества резко расходятся с добровольческими. Как же мы можем ужиться в одной газете? Или вы думаете нас взять под свой контроль?

Осважник смутился.

При выходе из гостиницы он встретил одного крупного донского начальника, ген. Карнова, попробовал было заговорить с ним и начал развивать перед ним мысль о необходимости совместной работы казаков и добровольцев на благо «национальной» России.

— Ваши добровольцы — преторьянцы, — отрезал пылкий генерал. — Они выродились в кондотьеров. У них нет никакой связи с народом и никакой почвы под ногами. Нет у них и отечества. Это просто сброд со всей России, деклассированная молодежь. Казаки же плоть от плоти и кровь от крови черноземной силы, и с вами им не по пути.

Взбешенный Ратимов бросился к добровольческому коменданту города ген. Ларионову.

— Да у них там не только самостоятельность, но и полная измена. Их надо образумить, иначе они вонзят нам нож в спину, — кричал он генералу.

Старый служака, ровным счетом ничего не смысливший в политике, поплелся в «Дюльбер».

— Знаете, того... у вас, говорят, газета левая, — робко высказал он свою мысль начальнику штаба ген.-лейт. Кельчевскому.

— Ах, знаете ли, мы все здесь левые! — полушутя, полусерьезно ответил ему Кельчевский. — Такие уж мы есть, что с нами поделаешь.

Ларионов тоже ушел в страшном смущении.

Прошло еще несколько дней.

Настала Пасха³².

Посещая, по обязанностям информационной службы, столовые, кафе и рестораны и прислушиваясь к разговорам, Ратимов, к великому своему ужасу, услышал, что в

казачьих кругах весьма определенно трактуют — страшно сказать — вопрос о мире с большевиками. В послепраздничном же номере газеты «Донской вестник» главный борзописец, член донского войскового круга, полковник генерального штаба Сысой Бородин обсуждал те условия, на которых казаки могут помириться с советской властью:

— Признание казаками этой власти не должно уничтожать автономии казачьих земель. Комиссары должны избираться только из казаков. Разрешение земельного вопроса должно быть предоставлено самому казачеству. Казачьи войсковые части, подчиняясь советскому главнокомандующему, должны существовать на тех же основаниях, как и до сих пор.

Таковы были фантазии политика-генштабиста, предполагавшего диктовать условия мира победителям.

Ратимов забил пастоящую тревогу.

— Предательство казаков несомненно. Они хотят заключить сепаратный мир с большевиками, — кричал он на всех перекрестках.

Бедный провинциальный журналист не знал, что еще до Пасхи штаб Главнокомандующего получил ноту английского правительства с уведомлением, что оно отказывает в дальнейших субсидиях и предлагает свое посредничество для заключения мира с большевиками. Весть об этой ноте, пока известной только верхам, привез в Евпаторию из Севастополя командующий Донской армией ген. Сидорин, который ездил туда на совещание по поводу выбора преемника Деникину³³. Широкою публике ставка покамест о ноте не оповещала, но военные начальники, а следовательно, и войска уже определенно обсуждали вопрос о прекращении гражданской войны.

29 марта в Евпаторию прибыл донской атаман ген. Богаевский. На другой день он принял в гостинице «Дюльбер» депутацию от казаков-беженцев (не числящихся в войсковых частях).

«Божья коровка» — такое прозвище носил атаман — на этот раз совсем поджала свои крылья.

Вновь смотрел он, неудачный вождь, на измученные лица бородачей в чекменях. Много прегрешений накопилось у него на душе, и он боялся смотреть прямо в глаза людям, которых столько раз обманывал. 20 декабря 1919 г., в г. Новочеркасске, на который напирал Буденный, он издал велеречивый приказ, в котором заявлял, что останется в стольном городе казачества до последнего

момента и покинет его только с войсковым штабом. Не прошло и суток, как атаман укатил в особом, весьма удобном поезде на Кубань, бросив на произвол судьбы и войсковой штаб, и все учреждения, и десятки тысяч беженцев, скопившихся в Новочеркасске.

Потеряв свою территорию, он в начале 1920 года превратился в деникинского приживальщика и не стеснялся своей лакейской роли. В январе, в период переговоров ставки с казачьими правительствами о создании единого государственного организма на юге России, Деникин сделал попытку втереть очки казачеству назначением своего южнорусского правительства, избрав премьером Богаевского. Кубанская рада появление нового премьера встретила свистом.

— Какой позор! И это выборный атаман!.. Глава демократически организованной провинции в услужении у главы всероссийской реакции.

Наконец, в Новороссийске атаман проявил изумительную бездеятельность, не стукнув палец о палец для обеспечения казакам перевозочных средств.

Три месяца прошло после бегства из Новочеркаска. Теперь он впервые предстал перед выборными от донского казачества.

— Станичники! Я знаю, что ваше положение тяжелое, — тихо начал атаман, не блиставший ораторскими дарованиями. — Но используйте время вашего скитальчества с возможной пользой, приглядывайтесь, например, как ведут хозяйство здешние немцы-колонисты. От них многому можно научиться. Помните, как наши деды побывали в Отечественную войну с Платовым во Франции и вывезли оттуда под седлами шампанскую лозу, от которой и пошли наши цимлянские и раздорские вина.

Хмурые глядели насупленные глаза «отцов» и «дидков». Дисциплинированные с малолетства, они не смели проронить слова. Но их безмолвие красноречиво говорило:

— Все это не то... Это не ответ на те большие, мучительные вопросы, которые разъедают наши сердца. Не до шампанского и цимлянского нам теперь.

Атаман понял, что ему не отделаться не очень-то удачным сравнением положения победоносного донского казачества во Франции в 1813 году с нынешним прозябанием в Крыму.

— Я знаю, — продолжал он, — что все вы стремитесь в свой хутора и станицы. Что же, могу с вами поделиться:

о мире идет разговор. Быть может, недалек тот день, когда те из вас, которые найдут для себя возможным жить под Советской властью, вернутся к своим очагам. Ну, а тех, — меланхолично закончил атаман после паузы, — которые захотят разделить свою судьбу с нами, вождями, ждет тяжелая изгнанническая доля за границей.

Вздых облегчения вырвался из казачьих груди. Атаман сказал то, что требовалось. Близок мир, — и лучшего ничего не мог он сообщить.

Впоследствии за границей, когда ген. Богаевский так яростно боролся против возвращения казаков в Россию и всех поборников этого направления клеймил изменниками родины и предателями, я неоднократно напоминал ему в печати* эту речь, сказанную в моем присутствии. В Крыму атаманово сердце несколько не возмущалось грядущим возвращением казаков в свои хутора и станицы для мирного труда под сенью Советской власти. В этом тогда он не видел «измены казачеству и национальному русскому делу». Стоя в Евпатории лицом к лицу перед казачьими делегатами, он и думать не смел, чтобы убеждать своих подданных в необходимости удирать на вечные века за границу и пугать их большевистскими репрессиями. Такая агитация могла озлобить казаков. Момент для нее был неподходящий. Красные войска стояли не многим более чем в ста верстах от Евпатории и очень скоро могли достичь до нее. История же казачества знала примеры, когда восставшие казаки мирились с центральным правительством головами своих атаманов.

У Богаевского существовала привычка подлаживаться к подданным усиленным производством простых казаков в офицеры, а офицеров в следующие чины, которые совершенно обесценивались. Даже генеральство утратило свое значение. Многие украсили свои плечи погонами с зигзагами во время обедов, так что их прозвали «обеденными» генералами. Разные администраторы и военные начальники всячески старались затащить к себе атамана на разные торжества и блеснуть хорошей кухней. Расходы на изысканно-вкусные блюда и тончайшие вина, в которых атаман разбирался и охотнее и легче, чем в государственных делах, окупались наградами и повышениями. На сытый желудок атаман щедро жаловал чины. В декабре

* В издававшихся в 1922 г. в Болгарии газетах «На родину», «Вестник земледельца» и «Новая Россия».

1919 года на каком-то обеде в Таганроге он, по неосторожности, облил красным вином китель коменданта города полковника Н. Зубова.

— Ах, простите, ваше превосходительство, я сделал вас красным, — извинился атаман в шутливой форме.

— Я пока еще полковник, — учтиво заметил Зубов.

— Полковник? Я, значит, ошибся. Ну, да ладно, раз уж я называл вас превосходительством, так и будьте им. Новый генерал был испечен, как блин.

И теперь в «Дюльбере» атаман не мог воздержаться от своей мании, не мог расстаться с казачьими выборными без того, чтобы не осчастливить их.

— Господа, — обратился он к наиболее почтенным и заслуженным, которых рекомендовал ему окружной атаман Донецкого округа ген. Рудаков, представлявший депутацию. — Я вижу, что вы уже убелены сединами и за свою долгую жизнь немало послужили тихому Дону. Произвожу вас в хорушжие. А вас, — обратился он к находившемуся тут же окружному атаману 2-го Донского округа полковнику Генералову, — произвожу в генерал-майоры.

— Вот так штука! — пожимали плечами по уходе атамана станичники, на этот раз весьма мало обрадованные высочайшей лаской. — Чего эго он натворил? Теперь нас станут считать офицерьем, и этак много беды хватишь, когда придут большевики или станешь понадавать домой после замирения.

В тот же день атаман рассмотрел большой список полковников, представленных к производству в генералы, и, разумеется, утвердил его. Неслыханная катастрофа постигла белый стан, от стотысячной донской армии³⁵ остались жалкие клочья, но награды сыпались из рога изобилия. Всякий считал себя героем; повышение одного вызывало зависть и оскорбленное чувство в других. Чинопроизводство давно уже стало игрой в бирюльки, чин превратился в пустой звук, а в Крыму, при последнем издыхании обломков царской армии — в особенности. Тем не менее белый стан никак не мог расстаться с этим, утратившим свой смысл и крайне вредным для дела, фетишем.

— Еще Алпатова надо произвести в генералы, — выкрикивал один из новоиспеченных олимпийцев на пирушке, устроенной ими в этот вечер.

— И Маркова тоже.

— Виошу предложение: Лащенко.

В результате этот своеобразный генеральский митинг отправил в «Дюльбер» к Богаевскому депутата, лихого донского конника, сподвижника Мамонтова, ген. С-ва*³⁶ с ходатайством о добавочном производстве. Атаман, вычеркнув кой-кого из неугодных ему людей, подписал набросанный в ресторане на клочке бумаги приказ. Список белых олимпийцев в этот вечер пополнился еще несколькими «африканскими» генералами, как звали всех, кого приводил в этот чин Африкан Богаевский.

Подобным образом забавлялись и самоуслаждались в Евпатории неудачные вожди донских казаков, поборники «национального русского дела», в то самое время, когда все бывшее царское офицерство, находившееся в Советской России, ринулось, по призыву Троцкого, на борьбу с панской Польшей, совершенно забыв и думать об упраздненных чинах.

III. Лавочка

Во главе Донской армии с начала 1919 года стоял генерал-лейтенант Владимир Ильич Сидорин.

Этот белый вождь, сохраняя некоторые положительные черты прежнего образованного офицерства, усвоил многие пороки, свойственные новому командному составу, воспитавшемуся в хаосе гражданской войны.

Доступный, любезный, обходительный, он старался всех просителей и обласкать, и обнадежить. В нем совершенно отсутствовала кровожадность Покровского и грабительские замашки Шкуро**. В этом отношении он неуязвим. Из среды других генералов, в большинстве случаев беспыльных черпосотенцев, он счастливо выделялся тем, что искренно ненавидел старый режим и не стеснялся высказывать это вслух.

Но этим и исчерпываются его положительные стороны.

Сидорин, как и все казаки-интеллигенты, не имел определенных политических убеждений, исповедуя расплывчатый казакоманский символ веры. Ненависть к ста-

* Как в этом, так и в других случаях, автор не называет полностью фамилии тех лиц, с которыми связан личными отношениями.

** Настоящая фамилия этой бутафорской знаменитости была Шкура, но с 1918 года для благозвучия он стал себя звать Шкуро.

рому режиму уживалась в нем с сотрудничеством с отъявленными реакционерами, а борьба против последних не шла дальше слов.

Как порождение бурной эпохи и как воплощение раздольной казачьей стихии, он отличался необузданной широтой размаха, не зная препон своим желаниям и только в силу своей воспитанности избегал крайних проявлений своего нрава. В отношении своеволия он вполне роднился с феодалами того времени, Слащевым, Покровским, Шкуро, которые в районе своих армий или корпусов вели себя, как автономные властелины и плохо считались с распоряжениями белых правительств. Шкуро и Покровский доходили до того, что соперничали между собою в перехватывании подкреплений, которые присылались на фронт вовсе не для их корпусов.

Командующий Донской армией имел еще более оснований поглядывать на всех с высоты птичьего полета. По договору, заключенному еще ген. Красновым³⁷ с Деникиным, Донская армия только в оперативном отношении подчинялась Главнокомандующему вооруженными силами юга России, во всех же прочих отношениях донской командарм считался только с донской властью³⁸. Подобное двойное подчинение давало Сидорину основание игнорировать распоряжения и ставки, и донского правительства. Он чувствовал себя маленьким царьком и почти не считался с атаманом Богаевским.

Беглый очерк сидоринского прошлого лучше всего может дать представление об этом белом вожде.

Звезда Сидорина стала восходить на донском политическом горизонте при Каледине³⁹, у которого он состоял начальником штаба. В январе 1918 года Каледин застрелился, убедившись в бесполезности борьбы против большевиков, которые заняли Дон. В период начавшегося затем восстания донцов⁴⁰, весной того же года, Сидорин играл настолько видную роль, что воцарившийся вскоре с помощью немцев Краснов увидел в нем опасного соперника, энергичного, честолюбивого, не брезгающего никакими средствами. Чтобы избежать преследования, для Сидорина и его сторонников ничего другого не оставалось, как перебраться в Екатеринодар, под крылышко Добровольии, тогда еще довольно слабой, но уже определенно реакционной и ненавидевшей самостийный Дон с его демократическим устройством. Краснов пугал ревнителей «национальной» России. Им уже мерещилось, что он со

своими казаками дойдет до Москвы, восстановит без них царскую власть и перехватит у них лавры Минина и Пожарского вместе с первенствующей ролью в государстве. Поэтому в Екатеринодаре, где тогда находилась преданная Антанте ставка Деникина, всячески интриговали против герmanoфила Краснова, державшего писать письма кайзеру как равный к равному, и стремились, где только можно, подставлять ему ножку. Беглые враги атамана принимались с распростертыми объятиями. Сидорин и его клеветы, ген. П. Х. Попов⁴¹, Э. Семилетов и полк. Гупцин, нашли в Екатеринодаре приют и ласку и получили полную возможность путем устной и печатной агитации ратовать против донского конституционного самодержца.

Когда в начале 1919 года дела Дона настолько пошатнулись, что красные войска стояли чуть не под самым Новочеркасском, донское казачество волей-неволей должно было обратиться за помощью к Добрармии. Пребывание высокомерного герmanoфила Краснова на атаманском посту стало неудобным. В феврале он и его ставленник, командующий донской армией ген. С. В. Денисов⁴², подали в отставку и укатили в Берлин, оппозиция же возвратилась на Дон. Однако во главе войска Донского, по настоянию Деникина, стал ничтожный и безвольный Богаевский, а не демократ и казакоман Сидорин, получивший только командование Донской армией.

В то время как бывший «свиты его величества» ген. Богаевский наполнял свой досуг приемами депуатаций, участием в торжествах или чинопроизводством, Сидорин руководил реальной силой Дона — армией — и в период летних успехов 1919 года приобрел немалый удельный вес. Атаман стал завидовать своему товарищу и, как год тому назад Краснов, побаиваться его честолюбия. Почувствовав, что из Новочеркасска повеяло холодом, Сидорин начал оглядываться назад. Он не так страшился врага с севера, как врага с юга. Его тайный агент капитан Бедин зорко следил в Новочеркасске за настроением «сфер».

С войсковым кругом, — «хузяевами» земли донской, как их иронически называли черносотенцы, Сидорин умел ладить. Этот круг, сборище старых вахмистров, станичных атаманов и, в лучшем случае, «химических» офицеров, полных невежд и в грамоте, и в политике, привыкших повиноваться не рассуждая старшему в чине, слепо шел за небольшой группой вожаков-интеллигентов казакманского направления. Из этих последних никто не мог

точно формулировать своей политической программы, но каждый считал себя по меньшей мере Миллюковым, если не Бисмарком. Сидорина эта либеральная группа донских законодателей весьма ценила, как человека своего миро-созерцания, даже невзирая на то, что для него ничего не стоило приказать силою освободить из тюрьмы донского богача Ворошкова, арестованного в Ростове за спекуляцию, к которой был причастен и сам командарм, или разорвать дознание о преступлениях начальника авточасти полк. Мержанова, своего родственника, и потребовать производства его в генералы, вместо отдачи под суд. Такие поступки доказывали, что демократический генерал не очень почтительно относится к закону, ставя его в ничто по сравнению с силой. Однако донские законодатели на такие пустяки не обращали внимания.

В период отступления, начавшегося зимою 1919 года, когда собственно деникинские армии растаяли, как кусок льда, донская армия играла первенствующую роль, сдерживая напор Буденного со стороны Царицына⁴³. Значение Сидорина возросло. Добровольца, некогда лелеявшая его, как врага самовластного Краснова, теперь тоже возненавидела его за высокомерие и будучи не в силах мириться с его могуществом, хотя бы минутным. Старая злоба на донское казачество, подогретая теперь счетами с Сидориным, вызвала оставление на произвол судьбы донской армии в Новороссийске. Весьма близкий к Деникину ген. Кутепов, другой величайший честолюбец, не мог простить Сидорину того, что в период февральских боев на Кубани, ему, командиру красы и гордости белого стана — «цветного»⁴⁴ корпуса, — пришлось подчиняться донскому командарму⁴⁵.

Мелкие, мстительные люди свели счеты, и в результате от стотысячной донской армии в Крым не прибыло и десятой доли. То, чего не могли сделать красные, с успехом выполнила генеральская вражда, взаимные интриги этих маленьких подражателей великому Наполеону.

В крошечном Крыму Сидорину, человеку с замашками феодального сеньора, было нечего делать. Маленький полуостров мог служить уделом только одному властелину, какой вскоре нашелся в лице Врангеля.

Помощником донского командира, начальником его штаба, являлся генерал-лейтенант Апатоллий Киприанович Кельчевский, человек совершенно другого типа. В противоположность тридцатипятилетнему Сидорину он был

уже в весьма почтенных летах. Кабинетный работник, профессор Академии Генерального штаба, он избегал политики, опасаясь, что она засосет его, как тина. Избранный, без особого на то желания, военным министром объединенного южнорусского правительства (в феврале 1920 г.), он не спешил занять свой пост и благополучно просидел в сидоринском поезде до того момента, когда уже ни о каком управлении не могло быть речи.

Бес честодобия также не грыз старика. Когда Мамонтов вернулся из своего знаменитого рейда, стратегический план которого разработал Кельчевский, атаман обратился к последнему с вопросом:

— А какую награду хотели бы вы себе, Анатолий Киприанович? Не произвести ли вас в полные генералы?

— Эх, Африкан Петрович, если бы вы могли произвести меня в подпоручики с возвращением мне прежних лет, — с обычной шутливостью ответил Кельчевский, уже давно переставший ценить всякие отличия.

Не казак по происхождению, он мало интересовался политической жизнью Дона. Если где-либо требовалось его активное участие, он действовал под влиянием Сидорина. Близость к последнему и послужила главной причиной того, что мстительный Врангель, сводя счеты с Сидориным, усадил и его на скамью подсудимых вместе с донским командармом.

В гражданскую войну почти при каждом большом белом вожде состояла так называемая «лавочка». Это ходячее слово в белом стане приобрело довольно специфическое содержание.

«Лавочка» — это совокупность близких к вождю людей, связанных с ним дружбою, кутежами, тесными материальными интересами, а подчас и преступлениями. «Лавочка» доставляла вождю развлечения, оберегала его в пьяном виде, составляла его свиту при торжествах, рекламировала его в прессе, обдeldывала всякие его денежные делишки, добывая темные суммы для вольготной жизни патрона и не забывая при этом свой карман. Патрон, в свою очередь, заботился об этой теплой компании, повышал в чинах, покрывал, пользуясь своей властью, ее грешки, иногда избавлял от заслуженной судебной кары, давал возможность поднажиться и т. д. Эту своеобразную камарилью, состоящую, большей частью, из людей молодых, с ничтожным служебным положением, ненавидела не только строевщина, но и высшие началь-

ники, которым зазнавшиеся опричники не оказывали почтения. В случае падения вождя, разумеется, удирала вслед за ним вся лавочка и делила с ним судьбу, если не попадала под суд. Ген. Покровский в эмиграции образовал из своей «лавочки» преступную шайку, занимавшуюся убийствами.

Сидорина тоже окружала «лавочка». В состав этого своеобразного организма входил человек со светлой головой, недурной журналист, довольно грамотный политически, но по молодости лет чванный и горячий. Это был двадцатитрехлетний войсковой старшина Александр Михайлович Агеев*, тот самый, который спустя 2 года одним из первых в эмиграции водрузил знамя бунта против Врангеля, замышлявшего новые авантюры, и пал жертвою своего стремления увлечь казачьи массы в Советскую Россию. В период гражданской войны таланты Агеева, занимающего официально должность адъютанта командира, уходили на мелкие дела. Он, между прочим, рекламировал Сидорина в прессе, именуя его, в пику атаману, «вождем казачества».

Эту рекламную работу разделял с ним бывший стенографист Государственной думы Григорий Николаевич Раковский, корреспондент при штабе армии. Наблюдая фронтовую жизнь из окна сидоринского поезда, в котором разъезжала только «лавочка», он нередко описывал сражения, которые не происходили, и подвиги, которые не совершались⁴⁶. События он так привык расценивать с точки зрения официальных версий, что и впоследствии за границей, перейдя в услужение к пражским эс-эрам во главе с Черновым⁴⁷, не избавился от этого порока.

Другим адъютантом ген. Сидорина был некий хорунжий Миша Хотин, кубанец, неведомыми путями попавший в донскую армию. Он состоял d'hotel'ем сидоринского поезда. Иногда в нем пробуждался боевой пыл, и он совершал оригинальные подвиги. Так, 11 марта 1920 г., на Кубани, во время нападения зеленых на станцию Абинскую, когда сидоринский поезд уже трогался, этот вояка бросился на пути и, поймав за хвост поросенка, вскочил с ним в вагон уже на самом ходу. За обедом этот трофей был торжественно съеден.

Выше упоминалось о капитане Бедине. Это была край-

* Родной брат видного члена круга П. М. Агеева, который в южно-русском правительстве занял пост министра земледелия.

не темная личность, служившая Сидорину, смотря по надобности, то денщиком, то контрразведчиком. В течение всей гражданской войны, до самой новороссийской катастрофы, в Донском военном суде и у военных следователей лежало немало дел о художествах этого господина. По одному он обвинялся в присвоении не принадлежащего ему офицерского чина, по другому в вымогательствах, по третьему в большевизме и т. д. Все эти дела не двигались ни на шаг вперед за «неизвестностью местонахождения» обвиняемого.

Второстепенную роль в этой среде играл главный врач армии Вершинин и начальник авиачасти ген. Стрельников. Первый, совершенно спившийся старик, нужен был для выписывания по рецептам общеизвестного лекарства *spiritum vini*, которое потреблялось «больными» сидоринского поезда в значительном количестве. Хорунжий Хотин в Крыму долго волновался из-за того, что в Новороссийске «лавочке» пришлось бросить 16 ведер этого лекарства.

Стрельников слыл за сидоринского «извозчика», так как командарм только одному ему доверял в своих постоянных полетах по фронту на аэроплане.

Политической частью, т. е. информационно-агитационной, ведал сотник граф Дю-Шайла, человек с крайне пестрым прошлым. Воспитанник иезуитской коллегии, он затем перешел в Санкт-Петербургскую духовную академию (православную). Далее — член кружка графини Игнатьевой, затем эс-эр и наконец казакоман.

12 марта 1920 г., когда сидоринский поезд стоял в 20 вер. от г. Новороссийска, на ст. Туннельной, Дю-Шайла подал Сидорину доклад, озаглавленный «Пути казачества», в котором писалось: «В Советской России сейчас идет усиленная работа эс-эров, центр которых находится в Тифлисе (*sic*), по созданию внутреннего взрыва. Казачество, как земледельческий класс, в борьбе против большевиков не может идти рука об руку с Добровольческой армией, руководимой представителями помещичьей России, и проливать кровь в гражданской войне, выгодной только для монархистов и большевиков. Только совместная работа с эс-эрами способна удовлетворить справедливые казачьи домогательства об автономии своих областей и об устройстве своей жизни по прадедовским заветам».

В Крыму Дю-Шайла за этот доклад едва не поплатился жизнью. В Туннельной же Сидорин не обратил внимания

на эту политическую программу, так как в тот момент пути казачества определяла одна только Красная Армия, гнавшая его по пятам.

По водворении штаба донской армии в Евпатории Дю-Шайла, редактируя «Донской вестник», отчасти начал развивать в газете свою эс-эровскую программу, мешая ее с казачьими фантазмагориями. Строго говоря, боевые места этой газеты, так перепугавшие Бориса Ратимова, были старой песней на новый лад. Казачьи политические деятели левого толка всегда немного эс-эрили. Только теперь, ввиду всеобщего разочарования в вооруженной борьбе с большевиками, к этим перегудкам начали внимательно прислушиваться. Черпая в них убеждение в правоте своего примиренческого настроения, казаки, однако, менее всего собирались сменить белогвардейскую маску на эс-эровскую. Из статей «Донского вестника» казачья могла понять только одно: воевать больше не нужно, что и штаб армии смотрит на это точно так же.

Но штаб армии в это время менее всего занимался глубокомысленными рассуждениями. Пока Дю-Шайла пугал евпаторийских осважников, донское командование почивало на незаслуженных лаврах. В «Дюльбере» царило веселье; «лавочка», как бы предчувствуя свой близкий конец, отплясывала танец смерти. В эти дни трудно было добиться приема у командарма даже по наиболее серьезным делам. Я иногда до двух часов дня ждал его пробуждения и уходил не солоно хлебавши от дверей олимпийцев.

Верхи явно впали в прострацию. Низы не хотели воевать. Никто не знал, что ждет остатки донской армии. В обновление ее надломленного организма трудно верить, полной же его смерти многие боялись.

Врангель разрешил все эти сомнения.

IV. Генерал Врангель

Удрученный проигрышем гражданской войны, ген. Деникин 22 марта созвал на совещание высших военных начальников, объявил им о своем бесповоротном решении уйти в отставку и предложил им выбрать нового Главнокомандующего.

Никто против смены вождя не возражал, но все отказывались от выборов, считая, что в военной среде принцип выборности неуместен.

После некоторого размышления Деникип назначил своим преемником генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля и, благословив свои войска на новый путь, уехал за границу вместе с начальником своего штаба ген. Романовским, которого в Константинополе поразила рука неведомого убийцы⁴⁸. Сам же отставной Главила благополучно добрался до Англии. В белом стане долгое время передавалась из уст в уста легенда о том, что английский король за его верную службу великобританским интересам пожаловал его титулом лорда.

Политическая роль Деникина кончилась. Для остатков южнорусских белых армий настала новая эра.

Если эпоха гражданской войны на юге России в 1918 и 1919 гг. ни в коем случае не может быть названа деникинщиной, так как личность главнокомандующего далеко не определяла ни целей, ни характера борьбы с Советской властью и даже не являлась центральной фигурой всего антибольшевистского движения, то следующий период смело может быть назван врангелевщиной.

Деникин сам ничего не создавал и даже ничего не реформировал. Основное ядро, из которого потом выросла Добровольческая армия, — «первопоходников», — он получил преемственно от Корнилова, убитого 31 марта 1918 года при неудачном штурме Екатеринодара. Позже к нему присоединились банды Шкуро и кубанцы Покровского.

Донские казаки сами освободились от большевиков. Их армия подчинялась Деникину только в оперативном отношении, и то лишь с конца 1918 года. В этот первый период движение против большевиков создавалось чисто стихийно; отдельные личности играли второстепенную роль.

Врангелю, напротив, пришлось на первых же порах напрячь все свои силы и проявить немалое творчество, чтобы деморализованный, утративший веру в белых вождей, голодный и оборванный сброд обратить в боеспособную войсковую силу и вновь двинуть его на борьбу. За это дело он принялся с невероятной страстностью.

Если Деникин оказался на вершинах власти чисто случайно, то этого никак нельзя сказать про Врангеля.

Безмерно честолюбивый, полный кавалерийского пыла и задора, он рвался к власти и ратным подвигам, воспламененный той славой, которая окружала исторические имена его предков. Один из них был сподвижник дсб-

лестного шведского короля Густава-Адольфа и прославил свое имя в 30-летнюю войну.

Дряблость Деникина возмущала твердое готское сердце барона. Беспросветное пьянство, дебоши и хулиганства любимцев Деникина, Шкуро и Покровского, претили его аристократическому вкусу. Ему казалось, что он сразу перевернул бы всех и вся, договорил бы недоговоренное, поставил бы всюду точки над *i*, создал бы из южнорусского хаоса не только прочный, единый противобольшевистский фронт, но и выковал бы прообраз сильной, обновленной России.

Когда в конце 1919 года весы военного счастья стали явно клониться на сторону красных, Врангель, командовавший в то время собственно Добровольческой армией, начал плести паутину интриг против Деникина. 12 декабря он пригласил на станцию Ясиноватую (в Донецком каменноугольном районе) на совещание других командующих армиями⁴⁹ и, раскритиковав деятельность Деникина, заявил, что смена Главнокомандующего — вполне назревший вопрос. При этом он дал понять, что ничего не имеет против избрания его на пост главы вооруженных сил юга России.

— Кому угодно, только не вам с вашим баронским титулом, занять место Деникина, — возразил Сидорину. В Ясиноватой же оно провалило затею Врангеля, который своим казачьим чутьем угадывал, что в бароне сидит скрытый реставратор.

В Крыму это замечание много испортило крови Сидорину. В Ясиноватой же оно провалило затею Врангеля.

В тот момент, когда Деникин подписывал приказ о назначении себе преемником Врангеля, последний находился в Константинополе⁵⁰, будучи выслан туда в феврале за свои интриги против Главнокомандующего.

Назначая себе преемника, Деникин вполне отдавал себе отчет в том, что делал. Он отлично знал, что имя Врангеля очень популярно в монархических кругах; что чиновная знать считает его, аристократа, своим; что Врангель жаждет деятельности и бредит властью; что из среды других видных полководцев он счастливо выделяется прекрасным образованием, воспитанностью и т. д. Все это, вместе взятое, и побудило Деникина избрать в преемники не кого иного, как того, кто вел под него подкопы.

— Ну что ж, — как бы говорил Деникин этим назначением барона, — ты так добивался власти, так хотел спасти Россию — вот, на тебе власть, иди спасай, попробуй.

Уведомленный о назначении, Врангель стремительно прикатил из Константинополя на миноносце в Севастополь.

Всех волновал вопрос, как будет реагировать новый Главком на английскую ноту, предлагавшую вступить в переговоры с большевиками. Большинство даже самых высших военных начальников склонялось к той мысли, что роль Врангеля сведется к ликвидации остатков вооруженных сил юга России.

25 марта, в Благовещенье, новый Главнокомандующий появился в Морском соборе. Молодой викарный епископ Вениамин приветствовал его крайне воинственной речью.

— Дерзай, вождь! Ты победишь, ибо ты Петр, что значит камень, твердость, опора. Ты победишь, ибо сегодня день Благовещения, что значит надежда, упование. Ты победишь, ибо сегодня храмовой праздник церкви того полка, которым ты командовал в мировую войну*.

Аргументы были не совсем убедительные. Но мысль о победе, видимо, пришлась вождю по сердцу, так как он удостоил оратора особым вниманием и возвел его в звание «архипастыря христолюбивого воинства».

Вслед за голосом духовенства воинственный призыв раздался и из другой высшей среды. Группа государственных и общественных деятелей, сенаторов, быв. членов государственного совета, крымских земцев-аристократов подала новому Главкому докладную записку о невозможности мира и о необходимости продолжать вооруженную борьбу.

Представители верхов хотели воевать.

Вскоре высказался сам Врангель, и всем стало ясно, что не для того он стремился взять бразды правления, чтобы ликвидировать белое движение. Новому вождю хотелось испытать свою судьбу и вывести у ней, не ему ли, потомку воинственных шведских баронов, уготован светлый жребий спасителя отечества от большевистского ига.

Подстрекательства французского правительства, желавшего спасти Польшу, окончательно определили волю вождя.

В конце пасхальной недели он прибыл в Евпаторию. Нестройные казачьи толпы высыпали на парад в жажде

* Лейб-гвардии конный полк. Полковая церковь этого полка Благовещенская, близ быв. Николаевского моста.

услышать какую-нибудь радостную новость. Взойдя на церковное крыльцо, Врангель вытянулся во весь свой высокий рост. Донцы впервые увидели эту длинную, худую фигуру, одетую в черкеску, вытянутое немецкое лицо с живыми, пронзительными глазами. Мало кому тогда приходило в голову, что этот человек сыграет роковую роль в судьбе остатков донского казачества, попавших в Крым, и что впоследствии редко чей голос не произнесет по его адресу проклятия из глубины болгарских шахт, со скал пустынного Лемноса, из идиллических тещоб далматинского побережья.

— Донцы! — начал вождь. — Я знаю, что ваши сердца гложет тоска по своим хуторам и станицам. Столько жертв принесли вы на благо родины, но оказались у разбитого корыта. Я выведу вас с честью из создавшегося положения. Через самое малое время к вам придут пароходы...

Шеи станичников вытянулись. Глаза радостно заблестали.

— Господи! — мелькнуло в головах, — наконец-то замирение!

Болезненное воображение уже рисовало лазоревую степь, шепот ковыля, отдаленный кизячий дым над уютившимся в балке хутором.

А вождь, не без иронии полюбовавшись несколько мгновений произведенным впечатлением, вдруг энергично взмахнул головой, метнул глазами и продолжал после мимолетной паузы:

— ...пароходы, полные винтовок и пулеметов. Я дам вам лошадей и шашки, пришлю обмундирование, и вы снова двинетесь в бой отвоевывать у насильников-большевиков свои родные степи. Там ждут вашего прихода с нетерпением. Мира быть не может. Пусть англичане идут на мировую, это их дело. Нам же святой долг перед родной повелевает не слагать оружия до тех пор, пока в наших грудях бьются сердца.

Глухой ропот пронесся по казачьим группам. Сзади уже послышались неодобрительные выкрики.

Оратор поспешил сойти с импровизированной трибуны и укатить на автомобиле в Севастополь.

Почти одновременно с этим вышел приказ нового Главнокомандующего, в котором объявлялось о ноте Ллойд-Джорджа белым и красным и указывалось на то, что английское предложение о вступлении в переговоры с большевиками неприемлемо, что теперь надо надеяться

только на самих себя и всячески готовиться к продолжению вооруженной борьбы.

Борьбу, в сущности, приходилось начинать сначала. Более того: возникала необходимость в корне уничтожить многочисленные язвы, которые ввелись в плоть и кровь белого стана и разъедали при Деникине живое тело вооруженных сил юга России.

Заработал Осваг.

Надо было вдохнуть бодрящий дух в деморализованные неудачей войска, а в перепуганное общество вселить веру в то, что не все еще пропало, и что еще рано кричать «спасайся, кто может». Для этой цели хитроумные осважные Одиссеи применили старый, уже не раз использованный арапский номер. Вскоре во всех осважных газетах Крыма появилась статья «Большевики о моменте», в которой приводилась мнимая выдержка из «одной большевистской газеты»:

— «Надо сознаться, что наше (красное) командование упустило удобный момент одним взмахом раздавить гидру контрреволюции на юге России. Увлечшись преследованием армий Деникина на Кавказе, оно не обратило должного внимания на Крым, оставив его в руках белых. Теперь туда собрались остатки деникинских армий и они превратят полуостров в неприступную твердыню. Стальной Врангель, ставший у власти, легко выкует из добровольцев и казаков могучую силу, а черноморский флот, находящийся в его распоряжении, создаст нам вечную угрозу десантами. В случае наших неудач на польском фронте, крымская армия легко может сыграть решающую роль в нашей судьбе. Поэтому нельзя не пожалеть, что вовремя не было уничтожено последнее гнездо контрреволюционной заразы на юге. Мы снова стоим лицом к лицу против нашего сильнейшего врага».

Другими словами,— мы еще сила, это признают даже красные, поэтому нам нечего сматывать удочки.

Разумеется, тотчас же во всех органах печати запестрели известия о несуществующих «грандиозных восстаниях» на Дону, в Поволжье, на Украине.

Одновременно со светским Освагом к усиленной работе приступило и духовенство. В Крыму скопилось громадное количество духовных отцов, ранее служивших при войсковых частях, а теперь, при сокращении армии, оказавшихся не у дел. «Христоробивый вождь, имевший меч в руке, а крест в сердце», нашел им работу. Кафедра

превратилась в трибуну, церкви — в чайные «союза русского народа». Рясофорные проповедники начали разъезжаться по войсковым частям и наводить тоску на солдат и офицеров своими проповедями.

«Стальной» Врангель, действительно, начал «творить чудеса», как о нем отзывались зарубежные белогвардейские газеты, восхищенные энергией и твердостью молодого вождя.

Прежде всего он реорганизовал армию, которая теперь была сведена в четыре малочисленных корпуса (добровольцы Кутепова, крымские отряды Слащева, кубанцы Писарева⁵¹ и донцы Сидорина). Препрославленные денкинские орлы, Покровский и Шкуро, получили чистую отставку. Второй из них подал было рапорт, прося разрешить ему формирование партизанского отряда.

«Время партизанщины прошло», — положил резолюцию Врангель.

Другие, пока еще уцелевшие, феодалы поджали хвосты. Сидорин брыкался, но скоро и на него опустилась тяжелая рука барона.

V. Гром грянул

Политиканство штаба бывшей донской армии, теперь преобразованной в корпус, наконец стало известным Врангелю. Но участь донского вождя была предрешена и без того.

Сидорин с первых дней пребывания в Крыму чувствовал, что в гражданской войне его роль кончена. Назначение Врангеля уже заставило его серьезно подумать об отставке. Он ждал только удобного момента, чтобы уйти, а пока что вел энергичный спор со штабом главнокомандующего, требуя предоставления ему прав командира отдельного корпуса.

— Они боятся дать мне это право, так как тогда, согласно «Положению о полевом управлении войск», я могу своей властью производить реквизиции у населения. А они хотят поставить донцов в полную зависимость от себя, чтобы мы не смели без них ни вздохнуть, ни охнуть, — объяснил мне Сидорин.

В этом его домогательстве ставка усмотрела новое проявление казачьего сепаратизма.

Однажды, числа 5-го или 6-го апреля, я явился в «Дюльбер» для очередного доклада. Как всегда, в кори-

дорах шмыгала бесчисленная штабная братия. Но на этот раз ее озабоченные лица и отрывистые разговоры вполголоса говорили о том, что случилось нечто необычайное. Прежнее высокомерие и вызывающий тон как рукой сняло.

— Что у вас тут происходит? — обратился я к наидобрейшему и наименее худшему ген. Тараканову, занимавшему должность помощника начальника штаба армии.

— Знаете, того... Кажется, скоро конец всей нашей «лавочке».

— То есть?

— То есть все уйдем в отставку.

— И Владимир Ильич?

Сидорин был тезкой Ленина по имени и по отчеству.

— И он также.

Для тревоги, как оказалось, существовала достаточная причина. В городе распространился номер суворинского «Вечернего времени», в котором был напечатан следующий приказ Врангеля:

«Пробил двенадцатый час нашей ожесточенной борьбы с большевиками. Нам надо напрягать всю свою мощь, чтобы соединенными силами готовиться к отражению вражеского удара. Между тем в штабе донского корпуса царит политикапство. В издаваемой штабом газете «Донской вестник» сеется вражда между добровольцами и казаками, поносятся вожди Добровольческой армии и проводится мысль о соглашательстве с большевиками. По соглашению с Донским атаманом приказываю газету закрыть, редактора сотника графа Дю-Шайла предаю военно-полевому суду при Управлении коменданта моей штаб-квартиры по обвинению в государственной измене, отрешаю от должности командира корпуса ген. Сидорина, начальника штаба ген. Кельчевского и генерал-квартирмейстера ген. Кислова. Главному Военному Прокурору назначить предварительное следствие для выяснения соучастников преступления, учиненного сотником графом Дю-Шайла».

«Евпаторийский курьер» сначала даже не рискнул перепечатать этот грозный приказ.

На другой день я снова посетил «Дюльбер» и нашел там уже форменную панику. Появились новые, совершенно незнакомые мне адъютанты. Как водится, на первых порах, пока не зазнались, они держали себя вежливо. Из старых мне удалось наконец поймать сотника Атлано-

ва, который занимал скромное место среди штабной челяди и в обычное время даже не осмеливался показываться в коридорах штабного Олимпа.

Этот Атланов, к слову сказать, был прелюбопытнейший субъект. Малограмотный вахмистр старого времени, он и в гражданскую войну служил на выборной должности станичного атамана Еланской станицы. Тут столько же недалекий, сколько надутый и чванный парень хозяйничал, как некогда в сотне. Офицерские погоны он заслужил прекрасным обедом, устроенным на общественный счет атаману.

— У меня в станице, как в строю, чтобы все по струнке,— рассказывал сам еланский помпадур штабной молодежи.— Чуть начальство близко, бросай все, вали валом навстречу. Выпрягай лошадей, вези начальство на своих плечах, едят ты мухи с комарами.

Начальство было польщено, видя «народную любовь». Плечами подчиненных Атланов заработал себе офицерские погоны на плечи. В период бегства по Кубани его постигло несчастье. Где-то в сутолоке, не то под Новороссийском, не то под Туапсе, он потерял свою «насеку» (булаву) с серебряным набалдашником — знак своего атаманского достоинства. Эта утрата удручала его гораздо более, чем проигрыш войны. Добравшись до Евпатории и устроившись на службу в штаб, он мало интересовался перипетиями казачьих скитаний по черноморскому побережью, задавая всем, прибывшим оттуда, будь то простой казак или видный генерал, лишь один неизменный вопрос:

— А не случилось ли вам где-нибудь видеть булавы атамана Еланской станицы?

Ведь с этой булавой связывалось его недавнее величие, его самодержавная власть над несколькими тысячами казаков и крестьян!

От этого-то Еланского администратора я и узнал, что творится в штабе. Оказывается, из Севастополя прибыл преемник Сидорину ген.-лейт. Ф. Ф. Абрамов⁵² и военный следователь по особо важным делам при Главнокомандующем, действительный статский советник Гирчич; что граф Дю-Шайла арестован и в его номере производится обыск; что Сидорин и все его сподвижники, т. е. «лавочка», собирают чемоданы, так как завтра выезжают в Севастополь, а оттуда за границу.

— Надо бы показать этим «русским» силушку тихого Дона...— начал было здоровенный Атланов вполголо-

са, но, заметив щедушного Гирчича, спускавшегося по лестнице, запрятал кулак в карман.

В ставке не предполагали, что Сидорин сдастся без сопротивления. Войсковым частям, защищавшим Перекоп, секретно предписали быть готовыми к нападению не только с севера, со стороны красных, но и с юга, со стороны донского корпуса.

Опасения ставки оказались излишними. У Сидорина хватало характера и таланта для интриг, хватало смелости для словесной борьбы с едипонеделимцами и для пререканий со ставкой, но отнюдь не для решительного шага, хотя бы в защиту собственной своей персоны.

Г. Н. Раковский в своей, изданной на средства Чернова, книге «Конец белых»⁵³ из кожи лезет, чтобы подвести ген. Сидорина, представителя левой фракции казачьих политических деятелей, под эс-эров. Если, действительно, Сидорина что-либо роднило с эс-эрами, так разве только политическая импотенция.

Он не скрывал своего разочарования в гражданской войне, разрешил или, точнее, не мешал в штабном органе бичевать реставраторские замашки Доброволии и доказывать, что казачеству с ней не по пути. Когда же настал момент перейти от слов к делу, он сдрейфил, не рискнув встать во главе казачества, все помыслы которого были направлены только на мир. Бесславно сойдя с политического горизонта, он беспренятственно отдал казачество Врангелю для новой военной авантюры, окончившейся терзаниями среди лемносских скал и безыдейным скитальчеством по балканским захолустьям.

Врангель, прибегнув к расправе с Сидориным, шел ва-банк. Хотя донцы представляли слабую военную силу, но казачий бунт в осажденном полуострове мог иметь самые гибельные последствия.

У Сидорина, однако, не хватило духу на переворот. Волевая сила оказалась неизмеримо выше у реакционного Врангеля, чем у расхлябанного демократа Сидорина.

Я зашел попрощаться с опальными вождями.

— Бог даст, мы еще встретимся и, как знать, может быть при лучших обстоятельствах, — нанутствовал меня Кельчевский.

Мы на самом деле встретились и очень скоро — в Севастопольском военно-морском суде, куда они явились в роли обвиняемых, я же их защитником.

Генералы уехали в Севастополь на автомобилях. Графа

же Дю-Шайла Гирчич повез туда на пароходе. Дорогой арестованный ухитрился достать револьвер и нанести себе тяжелую рану, но не опасную для жизни. Такой номер спас его от неминуемого расстрела.

«Лавочка» тоже последовала за вождями. Даже 23-летний Агеев вышел в отставку по болезни. Только капитан Бедин изменил: он отступил на службу во врангелевскую контрразведку и получил назначение состоять агентом при донском корпусе, имея целью следить за состоянием казачьих умов.

Увольнение Сидорина от должности и его отъезд из донского района совершились столь стремительно, что никто не успел опомниться.

Среди казачьей массы командарм был довольно популярен. В период войны он часто появлялся на фронте. Под Екатеринодаром даже оказался в передовой линии и едва не попал в плен. Всем нравились его мягкость и доступность, лишённые претензий на дешёвую популярность. Нет сомнения, пожелай он в Евпатории сопротивляться, как советовал ему ген. Карпов, казачьи массы, настроенные против дальнейшей войны, пошли бы за ним.

Безропотной сдачей своей позиции он как бы указывал на невозможность сопротивления или же расписывался в неправоте своих убеждений. Так или иначе, отсутствие решимости у вождя было налицо, военное же сословие беззаветно идет только за людьми решительными.

Если Добровольческая армия обладала свойством губки, т. е. быстро распухала и быстро сжималась, то донское казачество в период гражданской войны выявило свою способность необычайно легко разлагаться и затем столь же быстро воскресать, как феникс из пепла. Воспитанная в казарме, эта военно-земледельческая каста совершенно расхлябывалась, когда не чувствовала над головой кулака и не слышала решительного окрика. Когда находились авторитетные, крепкие духом вожди, она быстро обращалась в христианский вид и хорошо умела «гарнизоваться».

Под влиянием новороссийской катастрофы у казачества начало пробуждаться сознание того, что с самого начала Октябрьской революции оно встало на неправильный путь, ринувшись с оружием в руках против Советской власти. Чтобы это сознание могло перейти в твердое убеждение, а тем более вызвать решимость постоять за него, нужен был моральный авторитет вождя. Правда, штаб командарма издавал газету, которая как бы одобряла

казачьи настроения. Но военное сословие привыкло выслушивать своих вождей не через газетную болтовню, а через твердые, решительные приказы.

Таким языком хорошо умел говорить Врангель.

Приводя все к одному знаменателю, он оставил донцам видимость автономии, в действительности же обратил их в слепое орудие своего владычества. Его твердый голос и смелая расправа с Сидориным произвели сильное впечатление. Протеста со стороны командарма не последовало, атаман шел рука об руку с Врангелем, и простым смертным приходилось вытягиваться в струнку, брать под козырек, есть начальство глазами и говорить: «слушаю-с!» Слепое повиновение опять стало заменять расхлябанность; ругань по адресу Добровольческой армии сменилась мечтами о походе на Дон и о «зипунах», толки о мире — разудалой песнью:

Нам с Лениным не жить,
Не трудитесь даром:
Казака не примирить
С советским комиссаром.

В этом быстром переходе от развала к покорному подчинению всецело сказалась старая военная косточка.

Началось переформирование армии в корпус, которое совершенно отвлекло мысли от политиканства. Малочисленные дивизии стали стягиваться в полки, вследствие чего множество должностных офицеров остались за бортом. До Крыма в казачьих частях не было недостатка в рядовых. Поэтому офицеры занимали только командные должности, не так как в Добровольческой армии, где при полках даже существовали особые офицерские роты, а в прочих число солдат резко превышало число офицеров. Теперь и у донцов появился избыток комсостава и недостаток в рядовых бойцах.

Оставшихся за флангом офицеров зачисляли в резерв, на полугодное существование и нудное прозябание в Евпатории. Чтобы избавиться от ненужного теперь хламу, всем желающим была предоставлена возможность уйти в отставку и выехать за границу в качестве «гостей английского короля». Концентрационные лагеря на Принцевых островах (против Константинополя), на Мальте, в Египте и на Лемносе гостеприимно принимали всех, потрудившихся на благо Англии, за проволочную сеть, охраняемую сипаями.

Особая комиссия начала свидетельствовать тех, кому улыбаются английские лагеря, и, конечно, всякого признавала больным. У многих врачи открыли такие недуги, о существовании которых сами «отставные» не подозревали.

— Ради Бога, скажите, что у меня за болезнь? — обратился один раз ко мне знакомый сотник, показав медицинское свидетельство, в котором болезнь была поименована по-латински. — Чего-то тут мне прописали, а что — не сказали. Хоть для интереса-то надо узнать.

Другие, чтобы пробраться через Европу в окраинные губернии, превратившиеся теперь в самостоятельные республики, добывали в соответствующих консульствах паспорта и визы. Все, чьи фамилии оканчивались на -ский и -ич, превратились в поляков. Некоторые из них задержались в Крыму и в период успехов Врангеля снова обрусьели, чтобы поступить на службу, и только уже в Константинополе, по окончании этой авантюры, окончательно ополчились. Некий полковник Василий Илларионов, типичный «козуня», обратился в литовца.

— Уж лучше взять паспорт в Литву или Эстонию, — говорили эти иностранцы, — чем отправляться «на луну». В резерве публика все равно начнет подыхать с голоду.

Это предсказание скоро сбылось.

На почве сведения нескольких прежних частей в один полк не обошлось без скандалов. Чтобы сохранить память о полках, наиболее отличившихся в предшествовавший период гражданской войны, их уцелевшие кадры оставляли в целости, добавляя к ним остатки от других полков. При этой операции дала себя знать с отрицательной стороны территориальная система комплектования казачьих частей. Простые казаки, влитые в другую часть, уже не находили здесь своих одностаничников и теряли своих начальников-земляков, которым приходилось уходить в резерв. Поэтому переформированные части долго не могли «сбиться», пришлый элемент относился недоверчиво к незнакомым начальникам, шло глухое брожение. Однажды из сел. Саки (известный грязелечебный курорт в 20 вер. от Евпатории) бежало свыше 30 казаков с шестью офицерами, не желая вливаться в другой полк. Мало того, что бежали, — привели в негодность свои пулеметы, унеся замки. Эта банда, во главе которой стоял войск. старш. Пономарев, два месяца занималась в горах грабежами в качестве «зеленых» и, наконец сдалась правительственным войскам, выговорив себе прощение грехов.

Остатки мамонтовского корпуса свели во 2-ю донскую дивизию. Ее составляли Калединовский, Назаровский, Ермаковский и Платовский полки, во главе которых стояли лихие участники мамонтовского рейда. Калединовским полком командовал безрукий полковник Чапчиков, парень лет 25; Платовским — столь же молодой ген.-майор Рубашкин. Оба были Шкуро в миниатюре. Их имена пестрели в реестрах решительно всех судебных учреждений Крыма. Впервые фамилию Чапчикова я узнал из жалобы одного члена верховного круга*, которого вождь калединовцев до полусмерти избил нагайкой в Туапсе.

Чтобы подбодрить этих лихих налетчиков, Осваг пустил устный и печатный слух о том, что Советская власть отдала распоряжение уничтожить всех мамонтовцев, безразлично, как они окажутся в руках красных: добровольно ли сдадутся или попадут в плен. Сознывая свои грехи перед русским народом, многие участники грабительского рейда поверили этому известию. Впоследствии 2-я донская дивизия прогремела, мужественно сражаясь против Красной Армии. Это было мужество отчаяния.

В общем, худо ли, хорошо ли, но донские части возрождались. Настроив себя на боевой лад, казачьи строевые начальники стали готовиться к походу. Эта подготовка прежде всего сказалась в заботах об обеспечении себя экипажами. Началась самовольная реквизиция лошадей, столь необходимых населению теперь, с приближением лета.

Кое-где посвистывали нагайки. В сел. Ак-Мойнаки генерал Герасимов публично выпорол немца-колониста, возмущавшегося поведением войск.

Возрождалась армия, возрождались и ее пороки, безнадежно губившие белое движение.

Настала весна. Весело засияло южное солнышко. Казаки обогрелись и заскучали по своим хуторам. — Летом всегда наша берет! — рассуждали они.

Детям степи наскучило евпаторийское сиденье у моря. Разудалой казацкой душе снова хотелось в степь, гарцевать на коне, рубить головы и «партизанить»**.

Зимние страдания были забыты на время. Назойливые

* Так называлось представительное учреждение в кратковременный период существования объединенного южнорусского правительства.

** Грабить.

мысли о будущем отошли на второй план весной, когда каждый кустик почевать пустит. О будущем просто не хотелось думать.

Надо отдать справедливость Врангелю: он сумел атрофировать казачье сознание.

Пробуждение его началось только в изгнании.

VI. Опытная ферма

В одном из своих приказов⁵⁴ ген. Врангель строил такой план захвата в свои руки всей России:

О стремительном шествии на Москву не может быть речи. Сначала надо показать народу, что мы из себя представляем и что несем с собой. Если идти с той неопределенной программой, с какой шел Деникин, если у вас будет царить та же разногласица, как и прежде, если отношение армии к населению останется прежнее,— провал обеспечен. Для избежания этого надо дать точную формулировку того, за что мы боремся, объединиться всем на этой платформе, обеспечить население от произвола войск. Только тогда русский народ будет охотно вступать в ряды армии и сражаться против большевиков, когда воочию убедится в преимуществах белого режима перед красным. Поэтому в том районе, который занимает армия, необходимо завести образцовый порядок, водворить строгую законность, искоренить всякий произвол. Когда население соседних мест, еще занятых красными, услышит и узнает о благоденствии народа в южнорусском государстве, оно постепенно будет восставать против насильников и присоединяться к нам. Сама Красная Армия, состоящая преимущественно из крестьян, будет переходить на нашу сторону. Таким способом, медленным, но верным, нам удастся в конце концов освободить всю Россию.

Покамест южнорусское государство составлял один Крымский полуостров, часть Таврической губернии. Это шесть уездов и должны были явиться для русского народа «образцовой фермой», как однажды в разговоре со мной очень метко выразился ген. Сидорин.

«За что мы боремся?» — гласило широковещательное воззвание Врангеля к «русским людям». — «Мы боремся за наши поруганные святыни. Мы боремся за то, чтобы каждому крестьянину была обеспечена земля, а рабочему его труд. За то, чтобы сам русский народ выбрал себе

хозяина. Помогите мне, русские люди».

Слово «хозяин» писалось аршинными буквами. Для заграицы оно обозначало учредительное собрание, для крестьянства, которое, по мнению сливок русского общества, спит и во сне видит батюшку царя, это был монарх.

Раболепное, услужливое духовенство раньше всех начало именно таким образом расшифровывать этот таинственный термин и, разумеется, пометило в хозяины «боярина Петра». Честолюбивый Врангель для виду стыдливо возражал против своей кандидатуры в Петры IV-е.

Выставив такую, как ему казалось, определенную идею борьбы с большевизмом, он начал приглашать для сотрудничества «честных людей».

— В до-Крымский период войны,— говорил он в Симферополе представителям прессы,— слишком много занимались политикой. Стратегия приносилась в жертву политике, а политика была никуда не годная. Дело дошло до того, что мы воевали с поляками и грузинами и чуть-чуть не начали войны с казаками. Теперь этого не будет. Я призываю сотрудничество решительно всех, кто борется против большевиков, пусть будут это меньшевики или эс-эры, поляки или финляндцы.

Чтобы подчеркнуть солидарность с поляками, он отправил в Варшаву своего представителя. Петлюра тоже удостоился врангелевского внимания. Малообразованный ген. К. А. Присовский был назначен «генералом для поручений по украинским делам». Сообщения с другим украинским борцом против Советской власти, неуловимым бандитом Махно, были менее удобны, чем с приютившимся у поляков Петлюрой; кроме того, и в белом стане Махно считался обыкновенным налетчиком и громилой. Изобретательный барон вывернулся. Осважная пресса со всем усердием начала напевать о том, что Махно — идейный борец против большевиков и что Деникин совершил громадную ошибку, не сумев привлечь батьку к совместной боевой работе. Информаторы же довольно удачно пустили слух о батькином посольстве к Врангелю, о заключении с ним форменного союза, об отправке к нему одного полковника-генштабиста для руководства боевыми операциями. Заодно уж прибавлялось о производстве Врангелем батьки прямо в генерал-майоры. К довершению всего в официальных крымских газетах стали появляться время от времени «оперативные сводки штаба войск Махно».

Чтобы рассеять всякое сомнение крестьян относительно земли, было объявлено о начале работ по составлению земельного закона. Его опубликовали в готовом виде после перехода армии в наступление⁵⁵. Сущность аграрной реформы сводилась к принудительному отчуждению частновладельческих земель и переходу их к крестьянам при посредстве выкупной операции. Частные владельцы получали от правительства деньги, а крестьяне обязывались выплачивать ему ежегодно, в течение 25 лет, по одной пятой части урожая, так что стоимость земли определялась пятикратным урожаем.

Проведение в жизнь этого закона, утвержденного бароном Врангелем, зятем одного из богатейших помещиков Днепровского уезда, Таврической губернии, Ивапенко, возлагалось на другое сиятельное лицо, тоже местного помещика, графа Татищева; в районе же, который потом заняла армия, перешедшая в наступление, возлагалось на графа Гендрикова. Такой букет титулованных особ не мог вселить доверия в крестьян и не мог убедить их, что этот закон не простая приманка.

Объявив себя правителем юга России и сформировав по-прежнему пестрое, «деловое» министерство, под председательством бывшего царского министра Кривошеина⁵⁶, при участии бывшего революционера П. Б. Струве⁵⁷, Врангель свое воинство наименовал «Русской армией»⁵⁸. Названия «Добровольческая армия» или «Добровольческий корпус» упразднились, чтобы положить предел разъединению внутри армии, так как войска собственно Добровольческой армии, корниловцы⁵⁹, дроздовцы⁶⁰, марковцы⁶¹ и алексеевцы⁶² чересчур высоко задирали нос и смотрели свысока на недобровольцев. Их претензии, чванство и кичливость, обидные для других, проистекали от их происхождения от «героической корниловской армии, совершившей Ледяной поход, перед которым бледнеет описанное Ксенофонтот отступление 10000 греков».

Теперь все войска, не исключая и казачьих частей, составляли единую армию, подчиненную одному вождю и одним законам. У Донского атамана осталось только право инспектировать свой корпус и производить в чины не выше полковника. Донские военно-судебные установления ставились под надзор Главного Военного Прокурора Врангеля.

Для монолитной, заново отделанной армии, поставившей новые цели войны, уже не было места старым отли-

чиям, которые Деникин так щедро сыпал направо и налево, что в его штабе существовало два наградных отделения⁶³. Надлежало создать такой орден, который оттенял бы повый, врангелевский период гражданской войны и выражал бы новую идею борьбы. По совету своего молитвенника, епископа Вениамина, Врангель, вскоре же по воцарении, объявил положение об ордене святого Николая Чудотворца⁶⁴, отдавая себя и свое воинство, ринувшееся в священную борьбу, под покровительство этого прославленного чудесами святого. Новое отличие ставилось наравне с Георгиевским крестом царских времен, но влекло большие материальные выгоды, в том числе и земельные пожалования. Обещание реальных благ должно было вызвать моральный подъем и героические порывы.

Преобразовав армию, вождь позаботился о защите мирного населения от ее произвола. Чтобы пресечь в корне грабежи, самочинные реквизиции и всякие обиды жителям со стороны войск, были созданы особые военно-судебные комиссии, а стяжавшие печальную славу судебно-следственные комиссии по делам о большевиках совершенно упразднены. Расследование дел о большевиках поручалось усовершенствованной контрразведке, которая ставилась под надзор прокуратуры. Осваг тоже не пользовался популярностью. Его переименовали в информационное отделение, оставив сущность без изменения. Объявлялась беспощадная борьба со взяточничеством, канцелярщиной, бюрократизмом и т. д. и т. д.

Вертясь как белка в колесе и заливая Крым морем приказов, Врангель не подумал о том, осуществима ли его греза об идеальном государстве в условиях того момента. Возможно ли было устроить государство на манер образцовой, показательной фермы на клочке Таврической губернии, где число солдат, чиновников и паразитов равнялось, если не превышало, числу крестьян и рабочих, где имелся самый недоброкачественный, неспособный к творческой работе чиновничий элемент, где противник уже стоял на пороге и где никто не верил в серьезность и прочность всей этой затеи?

Самое ближайшее будущее показало, что вождь строил здание на песке. Временный, чисто случайный успех его оружия в два счета сменился полным поражением, и от широчайших замыслов осталась одна пыль.

Врангелю удалось отиравить в бой двадцать тысяч людей⁶⁵, поставленных в безвыходное положение. Но для

увлечения за собой всей России одних приказов и прекраснодушных пожеланий было мало. Лукавая политическая программа, т. е. учредительное собрание для отвода глаз, а на деле самодержавный царь, лучше всего выявляла истинные намерения нового вождя. Его раскусили сразу все, да и раскусить было не трудно, и никто не хотел верить ни его земельному закону, ни всем другим благим начинаниям. Обман и очковтирательство сквозили во всей его политической деятельности. По легкомыслию он думал провести всех. На деле ничего не вышло.

Кто являлся исполнителем всех благих мероприятий нового вождя, на какие слои общества он опирался в своей правительственной деятельности? А ведь исполнители законов играют не меньшую роль, чем сами законодатели. Самый благой закон, пройдя чрез преломляющую среду исполнителей, нередко вместо пользы приносит вред. Врангель всех звал за собой, но не для совместного сотрудничества, а в услужение себе. Аристократ и вместе с тем солдат, он мог быть только самодержцем. Свое властвование он начал с разгрома донских сепаратистов. Это послужило сигналом к тому, чтобы все политические деятели левого толка, вроде Н. В. Чайковского, поспешили подобру-поздорову унести из Крыма свои ноги.

Остатки старой бюрократии, старых жандармов и полицейских, лицемерных попов и развращенных гражданской войной офицеров, т. е. все те элементы, которые были опорой царизма и грехи которых создали революцию, Врангель хотел использовать для создания угодной русскому народу России.

Ясно, что при всем своем критическом отношении к Деникину, Врангель в Крыму производил не более как гальванизацию трупа белого стана, который, в свою очередь, представлял совокупность старой ветоши. Позже он и сам признался в этом журналисту Г. Н. Раковскому, о чем последний сообщает в своей книге «Конец белых».

Его попытка воскресить с помощью паллиативных мер то, что было осуждено на гибель всем ходом русской истории, с самого начала не могла предвещать успеха. В лице Врангеля старая Россия, поддерживаемая французским капиталом, делала последнюю ставку в своей смертной борьбе с Октябрьской революцией.

Никак нельзя отрицать, что барон наряду с безумным, чисто наполеоновским честолюбием обладал энергией, решимостью, даже политической изворотливостью. Но при

всем том в условиях 1920 года эта последняя ставка павшего социально-политического строя уже была несерьезная.

Большевики шутя ее выиграли.

VII. Процесс донских генералов

Приблизительно в то время, как в Крыму происходила расправа с донскими генералами, в коридорах Ростовской тюрьмы произошла неожиданная встреча двух видных деятелей белого и красного станов, талантливого южно-русского публициста Виктора Севского и известного конника Думенко, отданного Советской властью под суд за произвол. Прихоть судьбы и тюремные своды сблизили двух недавних врагов. Зашел разговор о причинах неудач белых.

— А у вас за всю гражданскую войну был ли расстрелян хоть один генерал? — спросил Думенко.

— Нет, не был⁶⁶.

Действительно, за время гражданской войны на юге России не только ни один из служащих генералов не был расстрелян, но даже и не сидел на скамье подсудимых. Шли грабежи, совершались бессудные убийства, творились неслыханные насилия, казнокрадство превысило все допустимые человеческим воображением пределы, но в военных судах в качестве подсудимых фигурировали только бессловесные Фильки и в редких случаях Иван Ивановичи из штаб-офицеров, не имевших «заручки». Генералитет тогда принадлежал к числу святых деникинского рая, идущего на смену большевистскому аду.

Исключение составляло только несколько генералов, перешедших из Красной Армии. Для проформы их судили, как напр., ген.-лейт. Болховитинова, начальника штаба кавказского фронта в мировую войну. В начале Октябрьской революции этот генерал поступил на службу к красным, но затем бежал к Деникину. Он был предан военнопольному суду и даже присужден к смертной казни, но, разумеется, потом помилован и закончил свою карьеру в стане белых военным министром последнего кубанского правительства.

Затем, в том же суде, судился генерал Батог, военный прокурор юго-западного фронта в мировую войну, вся вина которого состояла в том, что он производил рассле-

дование о корниловском мятеже по распоряжению Временного правительства. Батога приговорили к 4 годам арестантских отделений. Но даже и ему, с которым Деникин сводил теперь старые счеты, это наказание заменили более легким.

В Крыму Врангель усадил на скамью подсудимых генералов Сидорина и Кельчевского.

В это лихорадочное время самые крупные события занимали внимание общества всего какую-нибудь пару дней. О смещенных донских генералах забыли очень скоро. Теперь вдруг их имена снова всплыли на поверхность взбаламученного общественного моря.

1 мая меня совершенно неожиданно навесил видный член донского войскового круга, полковник-генштабист С. К. Бородин, тот самый, который писал в «Донском вестнике» такие боевые статьи против идеологов Добровольческой армии. Впоследствии полученное им от Врангеля генеральство обратило этого казачьего политического деятеля в самого верноподданного.

— Генералы Сидорин и Кельчевский просят вас взять на себя их защиту в военно-морском суде,— сообщил он мне.

Я в это время заведывал военно-судебной частью штаба донского корпуса, только что сдав должность военного прокурора Войска Донского своему товарищу А. В. Попову, казаку по происхождению, произведенному в генералы Богаевским 30 марта и ставшим выше меня чином. Новая должность, юрисконсультская по преимуществу, не возбраняла мне выступать защитником в суде.

— Как? — удивился я, — разве они под судом?

— Под судом... Я только что прибыл из Севастополя, где их видел. Врангель распорядился.

— В чем же они обвиняются?

— Толком я и сам не мог этого понять. Суд, имейте в виду, назначен на послезавтра. Если берете защиту, — спешите. Впрочем, вам, быть может, будет не совсем удобно выступить?

— Это почему?

— Судебное начальство, главный врангелевский прокурор генерал Ронжин, настроен крайне враждебно против наших генералов.

Я улыбнулся.

— А где же вы видели, чтобы прокурор относился доброжелательно к своим жертвам? Здесь же для злобы есть

и личная причина. Ронжин — родственник ген. Лукомского⁶⁷, бывшего председателя особого совещания, которое вы разделявали под орех в «Донском вестнике».

Вскоре мне принесли телеграмму из Севастопольского военно-морского суда с уведомлением, что подсудимые генералы Сидорин и Кельчевский избрали меня своим защитником.

Молва о предании суду опальных донских вождей быстро облетела город. Многие думали, что их будут судить за какие-нибудь хозяйственные грехи. О политической подкладке процесса мало кому приходило в голову.

На следующий день в Евпаторию прибыл специальный катер за свидетелями. От судейского чиновника я только узнал, что дело разбирается в спешном порядке, так как Врангель неимоверно торопит.

Часов около шести вечера я прибыл на пристань, возле которой болтался наш катер, приспособленный развозить нефть в Севастопольском порту, но совершенно не годный для пассажирского движения.

Группа донских генералов и чинов штаба толпилась на пристани. Тут я увидел известного донского вояку «стопобедного» генерала А. К. Гусельщикова⁶⁸; двадцатитрехлетнего генерала Г. И. Долгопятова, дельного малого, который в течение всей гражданской войны ни на один день не покидал фронта, и многих других. Но, что меня более всего удивило, — я увидел тут же Бориса Ратимова: Благообразная, стильная борода его и статский костюм резко выделялись среди бритой военщины.

— Ну, а этому-то что надо? — подумал я, в то время еще совершенно не зная роли евпаторийского осважника в сидоринском процессе. — Интервью, что ли, хочет иметь с кем-нибудь из нас?

Сразу замечалось, что Ратимов чувствовал себя не в своей тарелке. Его несколько прищуренные глаза перебегали с одного предмета на другой. Порою они останавливались и вдруг окидывали наглым, вызывающим взглядом донское офицерство.

— А вы разве тоже свидетель? — обратился я, наконец, к нему.

— Да, тоже! — отрывисто ответил Ратимов, несколько смущаясь.

Когда же я сказал, что еду в качестве защитника, он, под благовидным предлогом, прервал разговор и отошел в сторону. Вскоре на пристани появился комендант

Евпатории ген. Ларионов, который знаками вызвал к себе Ратимова из толпы донского офицерства, и оба они куда-то скрылись. Как потом оказалось, они сели на какое-то другое судно, не рискнув отправиться вместе с донцами.

— Нечего сказать, хорошее судно прислали за донскими военачальниками, — возмущался Бородин. — Везде и во всем Доброволия хочет подчеркнуть свое пренебрежение к Дону. Стараются лягнуть, где только можно. А сами от начала до конца обязаны своим существованием донцам. Когда весной позапрошлого года их разбили под Екатеринодаром и они, потеряв Корнилова, отступили жалкой ордою, где нашли пристанище? На Дону, который к тому времени сорганизовался. Мы, казаки, из сил выбивались, пока они отдыхали и приходили в себя в Мечетинской. А потом разбухли и зазнались.

Матросы катера оказались любезнее приспешников Врангеля. Они предоставили донским генералам свои уютные логовища на полках. Прочие свидетели легли прямо на грязный пол трюма. Я улегся на палубе на пропитанные нефтью канаты и погубил свое пальто. Вдобавок подул ветер и пошел дождь. Глаз не пришлось сомкнуть в течение всей ночи, зато вымок до костей.

Портовой катер оказался с испорченной машиной, и мы шестидесятиверстный путь проделали в 9 часов.

Уже взошло солнце, когда остановились у Графской пристани. В 8 часов утра я наконец добрался до военноморского суда, где через два часа должно было открыться заседание. Предстоял крупнейший процесс двух крупных фигур белого стана, руководивших в течение 15 месяцев отдельной стотысячной армией, а я, их защитник, перед самым началом дела еще не знал, какое предъявлено моим подзащитным обвинение.

Около 10 часов утра прибыл ген.-лейт. Селецкий, назначенный председателем особого присутствия суда, которое должно было судить вождей Дона.

— Вот вам следственное производство, ознакомьтесь, но имейте в виду, что как все будут в сборе, — я открываю заседание.

— Но ведь за каких-нибудь полчаса я не успею даже разжевать обвинительного акта.

— Уж, батенька, как хотите... Нам надо спешить... Врангель нас замучил с этим делом.

Я попробовал было сослаться на военно-судебный (процессуальный) устав.

— Там прямо сказано, что защитнику должно быть дано время для ознакомления с делом.

— Что вы, что вы, батенька! — суетливо залезет генерал. — Бросьте, пожалуйста, эти глупости. Какие там уставки, когда торопит сам Главнокомандующий.

Тут мне невольно вспомнились слова одного моего старого начальника, прокурора Кавказского военно-окружного суда, внедрявшего в меня семена истинной законности, когда я рассердил высшее начальство, указав ему по неопытности на необходимость соблюдать закон:

— Закон, конечно, дело хорошее и исполнения его надо требовать, но только от тех, кто не выше закона. Ну, а разве вы можете заставить поступать по закону нашего августейшего главнокомандующего*. Да он вас одним взмахом в порошок сотрет... Мокренского от вас не останется. Знаете, по закону сами прокуроры следствий не производят, но прикажи он мне, так я сейчас же, хоть в одной рубахе, полечу на следствие.

Усевшись в крошечном председательском кабинете, я начал бегло просматривать предварительное следствие, чтобы хоть как-нибудь уловить суть дела.

Бессмысленный сидоринский процесс возник следующим образом.

Журналист Б. Ратимов, оскорбленный отношением к нему донских властей и озабоченный падением тиража своей газеты, отправился искать по Крыму управы на донских самостийников и «изменников». В Симферополе он побывал у ген. Кутепова, представил будущему «Инжир-Паше» первые номера «Донского вестника», передал ему свою беседу с донскими генералами, умолчав лишь о своей просьбе субсидировать его, и сообщил все слетни, какие ходили в Евпатории по поводу «измены» в донском штабе.

— Там ругают на чем свет стоит ген. Деникина... Вас называют главой преторьянского корпуса... Хотят мириться с большевиками.

Кутепов, который в это время украшал симферопольские улицы трупами повешенных рабочих, пришел в ужас.

— Главариами измены, — продолжал Ратимов, сообщая слухи, почерпнутые в кофейнях, а может быть, и вымышленные им самим для усиления впечатления, — называют штабную группу в 12 человек, во главе с Сидориным. У них

* Вел. Кн. Николай Николаевич, командовавший Кавказским фронтом с осени 1915 г. до революции.

есть тайные сношения с донской бригадой ген. Морозова, которая уже полгода работает у Слащева на Перекопе. Назначен день, когда Морозов пропустит советскую армию через свой фронт в Крым.

Надменный, мелочной Кутепов еще никак не мог забыть того времени, когда он, глава добровольцев, подчинялся донскому командарму и терпел уколы по самолюбию. Всерьез он не мог верить, что в донском штабе гнездится измена. Но для него представлялся случай сделать пакость Сидорину, и он им воспользовался.

Добывшись, с помощью Кутепова, личной аудиенции у Врангеля⁶⁹, Ратимов и здесь доказал, как дважды два четыре, измену донцов, на основании полдюжины газетных статей и короба базарных слухов. Вдобавок он подал главкому два письменных «доношения», в которых излагал опасную для дела восстановления Святой, Великой, Единой и Неделимой самостийную казачью идеологию и письменно подтверждал все, что говорил на словах.

Врангель, который за множеством дел не обращал внимания на Евпаторию и отлагал увольнение Сидорина до удобного момента, теперь сразу взбеленился. Доклады Ратимова давали ему все, что требовалось для расправы над зазнавшимся донским феодалом. Он немедленно вызвал к себе донского атамана и тут же на «доношении» Ратимова набросал черновик приказа о предании военнополовому суду графа Дю-Шайла, об отрешении Сидорина и о назначении следствия.

В период гражданской войны при главнокомандующем вооруженными силами юга России была учреждена должность военного следователя по особо важным делам. Особо важные дела — это те, которые почему-либо интересовали главкома. О беспристрастности при ведении этих дел не могло быть и речи. Следователю больше всего приходилось думать над тем, чтобы угадать тайные желания Главкома, т. е. имеется ли у него серьезное намерение покарать виновного или хочется покрыть его грешки.

Действ. стат. сов. Гирчич всей своей предшествовавшей деятельностью был подготовлен к этой роли. Он принадлежал к не совсем славной стае птенцов щегловитовского гнезда, занимая до революции должность судебного следствия по особо важным делам при Харьковской судебной палате, т. е. по делам политическим, причем ему приходилось работать рука об руку с охранным отделением. На этих делах судейские в то время создавали себе карьеру.

Гирчич, перерыв бумаги графа Дю-Шайла, наткнулся на черновик доклада, озаглавленного «Пути казачества». Для смекалистого человека это была целая находка.

— Блок с эс-эрами налицо. Этот доклад— программа донского командования. Издание газеты — шаг к ее выполнению. В итоге — чистейший вид измены делу вооруженной борьбы с большевиками, — мелькнуло в голове старательного жреца правосудия.

Базируясь на подобных субъективных выводах, не покоившихся на фактических данных, он привлек ген. Сидорина и графа Дю-Шайла, прихватив с ними заодно и Кельчевского, по обвинению в государственной измене.

Дю-Шайла в это время лежал в лазарете, так что расправа над ним с помощью военно-полевого суда не могла осуществиться. Опросив его, Гирчич отправился к генералам предъявлять обвинение, не вполне уверенный, что вернется домой в целости.

— А позвольте полюбопытствовать, вы немного того... не рехнулись? — спросил его Кельчевский.

Сидорин только рассмеялся.

Такого деликатного отношения Гирчич не ожидал. Пять месяцев спустя Слащев в аналогичном случае распорядился спустить его с лестницы.

Окрыленный миролюбием бывших феодалов, птенец щегловитовского гнезда рискнул даже избрать им мерой пресечения домашний арест⁷⁰. Врангель освободил их под поручительство донского атамана.

Серьезное обвинение требовало серьезных улик, иначе в гласном суде прокуратура могла сесть в лужу. Но улики не было, тем более что доклад «Пути казачества» выражал личное мнение графа Дю-Шайла и не удостоился утверждения со стороны донского командарма. При всей своей услужливости, главный военный прокурор ген. лейт. Ронжиц увидел необходимость отделить дело о графе Дю-Шайла от дела о генералах. В конце концов последних предали суду по обвинению в бездействии власти, выразившемся в разрешении издавать при штабе газету, которая:

1) сеяла рознь между казаками и добровольцами;

2) проводила мысль о необходимости мира с большевиками;

3) разлагала донскую армию,

причем последствием всего этого явились серьезные беспорядки в донских частях,

т. е. в деянии, предусмотренном последней частью 145 ст. воинского устава о наказаниях.

Беспорядки, как последствие агитации «Донского вестника», были просто взяты с ветру, рассудку вопреки, наперекор стихиям. Но этот признак требовался для того, чтобы подвести преступление под последнюю часть 145 ст., так как только в этом случае бездействие могло повлечь смертную казнь.

Ген. Богаевский, который еще и до сего времени титурует себя за границей «посителем верховной власти Всевеликого Войска Донского», в Крыму покорно санкционировал все, что ему преподносил Врангель и виртуоз судебного ремесла ген. Ронжин.

Глава казачества ни словом не обмолвился об основных законах своего государственного образования, по которым в Войске Донском существует своя судебная власть*, равно как и о том, что, по договору Дешикина с Красновым в Кущевке, донской командарм подчиняется главнокомандующему только в оперативном отношении и, следовательно, не может быть им предан суду. Это надо было сделать хотя бы для очистки совести и для охраны собственного престижа.

Африкан Богаевский везде пасовал. Глава «демократически организованной окраины» очень любил внешний почет и всякие прочие блага, вытекающие из атаманского сана, но он был слишком труслив и робок, чтобы высоко держать свое атаманское достоинство и отстаивать свои права от покушений со стороны. Трещца перед Врангелем, он бесславно сдался ему на капитуляцию и выдал Сидорина на расправу добровольческим держимордам. Несомненно, некоторую роль тут сыграла его давнишняя боязнь честолюбивого командарма, который не скрывал своего презрения к ничтожному атаману и называл его чуть не в глаза «божьей коровкой».

Другие называли атамана не иначе, как «Афря-фря».

Казалось, в таком громком процессе, единственном за всю гражданскую войну, ревнители правового строя на Руси должны были воочию показать преимущества своего суда. Если Крым представлялся опытной фермой для правительственных экспериментов белого вождя, а будущая крымская эпопея — показательным методом ведения

* Подчинение донских военно-судебных установлений Глав. Воен. Прокур. Юга России произошло уже после суда над Сидориным.

гражданской войны, то суд над Сидориным и Кельчевским должен был дать наглядный пример беспристрастного врангелевского правосудия. На деле получился комикс вопиющих судебных правонарушений, отлично доказавший как инсценированность этого процесса, так и истинную ценность того правового строя, который хотел насадить Врангель. На этом образце как нельзя лучше выявилось обычное для старой России обращение военного суда в орудие политической мести и сведения личных счетов.

Гражданские суды, деятельность которых сильно сократилась уже в мировую войну, в эпоху внутренней распри совершенно ступшевались в белом стане, обнаружив сложность и громоздкость своего аппарата. Действенными органами правосудия служили суды военно-полевые, всецело находившиеся в руках начальства, и военно-окружные или равные им по компетенции корпусные суды, в которых руководили процессом военные юристы. Этот так называемый, «нормальный» военный суд тоже переживал теперь стадию разложения.

Выбитые из рамок обычной жизни, служа большей частью без всякой идеи в белых армиях, а лишь ради куска хлеба, военные юристы кое-как тянули свою лямку, чтобы только не остаться без места, или превращались в Гирчичей. Они и ранее, по условиям военного быта царской эпохи, не пользовались судебной независимостью и находились под большим влиянием высшего военного начальства. Теперь их роль стала совершенно подчиненной, особенно в Добровольческой армии, где господствовал вполне самодержавный строй.

Среди всеобщего развала и грязи взбаламученного моря многие жрецы военной Фемиды сами поскользнулись и полетели вниз по наклонной плоскости. За примерами ходить очень недалеко. Председатель 2-го корпусного суда Добровольческой армии ген.-майор И. А. Панов сам попал под следствие за предосудительные спекуляции и умер от разрыва сердца в ожидании суда. Одним из первых актов правительственной деятельности Врангеля в Крыму было изгнание председателя главного военного и военно-морского суда генерала от инфантерии Дорошевского за целый ряд непозволительных художеств. Этот престарелый сановник (он и при Керенском занимал ту же должность), отдыхая на курорте в Евпатории с молодой супругой, заставлял чинов полиции добывать ему

«по дешевой цене» окорока, масло, яйца и т. д.

— Вы умеете, вы знаете, как это сделать... Постарайтесь для председателя главного военного суда, может, пригожусь! — говорил он вытянувшимся перед ним полицейским, давая им столь малую сумму денег, что тем ничего другого не оставалось, как идти и грабить торговков.

Как бы нарочно для того, чтобы выказать всю гниль, все болячки старого военного суда и утаить кой-какие его положительные стороны, вроде деликатного отношения к защите, Врагель, по представлению Ронжина, назначил председательствовать на суде над донскими вождями музейную редкость военно-судебного ведомства, ген.-лейт. Селецкого.

Это был весьма старый и весьма падший человек, морально грязный и физически, алкоголик и развратник. Мировая война задержала увольнение его в отставку. На фронте он председательствовал в корпусном суде, большую часть инвентаря которого составляли бутылки со спиртом и чемоданы генеральских «племянниц», которые у старика менялись довольно часто.

Когда в 1918 году Войско Донское организовало свой военный суд, Селецкий занял должность военного прокурора. Я был его помощником, точнее, его заместителем, так как старик предпочитал пить мертвую, нежели работать. Однажды, в Новочеркасске, казачий патруль подобрал его на улице в таком виде, что усомнился в его генеральском звании и водворил на гауптвахту. Каково же было удивление патрульных, когда выяснилось, что это не кто иной, как высший блюститель правосудия Всеволодского Войска Донского. Другой раз старик бесследно пропал на несколько дней. Наконец ему дали понять, чтобы он озаботился приисканием себе другого места.

В это время, в начале 1919 года, Добровольческая армия тоже приступила к организации военно-судебного дела, во главе которого стоял ген. Ронжин, старый товарищ Селецкого. Последний был принят в Добровольии как желанный гость.

В те времена порочному элементу жилось весьма педурно. Прощтрафившись в одном государственном образовании, можно было свободно перекочевать в другое, где только случайно могли обнаружить «заграничные» художества иммигранта.

В Добровольческой армии охотно принимали всякого

беглеца с Дона, и тем охотнее, чем более он ругал Краснова и донские порядки.

— Надо показать этим самостийцам, что без специалистов общероссийского масштаба они пропадут, ничего не смогут сделать даже в своей области,— говаривал мне в 1919 году, в г. Ростове, помощник ген. Ронжина ген. Ив. Дор. Иванов, стыдя меня, не казака по происхождению, службой на Дону и грозя, в случае завоевания России, некоторым невыгодными последствиями.

Прогодал или выиграл Дон от ухода такого спеца общегосударственного масштаба, как Селецкий, сказать трудно. Главкомандующий же и глава его правосудия приобрели в лице Селецкого удобного судью для особых поручений.

Наряжая этого выгнанного с Дона алкоголика судить донских вождей, авторы сидоринского процесса хорошо знали, что делали.

Другими двумя членами особого присутствия севастьяпольского военно-морского суда Врангель назначил полных генералов А. М. Драгомирова⁷¹ и Экка.

Назначение первого из них составляло большое правонарушение.

В течение 1918 и первой половины 1919 г. он состоял председателем деникинского правительства — особого совещания при главкомандующем (потом его сменил ген. Лукомский) и руководил той самой политикой Добровольии, которую так беспощадно критиковала газета «Донской вестник». Участвуя в осуждении тех, кого винили в допущении этой критики, он, разумеется, не мог соблюсти беспристрастия, как судья в собственном своем деле.

Престарелый генерал Экк в начале гражданской войны хлопотал о поступлении в донскую армию, но получил отказ со ссылкой на то, что на Дону стремятся к омоложению командного состава. Теперь старик подкармливался у Врангеля, который назначил его председателем «кавалерской думы ордена св. Николая Чудотворца».

Подобный состав судей мог вынести какой угодно приговор по делу донских генералов, даже без судебного разбирательства. Во время перерыва ген. Селецкий ничуть не стеснялся говорить мне о том, что оправдательного приговора и быть не может, а один раз ляпнул прямо:

— Вы, батенька, не думайте, что ваших генералов мы судим за эти глупые статейки Бородина и Дю-Шайла. Это

пустячки. А вот, вот где зарыта собака (при этом он ткнул в черновик доклада «Пути казачества»). Видите, что тут черным по белому написано: «Казачеству по пути только с эс-эрами. В России сейчас идет усиленная работа эс-эров, чтобы вызвать внутренний взрыв... Центр эс-эров сейчас находится в Тифлисе». А вы знаете, батенька, кто сейчас в Тифлисе из ваших левых донцов? Небось, читали в «Вечернем времени» про вашего «Красного Попугая», Павла Агеева, который, вместе с двенадцатью другими членами круга, пошел на мировую с большевиками. А у вас в штабе младший Агеев, кажется, одного поля ягодка. Кто вас там знает, вдруг вы все окажетесь одна лавочка да попросите у большевиков пардону. Вот, чтобы вы там поменьше эс-эрили, Врангель решил вас немножко погладить против шерсти. Хватим по башке одного, другие успокоятся.

Незадолго до открытия заседания я увиделся наконец со своими подзащитными и среди шума и суеты даже не успел выведать, какую позицию они избирают для своей защиты.

Г. Н. Раковский в своей книге «Конец белых» заставляет Сидорина произносить на суде целые речи в эс-эровском духе*.

В действительности же у вождя донской армии на суде не хватило мужества повторить перед лицом Добровольцев тот же упрек в ее пагубной идеологии, который бросался по ее адресу на страницах «Донского вестника». Вместо этого он стал оправдываться и в течение двух дней процесса доказывал, что ругательный тон «Донского вестника» был им не только разрешен, но даже предписан в целях педагогических: имелось, видите ли, в виду поддвигиваньем казачьим настроениям вернуть доверие разочаровавшихся людей, восстановить пошатнувшийся авторитет начальства и затем исподволь взять казаков в руки, подтянуть и подготовить к новому походу.

* Невзирая на то, что в распоряжении Раковского за границей находился громадный материал, относящийся к этому процессу, последний изложен им крайне сжато, неточно и освещен тенденциозно. В одном месте Раковский описывает свою беседу с ген. Ропкиным, к которому он будто бы являлся просить билет для пропуска в зал заседания. Не говоря уже о том, что с этой просьбой едва ли надо было обращаться к главе правосудия. Раковский в данном случае уходит от истины еще и потому, что он вызывался в суд по просьбе обвиняемых, как их свидетель.

Я плохо верил в наличие такого плана.

Из числа свидетелей первым допрашивался Б. Рати-мов. Осважник чувствовал себя крайне неловко, но отгры-зался от Сидорина. Строго говоря, его толкованием ста-тей «Донского вестника» и передачей базарных слухов об измене в донском штабе исчерпывался весь обвинитель-ный материал. Однако процесс длился два дня, 3 и 4 мая. Перед судом прошел ряд свидетелей, переливавших из пустого в порожнее. Больше всех публику насмешил донской атаман Богаевский, а изумил своим мужеством ген. Карпов.

Богаевский хотел удовлетворить обе стороны. Поэтому об одном и том же факте он показывал различно, в зави-симости от того, допрашивал его прокурор или противо-положная сторона.

— С одной стороны нельзя не сознаться, с другой сто-роны нельзя не признаться, — характеризовал его показа-ние кто-то из Сидоринской «лавочки», кажется, Раков-ский.

— Скажите, — задал я атаману вопрос, — а вам в Се-вастополь доставляли номера «Донского вестника»?

— Доставляли.

— И вы их читали?

— Читал.

— Как же вы отнеслись к тем статьям, о которых мы ведем разговор на суде?

— Они, признаться, мне не нравились. Впрочем, я как-то не обратил на них внимания.

— А теперь вы находите, что они имеют криминаль-ный характер?

— Я и решил предоставить разобраться в этом вопро-се беспристрастному суду.

Глава демократического государства, оказывается, сам не мог определить, что дозволено законом и что запрещено!

Ген. Карпов, начальник донской пешей бригады, не казак по происхождению, заявил с солдатской прямоотой:

— Там, в Новороссийске, ведая погрузкой донских частей, я увидел насмешливое отношение денкинского штаба к казачеству. Меня ежеминутно обманывали, обе-щая дать пароходы донцам, а в конце концов ничего не дали, бросив казаков на произвол судьбы.

Голос молодого, полного энергии генерала звучал твер-до. Его простые, по-солдатски отчеканенные, слова пада-ли, как удары молота на наковальню. Зала, полная публи-

ки, замерла. Здесь собрался цвет Добровольии во главе с врангелевским военным министром ген. Никольским⁷². Гордо и с едва скрытой насмешкой поглядывали прилизанные, с иголки одетые сторонники Единой и Неделимой на неуклюжих, мешковатых допских генералов, из которых не всякий умел связать пару слов. Теперь вдруг из среды этой серой генеральской массы выискался смелый трибун.

— До этого дня, до 13 марта,— продолжал Карпов,— я осуждал всякую самостийность и казакоманство. Но тут я понял, что сама Добровольческая армия толкает казаков на этот путь. Она родит казачий сепаратизм. В этот день я понял казачью психологию, сам стал в душе казаком и возненавидел того человека, которого раньше боготворил — генерала Деникина.

Селецкий растерялся и не останавливал грозного обличителя.

— И я понял,— закончил генерал,— что я не могу служить при таких условиях и немедленно подаю в отставку.

Он сдержал свое честное солдатское слово. Тотчас же по возвращении в Евпаторию подал рапорт об увольнении со службы и ушел из армии, невзирая на просьбы допского начальства, не желавшего лишиться дельного, энергичного генерала.

То, что следовало бросить в глаза Добровольческой армии представителям казачества, было брошено, но увы! не казаком; воякой, а не политическим деятелем.

Казачий политик Сысой Бородин выкручивался. Его фамилия, как автора криминальных статей в «Донском вестнике», отнюдь не должна была фигурировать в списке свидетелей. Но звание члена Войскового круга спасло его от скамьи подсудимых. Врангель не хотел посягать на казачьих избранников, чтобы не прослыть в Европе врагом представительного строя.

Бородин, подтверждая позицию Сидорина, бессвязно лепетал о знании им казачьей души, о своих родственниках-пастухах, о необходимости тонкого подхода к демократам-казакам и т. д. Из слов этого политика-генштабиста выходило, что все его боевые статьи не плод размышлений идейного человека, а ложь во спасение, не проповедь своих убеждений, а демагогия с определенной целью.

В этом знаменитом процессе, где одно южнорусское

политическое течение, централистское и глубоко реакционное, производило расправу над другим, казачьим-демократическим, последнее не нашло достойных представителей, чтобы смело и категорически прочесть казачий символ веры.

Выходило так:

— Нашкодили, и в кусты. Призвали к ответу — пARDону просим. Помилуйте, ругали вас для вашей же пользы.

Г. Н. Раковский в своей книге «В стане белых» пишет, что в Новороссийске ген. Сидорин, взбешенный глумлением Деникина над казаками, хотел застрелить его. На суде же донской командарм всячески пытался доказать свое всегдашнее почтительное отношение к Деникину. Для этой цели, по его просьбе, был вызван в суд генерал-лейт. Покровский.

Я в первый и последний раз в жизни видел этого человека, стяжавшего себе такую страшную репутацию. Небольшого роста, несколько сутуловатый, с нахмуренным лбом, с крючковатым птичьим носом, пронзительными глазами, то и дело загорававшимся злым огоньком, он производил впечатление степного хищника и, казалось, среди культурного человеческого общества чувствовал себя не по себе.

Этот препрославленный герой белого стана, первая рука Деникина, теперь был не у дел и проводил последние дни в Севастополе, в ожидании выезда за границу. Опасаясь участи Сидорина и даже несколько худшей, он жил, окруженный своей преступной «лапочкой», на какой-то вышке, превратив ее в форт Шаброль. На улицу он выходил не иначе, как в сопровождении вооруженных телохранителей. Генерал-вешатель никому не хотел отдаваться живым в руки. Когда в ноябре 1922 года, в Болгарии, его шайка, только что совершившая убийство А. М. Агеева, была застигнута болгарскими властями на границе Македонии, Покровский предпочел смерть в перестрелке, чем жизнь в неволе.

Странная судьба выпала на долю этого человека. Летчик по специальности, он совершенно случайно попал на Кубань и в чине штабс-капитана стал командовать войсками кубанской рады.

Эта рада украсила его и генеральскими погонами. Деклассированный интеллигент, он с воинами наидемократической, самостийной Кубани помогал обломкам ста-

рой России восстанавливать помещичье-самодержавный строй. Единственное средство, которым он двигал своих кубанцев на это дело, была приманка грабежом. Единственный метод политической борьбы, который признавала эта бесспорно цельная, солдатски-тухая и садически-жестокая натура, была расправа каленым железом и намыленной веревкой. Тем и другим он широко пользовался в своей боевой и небоевой работе, и имя этого беспощадного вешателя прогремело далеко за пределы белого стана.

Сидорин попросил его рассказать о свидании командующих армиями в Ясиноватой. Покровский, переминаясь по-горски с ноги на ногу и шевелия полами черкески, рассказал о том, как во время этого свидания Врангель возбуждал вопрос о смене Главнокомандующего, но Сидорин отстаивал Деникина.

— Для подтверждения этого факта я просил вызвать свидетелем самого ген. Врангеля, — пояснил Сидорин, — но суд мне в этом отказал. Я уверен, что благородное сердце Петра Николаевича не допустило бы его отказаться от того, что было говорено в Ясиноватой.

Наконец, мрачная фигура ген. Покровского отступила назад.

Два офицера-ингуша тотчас же заняли свои посты за его плечами, готовые в миг зарезать всякого, кто захотел бы схватить их вождя.

— Какой неприятный человек! — заметил я во время перерыва А. М. Агееву. — Генеральша Шкуро много рассказывала мне про его зверства в Кисловодске, но я никогда не думал, что и вид у него такой тяжелый.

— Да, плохо тому, кто встанет на пути этого человека. Ох, не хотел бы я быть его врагом, — ответил Агеев, знавший Покровского больше меня.

Он не ошибся. Спустя два с половиной года он встал на пути Покровского, готовившего в Варне небольшой десант для высадки на Кубани, разоблачил эту авантюру в эмигрантской прессе и пал на моих глазах от руки черкесов Покровского.

Моя роль во время сидоринского процесса была довольно пассивная. Не прочитав толком предварительного следствия и не выработав плана защиты совместно с обвиняемыми, я только силился доказать, что содержание статей «Донского вестника» не представляет из себя чего-либо нового, а есть обычная пикировка между Доброволь-

ческой армией и казачеством, мировоззрения которых не сходятся, что евпаторийская история с этой газетой есть один из этапов постоянной борьбы между двумя политическими течениями, подогретой поворооссийской катастрофой.

— Скажите, — спросил я на суде Ратимова, — теперь в Евпатории выходит казачья газета?

— Выходит «Вольный Дон», — с грустью ответил осажник.

— Кто редактирует?

— Член донского круга полк. Гнилорыбов.

— Каково же ее направление, сильно разнится от направления «Донского вестника»?

— Нет, не особенно. Только тон статей более сдержанный.

Действительно, новая казачья газета «Вольный Дон» опять тянула старую песню о демократическом Доне, об особенностях казачьего бытового уклада, указывала на ошибки Деникина и т. д. Врангелю надо было затевать новый процесс. Дело ликвидировали тише и проще: гнилорыбовскую газету придушили тем, что Осваг распорядился не давать редактору бумаги, которая в Крыму была взята на учет.

Но как ни скромна была моя роль в процессе, Селецкий больше всего изливал свою ненависть к Дону на мне, хотя я не принадлежал к казачьему сословию и оказался в Донской области совершенно случайно. Затыкать рот подсудимым на гласном суде было неудобно. Зато защитника он осаживал на каждом шагу, притом в невозможно грубой форме, так что я серьезно подумывал уйти из суда. Прокурору разрешалось задавать свидетелям какие угодно вопросы, мои же то и дело признавались не относящимися к делу. Я попробовал было занести в протокол показания начальников донских дивизий — ген. Гусельщикова, Су-тулова и Долгопятова, которые удостоверили, что в результате чтения казаками «Донского вестника» никаких беспорядков в частях не произошло. Эти свидетели на следствии не допрашивались, между тем их показания совершенно опровергали формулировку обвинения по той части 145 ст., которая влекла смертную казнь.

— Потом! Потом! — замахал руками Селецкий, — садитесь.

Я пожал плечами. Мое законное требование так и осталось без исполнения.

Ген. Ронжин весь процесс просидел в курульном кресле, сзади военного прокурора ген. Дамаскина, любясь своим детищем — процессом. Он только улыбался, когда его друг и приятель Селецкий выкидывал какой-нибудь боевой номер.

— Что это он так на вас набрасывается? — недоумевали мои многочисленные коллеги, подчиненные ген. Ронжина. — Будь вы платный адвокат, который не прочь побудировать на политическом процессе, — тогда другое дело. Вы же сами военно-судебный деятель, профессионал, военный юрист, который из уважения к своему ведомству не допустит ничего бестактного или вызывающего.

— В прежнее время, — говорил генерал Г-в, — в нашем суде председательствующие усугубляли свое внимание к защите в тех случаях, когда заранее решались кого-либо закатать, удовлетворяли решительно все ее требования, даже незаконные: все равно, ведь прокурор, довольный приговором, не подаст протеста. А тут и о законных заикнуться не дают. Соблюдали бы хоть decorum правосудия.

Начались прения сторон.

Прокурор военно-морского суда ген. И. С. Дамаскин, мой близкий товарищ, доказывал, на основании показаний «честного русского журналиста», состав преступления и, возмущаясь домогательствами «похабного мира» донским офицерством, требовал назначить подсудным одно из наказаний, указанных в последней части 145 ст. воинск. Уст. о наказ.

— В числе этих наказаний значится и смертная казнь! — закончил обвинитель свою сухую, крайне слабую речь.

— Короче и ближе к делу! — осадил меня Селецкий, едва я успел раскрыть рот.

Вперив в меня свои мутные, подслеповатые глаза, он насторожился, готовый в каждую минуту оборвать защитника. Как только я чувствовал, что с его губ готово сорваться оскорбительное замечание, старался сейчас же перевести речь на другой предмет.

— Мне бы хотелось одного, — закончил я свою часовую речь, — а именно: да совершится правосудие. Страшное время переживаем мы — время беззаконий и произвола. Только еще в судах блистает маяк правды и законности. Пусть же будущий историк казачества, когда станет изучать этот бесспорно исторический процесс, скажет, что

при постановке приговора по делу донских вождей зеркало правосудия сияло перед судьями своим лучезарным светом.

Ген. Сидорин в последнем слове живо, не без подъема, очертил все свои, действительно, немаловажные заслуги перед белым станом; заявил, что и после процесса будет работать на благо казачества, только в иной форме, а не в той, как до сих пор, и возмущенно опровергал мнение прокурора о том, что донское офицерство добивалось «похабного мира» с большевиками.

— Правильно! — закричали сторонники Сидорина, возмущаясь вместе с ним этим местом прокурорской речи.

— Прошу не шуметь! — закипятился Селецкий.

— Правильно! Нельзя так оскорблять донцов! — раздавалось в зале.

— Я прикажу удалить всю публику из залы! — погрозил наконец Селецкий, перепуганный скандалом.

Только после этой угрозы смолкли крики.

Ген. Кельчевский, который все время безмолвствовал и о котором никто ничего не говорил, так что посторонней публике казалось непонятным, почему он-то сидит на скамье подсудимых, сказал всего несколько слов со своим обычным юмором:

— Я прошел в жизни все стажи, от артиллерийского подпоручика до профессора академии генерального штаба, командующего армией в мировую войну и военного министра южнорусского правительства. Теперь, по милости «честного русского журналиста», мне предстоит пройти еще и тюремный стаж. Но я уверен, что вы, господа члены особого присутствия, признаете меня не подходящим для этого стажа.

VIII. Приговор

Суд удалился в совещательную комнату в 8 часов вечера, а приговор был вынесен около полуночи.

За эти четыре часа из дворца Главнокомандующего несколько раз справлялись по телефону, кончилось ли дело. Врангель крайне интересовался ходом процесса. Он установил самую строгую цензуру статей, касающихся этого дела. Пропускались только самые сухие отчеты. Один перепуганный репортер уже после процесса жаловался мне, что его и редактора обслуживаемой газеты

хотят предать военно-полевому суду за то, что они, без разрешения цензуры, изложили сущность сидоринского дела, не скрыв позорной роли Ратимова.

Но, как ни старался Врангель изобразить из себя страшного громовержца, как ни усердствовали Гирчич, Ронжин и Селецкий, все равно никто не верил в то, что донские вожди понесут серьезное наказание.

— Осудят, а потом помилуют! — говорили все, зная порядок, твердо установленный в белом стане в отношении сколько-нибудь ответственных лиц и уходящий корнями в отдаленные царские времена.

В сидоринском процессе эта старая традиция ничуть не нарушилась.

— Ты не бойся, — сказал ген. Богаевский Сидорину перед самым выходом суда. — Какой бы ни был приговор, ты все равно спокойно уедешь за границу.

— Я и так несколько не боюсь, — сухо ответил Сидорин.

Отворилась дверь совещательной комнаты, из которой показался жалкий, обтрепанный Селецкий, сопровождаемый плотным, гладко выбритым Драгомировым и тощим, с черноморовской бородой, Экком.

— Особое присутствие, — начал неестественным, с выкриками, голосом Селецкий, — признало ген. Сидорина и Кельчевского виновными в бездействии власти, вызвавшем серьезные беспорядки в донском корпусе, и приговорило каждого из них к исключению из военной службы, к лишению чинов, орденов и воинского звания и всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы сроком на 4 года.

«Правосудие в войсках ген. Врангеля»* совершилось.

— А ведь право, — заметил один из «каторжников», ген. Кельчевский, когда мы направились ужинать, — я гораздо меньше волновался на этом суде, чем во время защиты своей профессорской диссертации.

И, вспомнив академию, рассказал несколько эпизодов из той эпохи, когда в числе его слушателей состоял и гвардейский поручик барон Врангель.

Шел уже полицейский час, рестораны не имели права

* Так была озаглавлена вышедшая в 1921 г., в г. Константинополе, брошюра полк. А. П. (Попова), помощника ген. Ронжина. В ней излагается устройство военно-судебной части в эпоху Врангеля и восхваляется собственная деятельность по подворению правосудия в войсках.

торговать. Но даже и в Севастополе, под носом правителя Крыма, за деньги его распоряжения очень легко нарушались. «Каторжники» не скупидись. Для нас не только зажгли свет в ресторане, но даже сервировали ужин человек на 20 на открытом воздухе. Я впервые очутился в интимной сидоринской компании, среди его «лавочки» — и был поражен чрезмерным амигошонством. Желторотый Агеев называл на ты не только Сидорина, но даже старого профессора Кельчевского.

На следующий день Селецкий объявлял приговор в окончательной форме.

— Вы не беспокойтесь... Главнокомандующий смягчит вам наказание,— затараторил этот жрец Фемиды и на прощание протянул Сидорину через стол руку.

Но протянутая старческая рука так и повисла в воздухе, не принятая «каторжником». Оплевав правосудие, Селецкий сам получил публичную пощечину. Впрочем, такой пустяк его почти не смущал.

Когда я уходил из суда, задержавшись там доле остальных, у подъезда меня окликнул незнакомый голос:

— Скажите, полковник, процесс ген. Сидорина кончился?

Я оглянулся. Это кричал с фаэтона небольшой, чернявый человечек, голову которого покрывала кубанка.

— Да, уже кончился.

— Ах, как жаль, как жаль, что не удалось попасть. Я так спешил из Феодосии... Даже пренебрег тифом, поехал почти совсем больной... Да вы точно ли знаете, что процесс кончился?

— Как же мне не знать, когда я их защищал на суде.

— Ах, вот как... Очень приятно, очень приятно... Позвольте позвать вашу руку... Вам еще придется видеть Сидорина?

— Да, конечно.

— Так, ради бога, скажите ему, чтобы он скорее спешил в Париж. Там его место... у эс-эров. Там ведь сейчас оживляется наша работа, все там.

— Позвольте! Кто же пойдет за эс-эрами, в особенности за Керенским, это после того, как они оскандалились в 1917 году? Они проявили полную неспособность держать власть. Военная среда может идти только за людьми дела, а не слова. Сердцу военного человека ближе твердые, энергичные большевики, чем дряблые болтуны эс-эры.

— Ах, что вы говорите... Теперь и мы будем решитель-

ны, конечно, поумпели. Керенский оскандалился, но мы его все-таки будем держать при себе. Имя! Марка! Но, разумеется, мы не дадим ему никакой активной работы.

— А с кем имею честь разговаривать?

— Матрос Федор Баткин,— не без гордости заявил мне собеседник.— Так, пожалуйста, пусть Сидорин едет в Париж, непременно едет. Он будет очень тепло встречен у эс-эров.

С этими словами сирена Керенского укатила от меня.

6 мая осужденные подали кассационную жалобу, указывая в ней на ряд всевозможных правонарушений, превративших процесс в административную расправу.

— Что вы, батенька, с ума сошли, что ли, со своими генералами? — приветствовал меня Селецкий, узнавший о подаче жалобы.— Добиваться отмены приговора! Неужели вы там думаете, что мы еще раз будем собирать такой суд... Ничего из вашей жалобы не выйдет, наперед скажу.

Ген. Ронжин засуетился. Вечером 7 мая он пригласил в свой служебный кабинет членов главного военного и военно-морского суда, высшей кассационной инстанции, на предварительное совещание, т. е., другими словами, чтобы убедить их в необходимости провалить жалобу. Этого было очень не трудно достичь. В этом верховном судилище председательствовал старый сухомлиновский лакей ген. Макаренко, главный военный прокурор царской эпохи. В февральскую революцию он был арестован вместе с министрами и сошел с политического поприща. В 1918 году он выплыл на юге России и был одно время денкинским министром юстиции, теперь же в Крыму заменял изгнанного генерала Дорошевского. Второй кассатор был ген.-лейт. Игнатович, в царское время помощник главного военного прокурора, т. е. ген. Макаренко. Оба они привыкли поступать так, как хотелось высшей власти. Третьего кассатора, члена от флота, адмирала Лазарева даже не пригласили на заседание; голос его все равно не имел значения.

Между тем, пока шло совещание высших блюстителей врангелевского правосудия, «каторжники» составили заявление о том, что просят оставить их жалобу без последствий.

— Хотя мы убеждены,— писали они,— что приговор по нашему делу будет отменен главным военным судом; но, так как пересмотр дела снова привлечет внимание

казацких масс к процессу и вызовет среди них такое настроение, которое совершенно нежелательно, ввиду предстоящего наступления крымской армии, мы просим нашу жалобу не рассматривать.

— К чему же тогда было огород городить? — спросил я присяжного поверенного Сергея Ивановича Варшавского, одного из акционеров и сотрудников газеты «Русское слово», а теперь редактировавшего газету «Юг России». Во время процесса он являлся негласным советником подсудимых. Ему принадлежала инициатива подачи жалобы, он же проделал с ней и этот фокус.

— Это нужно для истории! — услышал я в ответ.

История должна была увенчать лаврами Сидорина за то, что он, не в пример Врангелю и Богаевскому, заботился о спокойствии казачьих масс перед новым наступлением и даже пожертвовал собственным благополучием ради блага казачества. Так следовало понимать это адвокатское блудодеяние.

Захватив генеральское заявление, я отправился к ген. Ронжину. Там, пока Варшавский работал для русской истории, шли горячие дебаты о тех основаниях, по которым следует поставить крест на всей сидоринской истории. Блюстители правосудия бог знает сколько времени спорили бы, если бы я не переслал к ним в кабинет заявление генералов об отказе от жалобы.

Дебаты сразу стихли. Спорить стало не о чем.

9 мая Врангель утвердил приговор, предварительно побывав в Евпатории, чтобы узнать настроение казаков. Он не нашел никакого волнения в их среде в связи с процессом вождей.

— Принимая во внимание заслуги доцкого казачества в борьбе с большевиками и по ходатайству доцкого атамана, — гласила заключительная часть конфирмации, — заменяю определенное судом ген. Сидорину и Кельчевскому наказание — отставлением от службы, без права ношения военного мундира.

Селецкий еще дня за два разболтал мне, что таков будет результат этого дела.

Так кончился этот бутафорский суд, бессмысленный и ненужный. Врангель доставил себе удовольствие, продержав двое суток на скамье подсудимых неприятных ему людей и затем с миром отпустив их. Обратив суд в водевилль, он только вволю посмеялся, позабыв при этом, что

если от великого до смешного один шаг, то от смешного до великого дорога дальняя.

И тем не менее этот процесс по справедливости может быть назван историческим.

Казачество, начиная с февральской революции, возомнило себя особью русского племени, претендовавшей на автономию тех областей, где она сосредоточивалась. Однако идеологи казачества так и не могли выработать определенной казачьей социально-политической программы. Оттого казачество все время лавировало между двумя стульями, реакцией и революцией.

Программу ему заменяла романтика. Жизнь по прадедовской старине, в степных привольях, с вольным кругом и радой; оказалась в наше время не более, как красивой мечтой, навеянной казачьими поэтами, вроде «донского баяна», сподвижника Каледина, Митрофана Богаевского*.

Казачьи массы совершенно не понимали своих идеологов и их программы. Будучи земледельцами, казаки были в то же время и воинами, воспитанными в казарменной дисциплине царских времен. Привычка к рабскому повиновению сделала их игрушками в руках реакционных генералов, голос же земли звал их к рабоче-крестьянской власти. Потому-то казачество столько раз признавало советскую власть, потом восставало, снова мирилось и т. д. Равным образом не ладило оно и с лагерем реакционеров, с Добровольческой армией, благодаря своим политическим деятелям, казакоманам. Добровольческая армия, наследие старого режима, нуждалась в казаках как в пушечном мясе, но считала абсурдом какое бы то ни было обособление их от той России, которую она представляла, и от той политической программы, которую она проводила в жизнь. Летом 1919 года в г. Ростове пал от руки убийцы, направленного близкими к Добровольии кругами, председатель кубанской рады И. С. Рябовол. Это было первое предостережение казакам. В ноябре того же года Деникин учинил суровую расправу с членом рады Калабуховым. Теперь, наконец, старая царская Россия в лице Врангеля и его суда юридическим актом за-

* Родной брат ген. А. П. Богаевского, избранного в 1919 году в атаман; отличался редким ораторским талантом; разрабатывал допскую историю; после падения Каледина был взят в плен донским партизаном войск. старш. Голубовым, принявшим сторону большевиков, и в феврале 1918 г. расстрелян в г. Новочеркасске.

фиксировала ненужность и вредоносность обособления казачества, которое она признавала только привилегированным военно-земледельческим классом.

Возражения на этот приговор не последовало. Казаки были равнодушны к осуждению той идеологии, которой они не понимали. Казачьи политические деятели робко спрятались в кусты. В Ронсевальской долине не прозвучало даже Роландова рога, потому что казачество имело певцов и имело войнов, но не имело проникнутых казачьей идеологией и в то же время сильных духом вождей. Хрупкое создание поэтической фантазии, Тихий Дон, Вольная Кубань, Шумный Терек, быстро рассыпались в пыль в соприкосновении с прозой реальной жизни, и даже некому было оплакать смерть красивой казачьей мечты.

За границей, пройдя крестный путь трудовой жизни, казачество опять воскресло, но осознав себя не как этническую особь, или как особый класс, а лишь частью великого трудового класса русского крестьянства. Такую современную роль выковали для казачества не большевики, а весь ход русской истории. Большевики только подвели итоги. Не признавая романтики и сокрушая классовые привилегии, эти величайшие практики не более как завершили длительный исторический процесс претворения казачества в простое крестьянство.

Долго еще блуждали по Крыму, а по загранице еще и сейчас блуждают, как метеоры в безвоздушном пространстве, разные казачьи атаманы и политические деятели. Но это тени мертвеца. Атаманы давно стали адъютантами Браунгеля, политические деятели — нахлебниками эс-эров, как пражские «возрожденцы», или Милюкова, как председатель донского войскового круга В. А. Харламов*. Эс-эры всегда усердно зазывали казаков под свою фирму. В конце концов группа безработных деятелей «союза возрождения казачества», во главе с председателем Терского войскового круга Г. Ф. Фальчиковым, соединила с ними свою судьбу.

Остается сказать несколько слов о героях процесса.

Генералы Сидорин и Кельчевский вскоре после конфирмации приговора уехали за границу, где они долгое время служили мишенью для выпадов черпосотенцев, ко-

* Член Государственной думы всех 4 созывов. В эпоху Керенского состоял председателем особого закавказского комитета.

торые так и титуловали их «каторжниками». Хотя в 1921 году эс-эры вызывали ген. Сидорина в Париж на свое совещание, в качестве эксперта по казачьим делам, но на эмигрантском горизонте звезда бывшего донского командарма никогда не всходила высоко. Кельчевский занялся своей любимой научной работой, написал несколько брошюр по военным вопросам и умер в 1923 году, в г. Берлине, редактируя военный журнал «Война и мир».

Главный виновник сидоринского процесса, граф Дю-Шайла, долго еще томился в заключении. Осенью, когда он выздоровел, его дело уже потеряло свою остроту. Его предали севастопольскому военно-морскому суду по обвинению в разлагающей войска пропаганде (129 ст. Угол. Улож.), а не в государственной измене. Саморанение спасло его от предания военно-полевому суду и неминуемого расстрела, время — от обвинения, влекущего расстрел, а военно-морской суд, под председательством молодого судьи, честного полк. В. В. Городынского, его и вовсе оправдал. Ген. Селецкий в это время отсутствовал, и Ронжин не мог выпустить его на этот процесс. В «нормальном» же военном суде не все юристы походили на Селецкого.

Получился неслыханный скандал для «правосудия в войсках ген. Врангеля». Донских вождей присудили к каторжным работам за то, что они допустили преступную агитацию газеты «Донской вестник», а теперь оказалось, что тот же военно-морской суд, но в другом составе, признал эту агитацию не преступной.

Ген. Ронжин рвал и метал. Полк. Городынскому он перестал подавать руку. Прокурору военно-морского суда было предписано подать кассационный протест. Но в дело французского графа Дю-Шайла вмешался резидент Франции при Врангеле, другой французский граф де-Мартейль, и прокурорский протест, как некогда кассационная жалоба Сидорина и Кельчевского, был взят обратно из главного воен. и воен.-морского суда.

Доносчик Ратимов получил от Врангеля свои 30 серебряников, составлявшие в крымской валюте того времени 5000000 рублей. Эти деньги были выданы ему на ведение при «Евнаторийском курьере» казачьей страницы. Обласканный верхами, он, по возвращении в Евпаторию, поспешил облечься в чиновничий мундир с какими-то фантастическими погонами и стал корчить из себя видную фигуру.

И пожинал наш Боря лавры,
В своем «Курьере» бил в литавры,

гласила злобная сатира в измайловском «Царь-Колоколе».

Впрочем, в конце владычества белых в Крыму, когда Врангель не уважил его просьбы о выдаче новой субсидии, этот Шервуд-Верный начал сам крамольничать, допуская в своей газете демагогические выпады против офицерства. Он не успел испытать на себе гнева Врангеля. Перекоп пал, и Ратимов очутился там же, где находились обвиненные им в измене «русскому национальному делу» донские генералы и граф Дю-Шайла, вместе со своими судьями.

- Судьба всех их свалила в одну эмигрантскую кучу.

IX. Перед наступлением

Донским корпусом управляло новое начальство.

Теперь вышло наоборот против прежнего: командир корпуса принадлежал к генералам старой формации, а начальник штаба — новейшей.

Как донская армия теперь сжалась в один корпус, так и стоящие во главе ее люди заменились другими, более мелкого масштаба.

Ген. Ф. Ф. Абрамов, преемник Сидорина, менее всего походил на феодала. Он был просто солдат и, как таковой, знал только одну политику — беспрекословное повиновение своему начальству. Я работал бок о бок с ним свыше года и не только не мог определить его политической физиономии, но даже узнать, есть ли у него вообще какие-нибудь политические взгляды. Это была бессловесная машина, заведенная в определенном направлении.

Тактичный, безукоризненно честный и, если бы не черствость, то образчик решительно всех мещанских добродетелей, он, в силу особенностей своего характера, не мог быть образцовым командиром даже с точки зрения прежнего времени. Формалист и нелюдим, он не имел со своими подчиненными никакой связи, кроме официальных разговоров. Поэтому жизнь своего корпуса знал только по бумагам и со слов докладчиков и часто не видел тех величайших безобразий, которые происходили у него под носом.

Постоянно замкнутый в самом себе, он редко высказывал свое мнение, «добру и злу вникая равнодушно». Однажды летом он присутствовал при осуждении военно-судебной комиссией полк. Ханжонкова и войск. старш. Сиволобова, преданных суду самим Врангелем за самочин-

ные реквизиции. Военно-судебные комиссии были учреждением новым и несколько оригинальным, дело же довольно громкое и касалось чести корпуса. Когда, после суда, мы вышли с ним на улицу, я рассчитывал услышать от комкора какие-нибудь замечания, касающиеся процесса. Но он задал мне только один вопрос:

— А что, нет ли тут в комиссии евреев?

Секретарем комиссии, действительно, был молодой, интеллигентный еврей М. Б. Полонский, мой протеже. Это комкор заметил. Но какое впечатление произвел на него суд, обратил ли он внимание на какие-нибудь дефекты процесса или промахи председателя, так и осталось тайной.

Нелюдимый по природе, ген. Абрамов чуждался офицеров и не умел говорить с казаками; когда же необходимость заставляла выступать перед казачьими массами, его сухая, казенная речь не оставляла никакого следа. Появление же его в обществе офицеров во внеслужебное время на всех нагоняло тоску. Обед в его присутствии напоминал сухую похоронную тризну.

Ясное дело, что люди за ним могли идти только в силу внедренной в их сознание дисциплины. Поэтому в первоначальный момент гражданской войны на Дону, когда казаки шли на бой не в силу приказа, а в силу того или иного порыва, который начальник должен был поддерживать, этот мертвый человек совершенно тушевался.

Для увлечения массы нужны живые, пламенные люди. Старье редко для этого годится. Во главе восставших казаков обычно стояла молодежь, так же, как и во главе борющихся с восстанием частей Красной Армии. Такая черновая, напряженная работа, как агитация, формирование из сброда полков, поддержание в них примитивного порядка совершенно новыми методами, ведение мелких операций по правилам, какие бог на душу положит, — разве годились на это старые служаки, люди трафарета и устава, командиры установленного образца, безразлично, будь они на стороне белых или красных? Такой сорт деятельности под силу только чуждой всяких традиций и буквоедства безудержной молодежи.

В Крыму, где Врангель хотел создать образцовую армию и заставить всех ее чинов, высших и низших, ходить по букве закона и беспрекословно исполнять его приказы, такой пунктуалист, как Абрамов, был просто находкой для замены строптивного феодала Сидорина. Дей-

ствительно, за весь крымский период и за все время существования донских частей за границей ген. Абрамов ни разу не вышел, даже в пустыке, из воли Врангеля.

Это верноподданничество, однако, главком не всегда оценивал должным образом. Так, орден св. Николая Чудотворца ген. Абрамов получил позже всех других командиров корпусов, хотя в этом скорее надо видеть результат некоторого пренебрежения Врангеля к донцам, а не к их командиру.

Тридцатипятилетнего генерала А. В. Говорова, заменившего старика Кельчевского, так расписывала сатира Бор. Жирова*:

Вот и Говоров — злой гений,
Вождь новейших поколений:
Он у нас начальник штаба,
За него же правит баба.

Попович по происхождению, не казак, этот типичный генштабист-карьерист обладал колоссальнейшим самомнением, в служебных отношениях напускал на себя величие сановника, а в частной жизни корчил природного барина, любя, в противоположность убежденному аскету Абрамову, комфорт. Иногда в Евпатории приходилось наблюдать, как комкор пешком тащился по улице, а его обгонял величественный начальник его штаба в прекрасном экипаже, с разнаряженной в пух и прах супругой, которую штабные зубоскалы звали «картинкой» за ее любовь к краскам. Человек не совсем строгих моральных правил, ген. Говоров не прочь был попользоваться и казенным добром, но умеренно и умно. Мало уважая закон, как и всякий генерал, он старался не нарушать его открыто, как это делали прежние феодалы, а деликатно обходил его.

Подле Говорова сейчас же свила гнездо «лавочка», но не сидоринского, а более мелкого масштаба. Там были люди образованные и с широким размахом, смелые и талантливые. Теперешнюю же «лавочку» составили ничтожные, малограмотные «хорунки»**, большей частью хозяйственные крысы. Если под прикрытием Сидорина царила спекуляция, то говоровская «лавочка» занималась мел-

* Б о р. М и х. Ж и р о в — донской полковник, который изложил в стихотворной сатире всю крысиную эпоху, период эвакуации в Турцию и жизнь в лагерях за границей.

** Х о р у н о к — хорунжий, первый офицерский чин у казака.

кими плутнями, не отваживаясь по своему ничтожеству на большие.

Первым актом административной деятельности нового начальника штаба было устройство своего родного брата на должность корпусного врача с производством сразу в три гражданских чина. Затем — забота об обеспечении экипажей своей супруги.

Однако, при своих барских замашках, Говоров был человек трезвый, и таких же подбирал подчиненных. Допской штаб, по сравнению с прежним разгульным, превратился почти в монастырь, по крайней мере на первых порах в Евпатории.

Эти два человека, Абрамов и Говоров, лишённые своего «я» и сделавшиеся просто передаточной инстанцией между штабом Врангеля и казаками, отныне стали руководить допским корпусом, который в сущности теперь и составлял все «Всевеликое Войско Донское». Атаман Богаевский в Крыму ступешался. Хотя он титуловал себя «командующим допской армией» и писал даже приказы «по армии», по все это были не более как милые забавы безработного атамана, скучавшего в Севастополе. Прежнее самостоятельное государственное образование, Войско Донское, теперь превратилось в один корпус, покорное Врангелю пушечное мясо.

Около Троицы⁷³ заговорили о наступлении.

Еще в апреле Врангель отправил небольшой десантный отряд в Хорлы (близ устья Днепра), но красные своевременно обнаружили высадку и так нажали, что только половина отряда благополучно вернулась на суда, прочие же погибли. Эту неудачу скрыли от войск, чтобы не наводить паники. Скорейшее наступление вызывалось необходимостью. Крошечный полуостров быстро истощался войсками, которые, как саранча, стремительно поедали все, что годилось для желудка. Цены росли неизменно. В день нашего прибытия в Евпаторию, 17 марта, обед стоил в столовой 35—50 руб. Теперь, через два месяца, сколько-нибудь сносно пообедать не удавалось и за тысячу. Об ужине не приходилось думать, так как жалованья едва хватало на обед.

Казаки рвались из Евпатории, наскучив сидеть у чуждой им стихии — моря. Особенно мучились калмыки.

— Фу, матер-чорт, — роптали они, — была земля, теперь осталась одна вода, и ту пить нельзя, — соленая.

— А воевать пойдете?

— Воевать? Мой будет воевать... Большак украл мой бог, бакша* сказывал. Воевать надо. Большак пас не любит.

— Что же вы сделали худого большакам?

— Наш здорово большака бил. Поймаем,— а, матерчорт, ты земли хотел, на тебе землю... Земли в рот набивали... большак задыхался.

Эти покорно шли, куда указывало начальство. Миротлюбивый, но темный калмыцкий народ, привыкший жить по старинке и слушаться своих старейшин, увлекли в кровавую авантюру дешевые демократы вроде Бадмы Улапова, члена донского войскового круга, или Тундудова, калмыцкого аристократа, выросшего при царском дворе. Одно время в 1918 г. Тундудов сформировал даже «Астраханскую армию»⁷⁴ на немецкие деньги и поднял калмыков на священную войну с большевиками. В результате княжеской авантюры — великое переселение на Кубань и гибель множества этих полукочевников на черноморском побережье.

— Тундуд твою мать! — часто срывалось у калмыков под горячую руку.

Уцелевшие от разгрома калмыки не видели другого исхода, как война. Мириться не позволял Врангель.

Казак, обогревшись весной, тоже жаждал бранной потехи.

— Чего тут у моря париться... Уж если не замирились, так в поход... Будь, что будет.

— Но ведь в нашем корпусе нет ни лошадей, ни пушек, ни оружия!

— Вывезет кривая, у неприятеля разживемся. Нет — так сложим кости. Делать нечего.

Это «печего делать» определяло тогдашнее направление казацкой воли.

В Севастополе донцам не доверяли, переоценивая значение сидоринской истории. При выработке наступательного плана им опасались дать сразу же боевую задачу. Донской корпус решили сначала держать в резерве, на испытании.

— Мы боялись назначить вам участок при выходе из-за Сивашей,— слышал я впоследствии от чипов врангелевского штаба.— Думали, что как соприкоснетесь вы с красными,— поминай, как звали, обнажите фронт. Не верили в стойкость донцов.

* Калмыцкий архиерей.

Таким образом, покинув после Троицы Евпаторийский уезд, мы заняли срединное положение между двумя выходами из Крыма, Перекопским перешейком на западе и вдающимся в Сиваш Чонгарским полуостровом на востоке. По этому полуострову проходит железная дорога.

На Перекопе прорыв возлагался на «цветные войска» Кутенова; со стороны Чонгарского полуострова, вдоль железнодорожного полотна, должен был наступать ген. Писарев с остатками серьезного сопротивления: неприятель, обойденный Слащевым, все равно вынуждался к спешному отступлению с этого участка. Лишенные активной роли, донцы были поставлены в таком месте, чтобы в случае нужды могли легко двинуться на помощь и Кутенову и Писареву.

Вырвавшись из обедненного евпаторийского уезда, казаки ожили, опять очутившись на подножном корму среди зеленеющих полей, столь приятных их сердцу. Калмыки, служившие в конвое Абрамова, на целые дни забирались в волнистую мураву и, усевшись по-восточному, мурлыкали свои меланхолические песенки. Штаб расположился в небольшой деревне Богемке, населенной чехами-колонистами. Здешний район пока еще изобиловал всякими снедами, и мы, изголодавшись у моря, яростно набросились на молоко, масло, творог и яйца.

Странное у нас царило настроение. О политике почти не говорили. Будущее просто замалчивали. «На уру идем, но другого исхода нет: попали в тупик», — было на уме у каждого про настоящее. В конечную, будущую победу, разумеется, не верили. Но о том, что теперь уже не прежняя, настоящая война с большевиками, а безнадежная авантюра, — вслух не решались говорить. Не потому, что боялись кары, — на этот счет опасаться не приходилось, так как в казачьем корпусе господствовала свобода болтовни, а просто из самолюбия, чтобы не показаться пессимистом и не прослыть трусом. В интимных же беседах, конечно, менее стеснялись.

Глава административной части штаба нашего корпуса, так называемого «дежурства», ген.-майор Н. И. Тарарин, с которым мне часто приходилось вместе ездить на доклады к Абрамову, не верил в успех врангелевского дела, как в самом начале, так и в период наибольших успехов крымской армии, и не скрывал этого своего убеждения от меня. Я соглашался с ним уже по одному тому, что видел невозможность какой-нибудь творческой работы в белом

стане, где даже такие, как Тарарин, занимали высшие места. Безвольный, робкий, чуждый всякой инициативы, то, что называется «шляпа». Просто не верилось, что этот человек три месяца тому назад командовал дивизией. Бездна суеты и никакой распорядительности; безукоризненная честность и ни на грош здравого смысла. Во врангелевский период существовала тенденция изгонять из армии людей порочных. Но они уносили вместе с пороками и смелость, энергию, самостоятельность. На смену им приходили трусы, чипуши, фельдфебеля.

Впоследствии, в эмиграции, ген. Тарарин оказался недурным столяром и зарабатывал себе этим ремеслом пропитание. В Крыму же никто не догадывался об этом генеральском таланте, так как он в течение всего похода если не подписывал бумаги, то запоем дулся в винт и преферанс. Благодаря его беспечности весь штаб чуть не погиб несколько раз.

Едва только донской корпус скрючился с места, как посыпалось множество жалоб на самовольные реквизиции и бесчинства. Уходя со своих квартир в евпаторийском уезде, казацки части чисто грабительским путем приобрели себе кой-какой обоз, без которого, впрочем, все равно были немислимы операции. Кроме этого, они позабирали много домашней утвари, — котлов, чашек, топоров и т. д. Отчасти к этому вынуждала необходимость. Разбираясь в куче этих жалоб, я с грустью думал, что и здесь, где чехи так радушно принимали нас, повторится то же самое, что вдогонку нам понесутся проклятия обобранного населения.

В Богемке реформированная Врангелем контрразведка приступила к работе. Но ее первые дебюты были неудачны. Так, она установила, что в районе донского корпуса появился большевистский агитатор, который ездит в черной карете и разбрасывает прокламации. Наконец, штаб получил известие, что черная карета задержана, агитатор пойман. Так как я, по старой памяти, мало доверял этому органу политического розыска, да и ген. Абрамов предпочитал контрразведчикам юристов, то для допроса задержанного был командирован мой офицер для поручений поручик Брусенцев.

— Произвел! — доложил он мне через полчаса.

— Что так скоро? Что выяснилось?

— Выяснилось, что наши контрразведчики дураки. Агитатор, может быть, и разъезжал, да не тот, кого они

задержали. В карете оказался старший врач одного из полков. Предъявил все документы. Помилуйте, говорит, какие у меня прокламации? Я ездил в Симферополь за медикаментами. Касторки у меня, пилюль всяких, — сколько угодно, а насчет прокламаций увольте.

Другой раз в одном из селений на берегу Сиваша арестовали приходского священника. Батя довольно шумно справлял свои именины. В заключение пирующие пустили несколько ракет.

— Сигнализация неприятелю беспрерывно... Большевицкий шпион в рясе...

При обыске нашли две ручных бомбы.

Насилу попик выкрутился. Бомбы и другие военные припасы оказались чуть не в каждом доме на берегах Сиваша. И белые, и красные, отступая, бросали их где попало.

О готовящемся наступлении, конечно, военные догадывались, но никто не знал, когда оно начнется.

25 мая со стороны Перекопа доносилась усиленная артиллерийская стрельба. Штабная братия вопросительно поглядывала друг на друга.

— Что это, наши нападают или нас жмут?

На следующий день было приказано грузиться на поезд. Через Богемку проходила железная дорога от Джанкоя в сторону Перекопа.

— Не знаете? — сообщил мне комендантский адъютант, принесший распоряжение о погрузке. — Красные разбиты под Перекопом. Наши прорвали их фронт. Выход из бутылки, кажется, обеспечен.

— Ну, а обратный вход в бутылку?

— Пока что будем жить этим.

Никто в штабе не ликовал. Царило опасение, как бы наш минутный успех не кончился немедленным окружением и разгромом нашей крошечной армии на широких полях Северной Таврии.

Но так или иначе крымский период гражданской войны начался. Врангель ринулся добывать себе славу, французам — царские долги. Тифозные, вшивые, оборванные солдаты, не зная выхода из туника, с мужеством отчаяния ударили на врага.

В иностранных газетах с этого дня появилась рубрика, озаглавленная, в переводе на русский язык: «Авантюра генерала Врангеля».

Х. Выход из бутылки

Слабые красные части, сторожившие крымскую армию у Перекопа, не выдержали натиска «цветных войск» и спешно начали отходить на север. Удаче прорыва содействовали больше всего танки. Под их прикрытием пехота уже смело бросалась в атаку красноармейских окопов.

В то же самое время, как Кутенов имел успех на Перекопском перешейке, ген. Слащев, высадившись со своим корпусом у дер. Кирилловки, повел наступление на Мелитополь, а ген. Писарев двинулся со шкуринцами через Чонгарский полуостров к узкому выходу из Крыма в восточной части Сиваша. Опасаясь окружения, Красная Армия повсеместно отступила.

Наш Донской корпус вышел из бутылки позже других.

Опасения штаба Главнокомандующего не подтвердились. Казаки, как только почуяли боевой огонь, сейчас же воспрянули духом.

— Станция? Подай следующую! — орала «Гундора»* ген. Гусельщикова на ст. Таганаш, перед самым Чонгарским полуостровом.

Это был лихорадочный порыв зверя, которого заключили в клетку.

Наш поезд медленно продвигался к северу. В штабе не особенно хорошо знали положение на фронте. Хотя по инерции и из любопытства каждому хотелось вперед и вперед, но настроение по-прежнему царило скорее боязливое, нежели воинственное. Все видели, что идем на Советскую Россию ни с чем, с голыми руками, даже без веры в чудо.

Ген. Абрамов не принадлежал к числу начальников, способных ободрить или хоть осчастливить своих подчиненных каким-нибудь собеседованием. Целые дни сидел в своем отделении (мы ехали в простом вагоне III класса) с начальником штаба и никогда не появлялся из-за дверей даже к нам, высшим должностным лицам.

— Что он у вас за такая бука? — спросил я ген. Тарарина, природного казака и потому хорошо знавшего старое донское офицерство.

— Так уж он воспитан. Вы никогда ничего не слышали про его отца?

* Казаки Гундоровского полка, первоначально составленного казаками станицы того же имени. Этот полк наиболее отличился в гражданскую войну.

— Не приходилось.

— Это была презанимательная личность. Простой, небогатый казак, он ухитрился дослужиться до генеральства. Будучи бригадным командиром, он во время маневров однажды взял в плен самого министра Ванновского и заставил у себя обедать. Потом он пошел по администрации, был окружным атаманом Донецкого округа. Тут он хозяйничал, как некогда в своей сотне. Баб, девок, старух, — всех считал своими подчиненными. — «Ишь ты, окаянная, — кричал он иногда молодой казачке, — как рожу-то свою наштукатурила, а хата небось не выбелена. Вот я тебе покажу. Чтобы, как поеду назад, хата блестела как снег, на то я тебе... видишь?» Тут нагайка взвизгивала в воздухе и хлестко шлепалась о генеральский сапог. Строг был, все перед ним дрожали. Когда его собственные дети приезжали к нему из кадетского корпуса в отпуск, он заставлял их являться к нему с форменным рапортом: «Ваше превосходительство! кадет такой-то в отпуск прибыл». Папаша сурово осматривал сынков, и горе, если находил пуговицы недостаточно насветленными или ремень плохо подтянутым. Сейчас под арест. Где уж тут не сделаться букой, привыкнув и отца родного бояться.

— Да, — продолжал Тарарин после паузы, — это был служака старого закала. Он не особенно ценил образование и считал его губительным для казака. Однажды он представлялся государю, который поинтересовался, велика ли у него семья и по какой дороге пошли дети. — «Один-то вот ничего, — ответил старик, — в строю служит, старший же отбился от рук, погибший человек, изменил казачеству». — «Что же с ним такое?» — «Пошел в генеральную академию, есть там такая. Для казака она, по моему глупому уму, гибель». Только напрасно старик беспокоился. Яблоко от яблони недалеко упало, хотя и впитало в себя сладкий сок образования.

Наш поезд между тем тащился по безжизненному Чонгарскому полуострову, который врезался в Сиваш и запирал его с востока.

То и дело по сторонам полотна виднелись воронки, зловещие следы недавнего боя. Даже среди мелкого Сиваша, перерезанного насыпями для добывания соли, можно было заметить множество углублений среди илистого дна.

Наконец мы перебрались по Чонгарскому мосту в Северную Таврию и остановились у станции Сальково. В течение зимы здесь был самый боевой участок. Тут и

оконы, и ряды проволочных заграждений, защищавших восточное устье Крыма. Здешняя солончаковая почва плохо родила траву, вместо которой поверхность земли покрывал стальной щебень. Тысячи снарядов разорвались на этом участке, но тысячи упали в целом виде и теперь валялись безжизненные, как трупы, но далеко не безопасные. Кое-где у моря торчали жалкие крохи рыбачьих лагуч, разрушенных огненным дождем.

— Вот видишь, — обратился я к своему офицеру Брусенцеву, страшному скептику, — мы уже не в Крыму, а в Северной Таврии.

— Вижу и думаю, будут ли нам готовы пароходы в Крымских портах, когда лавиной покатымся назад.

— Однако ведь несомненная победа.

— Да, победа всей нашей армии над большевистским наблюдательным корпусом.

28 мая мы прибыли в Ново-Алексеевку.

Эта станция тоже сильно пострадала от бомбардировки, но здесь кругом уже зеленое степное приволье. Вдали чернеют силуэты громадных сел и колосятся пивы.

Возле самой станции находился плодовый питомник таврического земства. Его окружали целые стены сирени и роз. Под кустами блистали осколки снарядов. Мощная южная растительность спешила закрыть их листвой. В одном месте василек вырос в шрапнельном стакане.

Жизнь побеждала смерть.

— Вот вам прообраз нашей борьбы за святое дело, — заметил наш корпусной священник о. Андроник, при виде василька, избравшего своей квартирой такой страшный предмет. — Красные — это олицетворение смерти, мы несем с собой жизнь. Не успели прийти, как все кругом оживает, все ликует, все радуется. Даже сама природа. День-то какой!

Увы! Кругом нас мало кто радовался. О. Андроник или заблуждался, или лицемерил.

«Наше наступление развивается, — припоминаю крикливые афиши в Джанкое. — Население встречает наши войска со слезами радости, засыпает цветами, выносит хлеб и соль. Все торжествуют избавление от красного гнета и уверяют, что везде к северу уже созрела почва для всеобщего восстания, которое сейчас же вспыхнет, чуть только приблизится наша армия».

— К вам хохлы, — докладывает комендантский казак.

— Уж не с цветами ли?

— Нет, с жалобами.

Группа серых, невыразительных лиц. В руках не цветы, а клочки исписанной бумаги.

— В чем дело, господа?

Господа мнутя. Их смущают мои красные лампасы.

— Вот этот, к кому вам надо, прокурор,— объясняет казак.

Из группы выделяется черная рубаха.

— Время, ваше высокоблагородие, скоро пшеницу косить надо...

— А тут ваши казаки лошадей отняли. У кого одна была, одну взяли, у кого две, обеих увели. Ведь этак мы хлеба не соберем, и вам будет голодно. Как воевать станете?

— Из какого села?

— Рождественского.

— Какой полк отбирал лошадей?

— Не знаем... Командир ихний такой молодой и сурьезный... еще без руки будут.

— Гриша Чапчиков, это его работа,— мелькает в голове.

Я только что назначен начальником военно-судебной части Донского корпуса, на правах представителя Главного Военного Прокурора Юга России, и одной из главнейших моих обязанностей является надзор за деятельностью только что учрежденных военно-судебных комиссий.

Отвожу жалобщиков в штабную комиссию, вчера прибывшую из тыла. Она еще не организовалась. Ненавистному учреждению отвели товарный вагон, который осаждают целая толпа. У всех в руках удостоверения от сельских властей о том, что они отправляются в прифронтовую полосу для розыска своих лошадей, захваченных войсками.

Где цветы, где радость избавления от большевистского гнета, где необычайный энтузиазм сермяжных патриотов?

Старики терпеливо жмутся у заветного вагона, где записывают заявления. Более молодые что-то не весьма дружелюбно поглядывают на нас.

— Отнято столько лошадей, что донцы теперь уже опять конница. За один день укомплектовались конским составом! — замечает секретарь комиссии М. Б. Лонский.

Это оказалось правдой.

— Какие мы пехотинцы? Мы — природные конники, — рассуждали донцы. — Если хотят, чтоб мы воевали, так давай коней.

На глазах неприятеля происходило это изумительное обращение донцов из пехоты в кавалерию. Особенно азартничали бывшие мамонтовцы. Силой отворялись сараи, силой выпрягались лошади у пахаря в поле. Крестьяне не знали, что делать, терпеть обиду или ударить в набат и броситься с голыми руками на защиту своей «худобы».

— Последняя лошадь, и ту берете! — кричит, сверкая глазами, староста безрукому Чапчикову.

— А я вот последнюю руку отдаю родине, — отвечает вояка.

У крестьян нет седел.

— Тащи, братва, подушки. У нас все пойдет.

Устраиваются своеобразные пуховые седла.

Шашки можно отнять у неприятеля, но пока нет шашек.

— Режь, войско, жгуты... вон веревка.

— Мовет соответствовать.

Когда неприятель бежит, его можно гнать и с обрывком веревки.

Так вооружался и снаряжался донской корпус.

Усевшись на коней и почувствовав себя в родной стихии, донцы ринулись в бой, оглашая степь боевым призывом.

А в деревнях раздавался плач и неслись проклятья вдогонку непрощеным освободителям.

Не прошло и недели с начала наступления, как ходоки из деревень «завоеванной» Северной Таврии запрудили все учреждения Крыма с жалобами на самочинные реквизиции лошадей, упряжи и «тачанок» (телег), а иногда и на грабежи. Порочные элементы под шумок не брезгали и реквизицией ценностей.

Из нашего поезда тоже началось паломничество в ближайшие деревни. Кто из офицеров шел сам, кто посылал вестовых за покупкой продуктов.

— Ой, боюсь я такой дешевой покупки, как бы не попасть к вам в комиссию, — сказал мне однажды брат командира корпуса, полк. П. Ф. Абрамов, старший адъютант по хозяйственной части.

— А что?

— Мой Хорошилов опять принес без денег яиц и масла.

Говорит: подарили. Брешет, подлец; наверно, «благодарность от мирного населения».

Производим тут же дознание. Вихрастый паренё, со вздутой щекой, клянется и божится, что сами крестьяне дали. Пришлось поверить, предположив, что перенуганный народ хотел задобрить завоевателей.

30 мая мы едва не попали в плен к красным.

К этому времени Слащев уже занял Мелитополь и шел по направлению к днепровским плавням, куда двигался и корпус Кутепова. А в тылу у них преспокойно блуждала красная дивизия Блинова⁷⁵. В ночь на 30-е она попала и порубила артиллерию и некоторые тыловые части корпуса Писарева, а днем направилась на Ново-Алексеевку, где ее менее всего ждали.

В этот день, около полудня, я блуждал по разбитой снарядами станции в поисках съестного. При сидении в вагонах этот вопрос имел большое значение. Наконец жена одного железнодорожника вынесла мне тарелку куриного супу. Я с жадностью начал прикарачивать его, усевшись на скамейку. Женщина услаждала меня разговором.

— Господи боже... За эти пять дней мы ожили, перевели дух, не слышим этого окаянного пушечного гула. Всю зиму и весну под страхом жили. Смотрите, все у нас разнесено снарядами, нет ни одной целой хаты. Все больше по подвалам сидели вместе с свиньями. Как начнут ваши посылать нам шестидюймовые гостинцы, так и бежишь в подвал, что есть силы. Теперь отошли... Ай, что же это такое?

Ряд гулких орудийных выстрелов прервал поток бабьего красноречия. Безмолвная степь застонала.

— Что тут опять дается? Никак, тут опять бой будет? — заголосила баба.— Дашка, загоняй петухов, разбегутся.

В хатах послышался рев. На станции засуетились. Облака пыли задымились вдаль, к северу от Ново-Алексеевки. Как бешеные, летели оттуда обозы.

— Что, в чем дело? — обратился я, прикончив и суп и курченка, к краснощекому поручику, который лежал в проезжавшей мимо меня телеге.

— Драпаем... Наступает красная конница... Она уже несколько дней блуждает в тылу нашей армии... Ой, много порубила народу, — отвечал мне поручик женским голосом, засовывая пряди волос под фуражку.

Присмотревшись поближе, я заметил из-под накинутой на плечи офицерской шинели ситцевую кофточку.

Тут мне вспомнился строжайший приказ Врангеля не брать с собою в поход жен, ни настоящих, ни «походных», и сразу стала ясна цель этого маскарада.

Нападении красных отбили донцы и кубанцы. Конница Блинова скрылась неизвестно куда.

На следующее утро меня растолкал поручик Брусенцев.

— Вставай... надо драпать.

— Что опять такое?

— То же, что вчера и что будет до тех пор, пока нас совсем не уничтожат. Одевайся... А впрочем так, пожалуй, лучше: легче будет улепетывать.

В вагоне тишина, хотя все уже одеты и с напряженным вниманием смотрят в окна, обращенные на запад. Издали доносится неясный гул. Это разговаривают орудия блиновской конницы, обстреливая нашу станцию.

Поезд медленно потянулся на юг. От движения распахнулась дверь в отделение комкора. Ген. Абрамов, в высоких сапогах, во френче, перетянутом ремнем, наблюдал в бинокль за движением неприятеля.

— Пли! — скомандовал он, когда мы проезжали мимо бронепоезда, кажется, по имени «Волк».

Орудие Канэ ответило на эту команду таким треском, что у нас в вагоне не осталось ни одного целого стекла.

Мы отступили обратно к Салькову.

— Неужели уже крах? — мелькало у некоторых в голове.

На первых порах никто не знал, что это за новое нападение и какова обстановка на фронте.

— Пошли завоевывать Россию, — иронизировал мой безнадежный пессимист Брусенцев, — а сами только отошли 4 версты от Крыма, как едва не попали в плен. Можно ли, — обратился он к о. Андронику, — завоевать при таких условиях всю Россию?

— Невозможно у человека, возможно у бога, — не без лукавства ответил батюшка, который за несколько часов нашей стоянки в Сальково уже не одному штабному офицеру высказал, что в Евпатории он не успел обревизовать все госпитальные церкви и настоятельно надо бы съездить туда.

Однако после обеда наш поезд вернулся в Ново-Алексеевку.

Красная конница не дошла до станции и повернула к северу. Ее преследовали казаки.

Под вечер привезли раненых. Вокзал обратили в перевязочный пункт. Затем появились возы с убитыми, которые лежали, как дрова, на телегах. Ужасные сабельные раны обезображивали почерневшие лица.

— Ай, ай, смотрите, какие ранения, непременно перед смертью мучили, — воскликнула штабная сестра милосердия Лидия Тетервятникова.

Не требовалось быть даже простым санитаром, чтобы признать обыкновенными сабельными ударами те зияющие раны, в которых женская фантазия видит результаты пыток. Однако на войне такие восклицания порождают слух, который досужие люди обращают в факт. Творится легенда о зверствах противника.

Убитых сложили на землю возле питомника. О. Андроник облачился в ризу и начал панихиду. Но едва он и его дьячки затянули жалобные стихиры, как веселый марш огласил и станцию, и весь затихший поселок при ней. В поезде ген. Бабиева⁷⁶, вождя шкуринцев, шла веселая пирушка, как раз в то время, как о. Андроник начал отпевать его убитых подчиненных.

— На-а-дгро-бное рыда-ание творяще песнь... — выводило духовенство.

А у нас есть бани,
Бани Орбельяни, —

заливались пьяные голоса, хлопая в ладоши, в такт оркестру, который вдруг, после марша, грянул разухабистую апханаурскую лезгинку.

Его превосходительство был большой весельчак и сам мастерски танцевал этот кавказский танец. О религиозной церемонии, которой почтил о. Андроник его сраженных воинов, ему не пришлось и в голову.

— Мы боремся за оскорбленные большевиками святыни, — невольно припомнились мне слова врангелевской декларации.

Этого Бабиева я знал понаслышке еще в мировую войну. Он служил, как и я, на кавказском фронте и отличался беззаветной удалью, порою вредной для дела.

— Добропроклятый Бабий, — отзывались о нем кубанские казаки, цепя в нем личную отвагу и возмущаясь его безрассудством, с которым этот горячий осетин бросался в конную атаку горных позиций и губил без надобности народ.

Теперь он командовал наследием Андрея Шкуро, которого еще никак не могли забыть его партизаны.

— А где ваш вождь? — спросил я одного кубанца, глаза в сумерки вместе с толпой казаков на спуск «колбасы»⁷⁷, которая пронутешествовала с нами в Сальково, а теперь почью была не пужна.

— Андрей Григорьевич скоро сюда прибудет.. Вот-вот, на днях его ожидаем.

— Но ведь главнокомандующий уволил его в отставку.

— Это не верно. Как же можно забраковывать такого полководца! Непременно Андрей Григорьевич вернется.

— Очевидно, это штабной информатор, — заметил мне Брусенцев, кивая головой на моего собеседника. — Помнишь, у Лермонтова в «Измаил-Бее»: «О нем скучают шайки удалые». Как могут шкуринцы забыть своего бога, который посылал им такой обильный урожай военной добычи! Врангель прогнал Шкуро, но его партизан обманывают, что вот-вот он явится. Иначе, без надежды на грабеж, у них иссякает любовь к родине.

Возможно, что мой пессимист не ошибался. Врангель на первых порах не мог знать, пойдут ли в бой шкуринцы без Шкуро. Приходилось, по необходимости, обольщать их надеждами на возвращение их «батьки-командира».

«Колбасу», с которой производили наблюдения днем, на ночь убрали за ненадобностью. Однако опасность еще не совсем миновала. Конница Блинова могла выплыть в любом месте.

Комендантскую сотню штаба на ночь рассыпали в цепь вокруг стапции. Выслали вперед дозоры.

— Вы бы, батюшка, ложились, — обратился я уже поздно ночью к о. Андронику, видя, что он ходит по вагону, скрестив руки на груди.

— Что-то не спится... Я ведь никому не мешаю.

За ночь он не сомкнул глаз.

— Я все время молился, — объяснял он утром причину своей бессонницы. — И вот видите, нападения не случилось... Отмолил господу, и ночь прошла спокойно.

О. Андроник Федоров фигура, достойная внимания. Ходячая сатира так описывала донского «корпона», корпунного попа, как его называли за глаза решительно все:

Был он попик самый истый,
Обладавший рисою чистой;
Почитатель был постов,
Так что весил шесть лудов.

Крест на ленте кавалерской
Он имел за подвиг дерзкий
И поэтому любил
На войне стремиться в тыл.

Последний признак — стремление в тыл в виду опасности,— был самым характерным для «корпопа». О. Андроник, как пароходная крыса, всегда предчувствовал аварию на фронте и заблаговременно уезжал в тыл. На этот счет он, действительно, обладал даром предвидения. Потом у нас составила даже поговорка:

— Корпоп в Евпатории, быть скверной истории.

В Новой Алексеевке он только поговорил о поездке, но не уехал. Дела, значит, на фронте лучше.

Действительно, вскоре пришло велеречивое известие о том, что наделавшая столько беды блиновская конница уничтожена. Так ли это, или лихим конникам удалось прорваться,— непосвященные в тайны официальных сводок точно не знали. Во всяком случае этот летучий враг нас больше не беспокоил.

Мы медленно, но верно продолжали двигаться дальше, делая примерно один перегон в сутки. На станциях кое-где еще висели старые воззвания красных властей об очередной измене батьки Махно, который осенью 1919 года раздвоил армию Деникина, чем помог большевикам, а потом стал резать и красных. Где находился фронт этого нынешнего нашего союзника,— для всех оставалось загадкой. Осважные газеты заставляли его брать то Полтаву, то Воронеж.

Посещая окрестные поселки, я обратил внимание на то, что стекла в рамах заклеены узенькими бумажками крест-накрест, так что напоминали почтовые конверты.

— Это для чего?

— Приспособились... Сколько времени ведь идет война... Чтобы стекла не лопались от оружейного гула. Когда они заклеены, меньше дрожат.

Меня очень интересовали отзывы населения о красных. На станциях мне приходилось беседовать преимущественно с семьями железнодорожников. Тут я нередко слышал отборную брань.

— Чтоб им сто болячек в спину... Дай им господи весело жить, да скоро сдыхать.

Но в громадной деревне Акимовке, в 20 верстах от Мелитополя, я почти целый день толкался среди крестьян,

и если кто бранил большевиков, то осторожно, и явно стараясь угодить мне.

— Да, конечно... Мы, говорят эти коммунисты, будем писать, а ты сноп вязать. Знамо дело, хозяйничать любят.

— Что ж, они вас обижали?

— Всего бывало. Вот дьякон с одним даже подрался в кооперативе. Тот скажи дьякону: «Мы вас, попов, в мешок да в узелок завяжем». А дьякон за ним, да ну его мотоузить.

— Ну, и как все кончилось?

— Ничего, побил коммуниста.

— Сидел?

— Нет, не сидел. Ведь какая тут политика! Так, про-
меж себя дело вышло.

Желание отвернуться от прямых ответов сквозит всюду.

Порой я замечал и крайне неприязненные взгляды. И уж во всяком случае никто не подносил мне цветов и ничего не предлагал бесплатно.

Вечером 4 июня наш поезд прибыл, наконец, в Мелитополь, город, известный своими замечательными черешнями. Как раз настал сезон этой ягоды.

Штаб расположился в пригородном селе Кизияре, недалеко от вокзала. Улицы были изрыты окопами, купол церкви сбит снарядом.

Мне отвели комнату в квартире железнодорожного машиниста. В семье происходила драма. Муж зимой отступил с белыми в Крым, а теперь вернулся домой и узнал от соседей, что жена не только изменяла ему, но даже растранижила кой-какое имущество со своим другом. Теперь он терзал ее за оскорбление святости семейного очага, а еще более за кожу и мануфактуру. Словесная перепалка длилась у них с утра до вечера.

— Ты большевичка, — испуленно кричал он порою во дворе, под самым моим окном, явно стараясь, чтобы я слышал. — Вон все соседи говорят, что твой зазнаба служил комиссарским помощником. В следственную бы комиссию их обоих надо, красную сволочь.

Провокация, к изумлению оскорбленного супруга, не удалась.

— Ну, и дела! Что это пошли за офицеры! Кричу, кричу, что тут враги отечества, а они и в ус себе не дуют. Видно, выродились белые, — без сомнения думал этот мстительный ревнивец.

XI. Чуть не крах

К 5 июня почти вся северная часть Таврической губернии (Северная Таврия) была очищена от частей Красной Армии, на которых обрушилось все войско Врангеля.

То, что для последнего составляло крупную победу, головокружительный успех, для Красной армии являлось мало значащим эпизодом, временным отходом назад ввиду напора неприятеля в одном пункте и отсутствия достаточных резервов для противодействия ему.

Занятое пространство увеличивало территорию врангелевского государства вдвое, а для Советской России утрата его ровно ничего не значила. Когда услужливая пресса видела в этом успехе чуть ли не залог освобождения всего государства от большевиков, здравомыслящие люди поглядывали на карту России и, сравнивая едва белевший в Черном море куцый хвостик суши с необозримыми пространствами остальных губерний, уныло опускали головы.

После первой же удачи само главное командование встало в тупик, что же дальше делать? Для ударной задачи в пределах Днепр — Азовское море войска хватило, но как развивать дальнейшее наступление на необъятную Россию с двадцатипяти тысячной армией? Приходилось выяснять, пойдет ли за нами крестьянство, а для этого надо было списать его расположение, показав ему свой товар лицом.

Войскам дали отдых.

Донской корпус занял восточную окраину новопробретенного пространства, немного западнее железной дороги Бердянск — Черниговка. С севера к донцам примыкала Корниловская дивизия.

Наш штаб из Мелитополя перекочевал в дер. Ново-Васильевку, в центр молоканских поселений.

В Мелитополе оставили кой-какую память по себе. Комендантом города на первых порах по изгнании красных был назначен командир пешей комендантской сотни нашего штаба разухабистый войск. старш. Володя Беляев. Чтобы обставить свое управление, он реквизировал мебель у одного врача. Когда же мы покинули Мелитополь, эта мебель тоже поехала с нами, в качестве первой добычи комендантской сотни. Обиженный врач пожаловался, и возникло судебное дело.

Ново-Васильевские сектанты нас приняли очень лю-

безно. Здесь, на плодороднейшем черноземе, действительно, текли молочные реки среди кисельных берегов. Разрушительная стихия гражданской войны оказалась бессильной истощить этот благодатный край.

Нас тут хозяева закармливали всякими снедами,— вовсе не потому, что мы боролись за «оскорбленные святыни» и за «будущего хозяина земли русской», а из-за обилия плодов земных и в силу своего природного добродушия. То же гостеприимство до нас оказывалось красным.

В этом сектантском царстве, среди благоухающих садов и золотых пажитей, среди елейно-незлобивого населения, становилось не по себе нам, которые принесли в этот мирный, идиллический уголок лязг оружия, пушечный гром, ужасы брани. Где-то, верстах в 50 к северу от нас, две рати русских людей стояли друг против друга. Там тоже зеленели сады и желтели те же нивы. И тот же мирный люд ломал голову и понять не мог, ради чего люди в погонах выползли из-за Сиваша и начали драку. Рассказывали, что в одном прифронтовом пункте крестьянин пахал длинную полосу, на одном конце которой была позиция белых, на другом красных. Он подъезжал со своим плугом то к одним, то к другим, и мирно беседовал попеременно с обоими врагами.

Гражданская война становилась полной нелепостью.

Крестьянство, на которое Врангель делал ставку, не хотело воевать, не понимало целей войны и своим безмолвием бросало нам упрек за то, что мы снова вносили в Россию пламя междоусобной распри. Если в глубоком тылу, где-нибудь в Севастополе, еще могли обольщать себя надеждами на крестьянское движение, то мы-то, которые жили в новозавоеванных деревнях по мужицким хатам, отлично понимали народное желание.

В Севастополе тыловые герои, рясофорные вояки, армия спекулянтов и туча безработных политических деятелей правого толка в это время, действительно, жили в эмпиреях, опьяненные успехом врангелевского оружия. От безделья они строили воздушные замки, мечтали о поголовном присоединении крестьянства к крымской армии и о грядущем обращении Советской России с помощью «нашего доброго русского мужичка» вновь в арену для своей деятельности.

Вдруг, среди упоения победой, отовсюду из деревень начал доноситься душераздирающий вопль тех, кого хотели облагодетельствовать, чтобы потом облагодетельство-

ваться на их счет. На полуострове и в Северной Таврии, в главной базе и в завоеванных местностях, в тылу и на фронте, зычным голосом орали:

— Караул! Грабят!

Посадка на коней донцов вызвала немедленное поражение со стороны других войсковых частей, забиравших у населения лошадей и тачанки, на которых возили пулеметы и передвигались на походе.

На первых порах все отнесли на счет донского казачества.

Действия конницы Блинова, так смело бродившей у нас в тылу и едва не перерезавшей единственной железной дороги из Крыма, привели Врангеля к мысли о немедленном создании конных частей. Это дело он поручил ген. Юзефовичу. Когда последний приступил к реквизиции лошадей в Северной Таврии, он узнал от населения, что оно и так уже обобрано донцами. Юзефовича это страшно взволновало, впрочем, не столько самый факт захвата крестьянских лошадей, сколько инициатива донцов, из-за которой на его долю остались только рожки да ножки.

Так как донской корпус после сидоринской истории находился у Врангеля в опале, то Юзефович не гнался особенно за правдой и изобразил в своем рапорте поступки Чапчикова, Рубашкина и др. не как превышение власти, вызванное военной необходимостью, а как простой грабительский акт.

Лавры Ратимова не давали спать и генералам.

Еще в первые дни наступления ген. Писарев, проморгавший налет Блинова, обвинял перед Врангелем в этом скандале донское командование, но был посрамлен.

В один из вечеров, несколько дней спустя после нашего прибытия в Ново-Васильевку, меня спешно вызвали к командиру корпуса. Там, к великому удивлению, я встретил того, кого менее всего ожидал, свое прямое и непосредственное начальство — генерала Ронжина. Напуганный доносом Юзефовича и боясь, что «грабители-казаки» испортят ему репутацию среди крестьянства, Врангель срочно командировал на фронт, для расследования этого страшного события, своего Главного Военного Прокурора в компании с главой «Всевеликого Войска Донского». Вслед за прибытием Ронжина пронесся слух, что в Мелитополь приехали из Севастополя пять генералов, членов организованного военно-полевого суда, которому Вран-

гель решил предать весь старший комсостав донского корпуса.

Генерал Ронжин явился в ненавистный ему штаб как грозный судия, держа в руках карающий меч правосудия. Велико же было его изумление, когда он узнал, что карать, пожалуй, и не придется, так как самовольная реквизиция лошадей и подвод вызывалась исключительно боевой необходимостью. Или отнимать лошадей и идти вперед, или ни у кого ничего не тронуть и отступить в Крым, — другой альтернативы у донцов не существовало, когда они столкнулись с неприятелем. Дальнейший месяц войны показал, что эта альтернатива постоянно стоит перед всей врангелевской армией, не имеющей никаких запасов.

Главный военный прокурор уехал не солоно хлебавши. Создать новое дело о самостийниках не удалось.

Атаман Богаевский остался погостить в штабе. Не любитель боевой обстановки, в мирной он был незаменим. Болтая за чашкой чая, он пересказал нам все последние новости анекдотического характера. Он любил в разговорах плавать по поверхности житейского моря и никогда не засматривался в глубину. Свиты его величества генерал Богаевский не привык смотреть в корень вещей.

Он ни словом не обмолвился о международной политике, зато не преминул довольно живо рассказать историю мальчишеского монархического заговора в Севастополе. Несколько мичманов флота, вдохновленных пребыванием в их среде члена дома Романовых, герцога Лейхтенбергского, решили возвести его на всероссийский престол. Для осуществления столь великого замысла образовался даже «комитет действия» человек в 30, проявивший необычайную энергию в ресторанах провозглашением беспрерывных тостов в честь будущего всероссийского самодержца. Эта детская затея стала известна Врангелю, который отправил молодого герцога за границу к его опекуну, быв. великому князю Николаю Николаевичу, с просьбой наставить на ум «претендента».

— Шкуро в 1917 году, — продолжал атаман, — во время мировой войны, командуя партизанским отрядом в Персии, куда был сослан за убийство Распутина великий князь Дмитрий Павлович, тоже предлагал последнему русский престол. «Хочешь, Митька, я тебя царем сделаю?» — говорил Шкуро великому князю под пьяную руку. Но тот поблагодарил и отказался. Кстати, знаете, где теперь Шкуро? Он перекочевал в Константинополь,

кутит там и выбрасывает на рынок такую уйму русских денег, что совершенно понизил их курс на цареградской бирже. Не мытьем, так катаньем он вредит нашему делу.

— Христос воскресе, батька атаман, бог даст к Рождеству совместно освободим Россию от большевистской сволочи, — припоминаю я разухабистую поздравительную телеграмму от Шкуро Богаевскому на Пасхе 1919 года.

— Плохо дело! Атаман на фронте, — мрачно проворчал мой скептик Брусенцев, когда я вернулся домой и рассказал ему все, что слышал в штабе.

— Чего ты, ворона, каркаешь... В чем дело?

— Вот помяни мое слово: раз атаман с нами, неминуема беда. Ведь помнишь, только заявился он к нам в Ново-Алексеевку, как мы едва не попали в лапы к Блинову. Теперь тоже что-нибудь случится. Это не моя примета, я слышал ее от казаков.

— Чушь... Через несколько дней мы переезжаем вперед верст на пятьдесят, в немецкую колонию Гнаденсфельдт.

Казачья примета оказалась правильной. Она вполне совпала с нашей: о. Андроник уехал-таки в Евпаторию «реvisовать госпитальные церкви», — и, конечно, стряслась беда.

Красное командование решило одним ударом покончить с крымской армией и, действительно, едва не покончило. Большая конная группа (по сведениям нашего штаба, в 10—12 тысяч), под начальством известного на юге России красного конника Жлобы⁷⁸, должна была продвигаться с востока в открытое пространство в районе дер. Черниговка, в стыке донского корпуса и корниловцев, и, пройдя до железной дороги Севастополь—Синельниково, отрезать всю нашу армию от Крыма и зажать ее в тиски.

Жлобинское наступление обозначилось в середине июня. Нажим был настолько неожиданный, что Жлоба без труда пошел по немецким колониям вдоль реки Молочной. Части 3-й донской дивизии (ген. Гусельщикова) попробовали было оказать ему сопротивление под Черниговкой, но были отброшены с большим уропом.

Наша Ново-Васильевка наполнилась всевозможными обозами, которые без памяти драпали на юг. Казаки, отбившиеся в бою под Черниговкой от своих частей, тоже попали сюда и сеяли панику, рассказывая о стойкости и хорошей выправке жлобинской кавалерии.

— Братвы у них нашей — страсть. Есть донцы, есть и кубанцы, — разглагольствовал на улице один гундоровец, окруженный толпой любопытных.

Он, если верить его словам, под Черниговкой попал в плен к красным, видел самого Жлобу, а потом бежал ливадами и теперь «эвакуировался» сам не зная куда.

— Видел я у них и своих станичников, — продолжал он. — Есть и офицеры, что попали в плен к красным в Черноморье... «Дудочки, говорят, чтобы мы когда-нибудь опять стали служить белым. Зачем бросили нас на произвол судьбы в Новороссийске? Показали там себя господа генералы... Довольно тешить их превосходительств, будя с нас». Эти, которых захватили красные у моря, самые злющие. Свирепеют почем зря. Растуды твою так, говорят, ваше генералье.

А Жлоба все шел и шел вперед, пока не почувствовал, что для него готовится ловушка. Северная группа красных проявляла слабую активность, и почти вся крымская армия стала ловить Жлобу. Врангель сам прибыл в Таврию руководить операцией. На Донской корпус возлагалась задача прикрывать Мелитополь и не допускать неприятеля прорваться на восток. Командир корпуса ген. Абрамов вместе с оперативной частью штаба находился вблизи войсковых частей, остальным же центральным учреждениям корпуса было предписано переехать в дер. Мордвиновку, недалеко от устья реки Молочной, в 7 верстах к югу от Мелитополя.

Во время этого отступления нагляднее всего выявилось отношение штабной челяди к ненавистному им представителю закона. Подводы нашлись для всех, но только не для меня. Комендант штаба меня «забыл».

К вечеру громадная деревня опустела. Нигде не бывает так жутко, как в селении, брошенном одной враждующей стороной и поджидающем прихода другой. В Ново-Васильевке точно никто не знал, где мечется красная конница. Ее появление могло обозначиться в любой момент. По ровной степи в сухое время года везде пролегалла отличная дорога.

«Забытые», я и мой офицер Брусенцев, легли спать, отдавшись на волю провидения. Просыпаясь, гадали, в чьих руках деревня, белых или красных.

На наше счастье утром проезжал через Ново-Васильевку корпусной врач Говоров, который подобрал вещи и канцелярию, сами же мы свыше 35 верст ковьяляли пеш-

ком. После этого путешествия поручик Брусенцев, страдавший ревматизмом, окончательно слег.

Такое отношение проскальзывало во всем. Квартиру для моего крошечного учреждения отводили всегда самую скверную, а чаще всего оставляли без квартиры. На представителя судебной власти даже и корпусные верхи смотрели как на необходимое зло, на неизбежный придаток, а мелкие сошки, равняясь по верхам, хамили, стараясь уязвить беспомощных в хозяйственном отношении служителей белой Фемиды.

Наконец Жлобу окружили⁷⁹. Почувствовав себя запертым в клетку, он начал метаться, как зверь, из стороны в сторону, заморил лошадей, но нигде не мог прорваться, так как наши летчики на французских аэропланах⁸⁰ зорко следили за каждым его шагом.

Сидя в Мордвиновке, мы наблюдали по утрам, как целая эскадрилья стальных разведчиков вылетала из своей базы в дер. Акимовке и пронеслась над нашими головами на север, откуда уже доносился оружейный разговор.

Мы решительно ничего не знали, что творится на фронте. Купались в мутной Молочной, ловили неводом рыбу и в большом количестве марали бумагу. Только когда выстрелы особенно гулко разносились по степи или учащались до крайности, сердца невольно сжимались от щемящей боли.

— Ужели тут и конец всей затее? Неужели крах?

— Только всего и повоевали! Спасли отечество!

Иронизировали сами над собой.

Противным делалось бумагомаранье по делу о каком-нибудь вестовом полк. Абрамова Александре Хорошилове, похитившем серебряные часы и брюки у крестьянина Рудометкина, или о полк. Григории Чапчикове, тысяча первый раз, невзирая на строжайшие приказы Главного командующего, учинившем самовольную реквизицию двадцати лошадей в дер. Штейнфельдт. На фронте, под огнем, легче, потому что боевая работа волнует и захватывает. В глубоком тылу, куда не доносится канонада, живут почти мирной жизнью, забывая фронт. Хуже нет болтаться сзади войск, где близость боевых действий мешает сосредоточиться даже на канцелярской работе.

— Полная победа... Конница Жлобы совершенно уничтожена... 4 тысячи пленных и т. д. и т. д., — донеслось до нас 20 июня из Мелитополя.

Еще немного погодя появились газеты. В них победа

над Жлобой принимала совершенно легендарный характер. Ей придавали такое значение, точно разбили не отряд Жлобы, а всю Красную Армию.

— А сколько еще таких Жлоб может выставить против нас Советская Россия? — говорили скептики.

Участники операции, посещавшие административную часть штаба, которая опять перекочевала в Ново-Васильевку, передавали, что красных постигла неудача из-за самонадеянности их вождя. Жлоба плохо оценил силы противника.

Зимой в 1919 году решительную роль в победе красных сыграла конница Буденного. Сначала она произвела стратегический прорыв неимоверно растянутого белого фронта, а затем уже просто гнала деморализованного противника, у которого в тылу творился кавардак. Теперь были иные условия. Крошечная армия Врангеля, окрыленная победоносным выходом из Крыма и сражаясь с мужеством отчаяния, свободно маневрировала на небольшом, уже изученном, участке. Благодаря самовольным реквизициям у Врангеля оказалась недурная конница в лице 2-й Донской дивизии, бывших мамонтовцев. Эта кавалерия, вместе с аэропланами, не позволила Жлобе быстро и неожиданно проникнуть в тыл всей крымской армии.

Убедившись в своей оплошности, вождь красных повел свою заморенную конницу к востоку по немецким колониям, не будучи способен даже оказывать сопротивление. Донцы облепили его отряд, как пчелы мед, аэропланы же беспрерывно угощали бомбами эту грузную обессиленную лавину. Они спускались так низко, что, если верить слухам, в красных войсках распространилась легенда, будто бы наши машины крыльями сбивали головы всадникам.

Когда эта лавина медленно катилась по колонии Вальдгейм, ее просто расстреливали картечью и пулеметами. Выбившиеся из сил лошади еле волокли ноги; всадникам ничего другого не оставалось, как спешиваться и разбежаться куда глаза глядят. Но по обе стороны цепи колоний, по которым пролегалa дорога, кружились части Врангеля. Кто прорывался через сады и огороды в степь, того ловили казаки. Попавшие к нам в плен лошади по большей части были до того «запалены», что не годились для дальнейшей службы в кавалерии.

Сам Жлоба успел умчаться на автомобиле, потеряв на полях Таврии и свое войско, и свою боевую славу. Солдаты

же его, взятые в плен добровольцами, были представлены пред грозные очи Кутепова. Проходя по их рядам, будущий галлиполийский «Инжир-Паша» выбирал наиболее неприятные ему физиономии и приказывал своему конвою расстреливать их на месте.

По свидетельству генерал-майора Гравицкого, служившего тогда под начальством Кутепова, а ныне преподавателя тактики во 2-й Московской пехотной военной школе, «Инжир-Паша» оставил в живых не более 25% пленных жлобинцев*. Наше донское командование совершенно не страдало кровожадностью. В донском корпусе такие расправы составляли редкое исключение и отнюдь не возводились в героизм, как у добровольцев.

Врангель ликовал.

Крымские журналисты, купленные и запуганные ставкой, превозносили его до небес, даже сравнивали с Наполеоном. Дело дошло до того, что появилось известие об отправке из Франции в Крым особой комиссии для изучения этой врангелевской операции.

Вождь окрылялся все более и более, убеждаясь, что хотя его армия не велика, но боеспособна. Объезжая после победы донские части и увидев 2-ю донскую дивизию в конном строю, со множеством пулеметов на тачанках, он, сам матерый гвардейский кавалерист, не выдержал и радостно подпрыгивал на седле, особенно когда полки проходили мимо него церемониальным маршем под звуки оркестра. Даже калмычата, — и те награбили кое-где по захолустьям крестьянских лошадей или наловили менее заморенных жлобинских и, гарцуя на них, смотрели героями.

Сразу были забыты вопли населения. Командиры полков, которых не так давно грозный генерал Ронжин собирался вешать в Мелитополе, получили теперь полную амнистию.

Вождь только просил их в дальнейшем воздерживаться от самовольного захвата лошадей. Эта покорнейшая просьба, равно как все прежние и позднейшие приказы по этому поводу, до конца войны остались гласом воиющего в пустыне.

* «Белый Крым» — статья Ю. Гравицкого в жур. «Военная Мысль и Революция». 1923 г. № 2 (июньская книжка).

ХII. Война или набег?

Как ни ликовал вождь по случаю удачной операции, в своей душе он не мог не сознавать, что с одной крымской армией он далеко не уйдет, что успех его оружия всецело зависит от хода русско-польской войны, что его победоносное войско не более как орудие в руках французов, что в Крыму теперь не прежняя гражданская война, стихийное движение по инерции, а лишь смелая авантюра, созданная его, бесспорно, могучею волею.

Дальнейший характер войны показал всю ничтожность врангелевского предприятия.

— Наша цель, — говорил сам вождь в одном из приказов, — покамест ограничивается занятием хлебного района, необходимого для прокормления армии.

После победы над Жлобой боевые действия крымской армии большей частью состояли из коротких ударов и кавалерийских налетов на неприятельские тылы, а еще чаще носили характер оборонительных боев. Непрерывного фронта не существовало. Донцы по-прежнему занимали длинную линию западнее железной дороги Бердянск — Черниговка. Их немногочисленные части терялись в этом степном пространстве. Промежутки между деревнями, занятыми полками, слабо освещались разъездами.

Один только район калмыцкого полка, к северу и югу от г. Ногайска, тянулся верст на 35.

У неприятеля происходило то же самое.

Обычно на день те и другие выходили или выезжали вперед, занимали позиции и забавлялись артиллерийской, а иногда и пулеметной перепалкой. К вечеру эта бранная потеха прекращалась, канонада затихала, войска обеих сторон с песнями возвращались в свои деревни и относительно спокойно проводили ночь в крестьянских хатах.

Такой *modus vivendi* устанавливался иногда на несколько недель.

Однажды наша вторая дивизия нарушила его по следующему поводу.

У начдива ген.-лейт. К. шла шумная пирушка по случаю приезда дорогого гостя, лихого конника ген. С.⁸¹ Этот герой находился в крымский период не у дел. Соскучившись в Евпатории, он решил хоть часок подышать родным степным воздухом и чуточку пожить в атмосфере фронта.

— Уважь старика... (этому старику было 40 лет)...

Прикажи сходить в атаку... Ну, прикажи, что тебе стоит... Умираю от тоски, — пристал он к ген. К.

Изрядно вышив и осоловев, начдив наконец согласился и отдал соответствующее распоряжение. Дивизия двинулась на восток.

В соседних частях Гусельщикова (3-я донская дивизия) всполошились. Разъезды и дозоры в глухую ночь донесли, что замечены конные массы, которые движутся в сторону неприятеля мимо правого фланга дивизии. Поднялась тревога. Считая, что это красные возвращаются из ночного рейда в тыл, фланговые части Гусельщикова открыли артиллерийский огонь.

В штабе корпуса долгое время ничего не могли понять. Запели полевые телефоны, понеслись по проволоке запросы и распоряжения.

А виновники кутерьмы шли и шли вперед. Красные преспокойно спали, никак не ожидая такого неделикатного нарушения установленного порядка. 5-й запасный кавалерийский полк почти весь попал в плен, вместе с командиром полка и его женой, которых захватили в кровати. Бог знает, как далеко завели бы нетрезвые герои свое воинство, которое охотно шло на такой налет из-за добычи, если бы из штаба корпуса не полетели вдогонку им грозные приказания вернуться в исходное положение.

Официальная сводка штаба Главнокомандующего, разумеется, не преминула отметить этот «молодецкий» ночной набег и его трофеи — 600 пленных, но ген. Абрамов не на шутку рассердился на такой своевольный и сепаратный переход в наступление, которое могло кончиться катастрофой. Когда выяснился источник героического порыва 2-й дивизии, ген. С. получил спешное предписание покинуть район корпуса, а начдив ген. К. — недельный отпуск для проветривания.

В эпоху гражданской войны в Англии благочестивые полководцы Кромвеля изучали военное искусство по Библии, на опыте войн евреев с филистимлянами, амаликитянами и моавитянами. В нашу гражданскую войну стратегия и тактика также опростились. Крымская эпоха, невзирая на все противодействия Врангеля, тоже отдавала партизанщиной.

Обилие у богатого населения перевозочных средств давало войскам возможность развивать необычайную подвижность.

Пехота во время передвижений ехала на подводах. Широко практиковался метод Махно устанавливать пулеметы и «тачанки». Число пулеметов в пехотных полках доходило до 150. Впоследствии, в период изгнания, некоторые врангелевцы поступили во французский иностранный легион в Алжире, и там, на северной окраине Сахары, успешно использовали этот метод нашей гражданской войны в стычках с дикими сынами пустыни.

Опыт заменил военное образование, смелый порыв — кабинетные диспозиции.

С точки зрения военно-научной, типичным полководцем гражданской войны надо считать донского генерала Адриана Константиновича Гусельщикова. Старый кадровый офицер, он выдвинулся в эпоху восстания донцов в 1918 году, командуя отважными казаками Гундоровской станицы, которые избрали его своим командиром. Затем он занимал высшие должности. Малообразованный казак-строевик, он не признавал никакой школьной тактики, никакой стратегии.

— Да ну... Да какие там планы сражения, — пронизировал он над генштабистами. — Вот моя тактика — команда, за мной, бей эту сволочь! Налетели, и кроши.

— Где-то нынче наш Гусь летает? — говорили про него казаки.

Гусь, действительно, летал по степи, одерживая легкие победы над неорганизованными отрядами красных. Этих побед еще до Крыма у него насчитывалось до сотни, так что его называли «стопобедным генералом». Этот вечно пьяньенский «Ген-Гусь» (генерал Гусельщиков), — так сокращенно звали его офицеры, — пользовался громадной популярностью среди казаков, которые в вождях ценили больше всего отвагу, личную храбрость.

Но он годился только для партизанской войны. Случалось, что во время серьезных операций из-за его презрения к элементарным правилам устава его части попадали в беду. Так, однажды в Крыму его дивизия не подняла белых щитов для отличия своих, вопреки распоряжению свыше, и наши летчики, приняв казаков за неприятеля, засыпали их бомбами, погубив немало народа.

Война стала родной стихией для «Ген-Гуса». При отсутствии у него всяких других запросов, она давала содержание его жизни. Он не извлекал из войны большой выгоды, это не был ни честолюбец, ни корыстолюбец, ни

бывший капиталист, ни бывший помещик. Он просто не знал, что ему делать без гражданской войны. Ни на что другое, кроме войны, он не годился. Лагерь заменял ему семью, дружеская пирушка составляла для него высшее развлечение. Все, что не касалось войны, он считал пустяком; всех, кто не воевал, он звал «гнидами». В тыловые города он не любил показываться, а когда попадал туда, чувствовал себя там чужим человеком. Зато в боевой атмосфере он дышал свободно, как рыба в воде. Образ его жизни, его привычки нисколько не менялись, где бы он ни находился. Однажды я обедал у него в колонии Гнаденсфельдт во время боя, который шел подле колонии. Если бы не грохот орудий, треск пулеметов и готовые к внезапному отъезду подводы, можно было подумать, что это обычный лагерный обед. Штабные разместились по чинам, вестовые прехладнокровно разносили блюда с кушаньями, ели сладкое, потом пили чай и разговаривали о женщинах. О ходе боя никто и не заикнулся. Боевая обстановка стала обыденной, и на нее не обращали внимания.

Командиры донских полков, особенно бывшего мамонтовского корпуса, очень недалеко ушли от Гусельщикова по своему развитию и замашкам. Только, как люди молодые, они более озорничали. Особенно прогремели в крымский период командиры Платовского полка ген. Рубашкин и Калединовского полк. Чапчиков. Первый из них, при занятии в июле станции Пологи захватил красный бронепоезд «Лев Троцкий». Казаки-платовцы просили ген. Абрамова назвать эту военную добычу в честь своего вождя — «Генерал Рубашкин».

— Ну, как я мог согласиться на это! — рассказывал мне Абрамов в Гальбштадте. — Назвать — назовем, а вдруг завтра этот препрославленный герой устроит такой дебош, что станет стыдно за бронепоезд.

В Пологах же один из донских полков захватил в числе другой военной и невоенной добычи медвежонка. Натешившись им вволю, командир полка продал этого четвероногого артиста другому вождю за 25 тысяч «николаевскими» деньгами и за две пленных сестры милосердия.

Как разбить нам было красных
Под командой сих прекрасных
Полководцев и вождей,
Доморощенных стратегов!

грустно восклицает подпольный сатирик Б. Жиров, вы смеивая донских военачальников этой эпохи.

Для погромов, кутежей,
Для грабительских набегов
По далеким по тылам,
Для насилья дев и дам,
Спору нет, они годились,
В остальном же провалились.

Боеспособная с внешней стороны, крымская армия страдала внутренним разложением.

У добровольцев царила специфическая «добровольческая дисциплина». Она основывалась на боевом товариществе и на общности материальных интересов, но отнюдь не на идейном фундаменте. О России, о русском народе они мало думали. Более того, они презирали этот народ, среди которого воевали, за его сиденье на печи в то время, как они парили в воздухе. Сознание своей отверженности и отчужденности ото всего мира порождало невольную спайку атомов этой кондотьерской ассоциации, как в шайке какого-нибудь Карла Моора. Врангель, стремясь создать однородную «русскую» армию на старых началах, добился только того, что добровольцы признали его вождем. Но их внутренняя структура в Крыму осталась прежняя.

Они совершенно не уважали никого, раз он не доброволец, будь он хоть в распрогенеральском чине. В смысле назначения на командные должности решающую роль играл вовсе не приказ высшего начальства, а «добровольческий стаж», т. е. время, проведенное в «цветных войсках», и санкция той части, где имелась вакансия. Со стороны никто не смел сунуться к ним на командные должности.

Чин у добровольцев играл второстепенную роль. Порою капитаны командовали ротами, поручики — батальонами. Вновь направляемые в их части офицеры, независимо от чинов, назначались рядовыми в особую офицерскую роту. Над ними глумились и издевались, как в школе над новичками. Штаб главнокомандующего, молчаливо соглашаясь с выдвиганием на должности молодежи, старался быстро повышать в чинах тех, кто по занимаемой должности имел право на высший чин, чтобы не отступить от принятого в старой армии порядка. Безусые командиры батальонов с молниеносной быстротой превращались в

подполковников и полковников, число которых все росло и росло. Вновь произведенные заражались высокомерием и мечтали о себе более, чем заслуживали. Когда выяснялась их непригодность к занятию высоких должностей, они уже не хотели переходить на младшие: чин не позволял! Таким образом, благодаря повышению в чине навсегда портились те офицеры, которые вполне были на своем месте, командуя взводами и ротами, но не годились для более высоких должностей. Вообще, можно смело сказать, существование чинов принесло страшное зло белому стану.

Казаки спокон веков отличались своей особой товарищеской дисциплиной, но теперь в основе ее лежала не только общность происхождения начальников и подчиненных из казаков одной станицы, но и общность цели — возвращение к родным очагам, что не так интересовало бездомную добровольческую голытьбу. Казаки, дети народа, скорее находили общий язык с крестьянами, нежели деклассированные «цветные вояки». Добровольцы сражались, как профессионалы-ландскнехты, донцы — от тоски по родным хуторам, те и другие вместе — от безвыходности своего положения.

— Война до победы, грабеж до конца! — был боевой лозунг добровольцев.

— Скорей бы до дому, а там и умереть можно, — говорили казаки. — Больше со своего Дону никуда не сдвинемся.

Кондотьеры-добровольцы питали органическую ненависть к красным. Земледельцы-казаки в крымский период уже избавились от зоологической вражды к врагу, зная, что добрая половина красной кавалерии состоит из таких же, как они, казаков. Вихрь событий и новороссийская катастрофа раскидали их то в ту, то в другую сторону.

Лучше всего эта разница между донцами и добровольцами оттенялась отношением к пленным.

Приказ Врангеля от 29 апреля за № 3032 предписывал «комиссаров и других активных коммунистов уничтожать на поле сражения». К чести красноармейцев надо сказать, что они никогда добровольно не выдавали ни своего состава, ни политруков. Однако нужно было как-нибудь обнаружить этот криминальный элемент. Донцы относились к этому формально, добровольцы с наслаждением. Наибольшей жестокостью прославился генерал Туркул⁸²,

начальник дроздовской дивизии, которая гремела в крымский период.

Дело извлечения «коммунистов» из общей массы плененных у него стояло на должной высоте. Отобрав нескольких подозрительных плененных, он заставлял их указывать коммунистов, грозя, в противном случае, немедленно расстрелять их. Для большей остротки кой-кого и приканчивали. Перепуганные пленники, идя по рядам своих товарищей по несчастью, тыкали пальцами куда пошло. Новоявленных коммунистов выводили из строя и в свою очередь требовали указать, каких коммунистов они знают среди плененных. В результате подобных опытов случалось, что четвертая часть всех дроздовских пленников оказывалась коммунистами и уничтожалась во исполнение врангелевского приказа. Иных забивали насмерть шомполами, других травили собакою доблестного вождя дроздов.

До какого иступления доходил ген. Туркул, можно судить по следующему факту. Один военнопленный мальчик, всматриваясь в лицо унтер-офицера из конвоя Туркула, заявил, что этот дядя служил у красных и занимал должность политрука. При опросе унтер-офицера оказалось, что он, действительно, когда-то служил в Красной Армии взводным командиром, попал в плен к белым, добровольно вступил в ряды дроздов, исправно нес службу и даже отличался в боях. Невзирая на слезные просьбы окружающих, Туркул распорядился немедленно расстрелять несчастного.

Самым больным местом крымской армии было пополнение ее людским составом. Крестьяне уклонялись от мобилизаций, горожане находили тысячи способов «окопаться в тылу»; а убыль бойцов на фронте требовалось пополнить.

Добровольцы в деникинское время производили «добровольческие мобилизации», до крайности раздражавшие население. В Новороссийске я сам был «мобилизован» марковцами, т. е. меня, в то время военного прокурора Войска Донского, отбившегося от штаба своей армии, захватили ночью, с 13 на 14 марта, на улице и поставили в строй, во 2-ю роту, под команду капитана Нижевского. В одной только этой роте оказалось «мобилизованных» таким же образом казаков до 20 человек, офицерская же рота наполовину состояла из подобного благоприобретенного элемента. По прибытии в Феодосию и по выгрузке,

нас, новых «добровольцев», окружили караулом, чтобы мы не разбежались. Я пробовал было доказывать командиру полка, юному, но необычайно грозному капитану Марченко, всю несуразность такого способа пополнения полка «добровольцами». Меня обругали. Подозвав к себе уличного мальчишку, я дал ему денег, поручил разыскать штаб донской армии и передать записку генералу Кельчевскому, номинальному министру южнорусского правительства, с просьбой немедленно приехать в порт и освободить всех донцов из плена. Однако мальчишка более не возвратился к нашей стоянке под открытым небом. Тогда я пошел на хитрость, попросившись в отпуск до 3 часов дня. Мне дали форменную увольнительную записку, где наименовали меня чином «1-го офицерского имени генерала Маркова полка». С пристани я насилу добрался до центра города, так как на окраинах производили «мобилизацию» корнилловцы. Разумеется, я больше не вернулся к милым марковцам, а потом в Севастополе доложил ген. Ронжину о такой странной вербовке, которая сильно напоминает набор французами суданских негров для пополнения своих колониальных частей. Врангель сейчас же разразился грозным приказом, воспретив раз навсегда такое своеволие, которое порой заходило так далеко, что окружали целые кварталы и забирали решительно всех способных носить оружие мужчин.

Лишенные этого источника пополнения, добровольцы в Крыму могли только загонять в свои ряды пленных красноармейцев. Из числа последних находилось немало таких, которые в конце концов и добровольно соглашались сменить собачье существование в концентрационных лагерях на сытую, хотя и опасную боевую жизнь. Чтобы предупредить переход красноармейцев к своим, им не нашивали, а вшивали добровольческие отличия в одежду так крепко, чтобы никак нельзя было сорвать в пужную минуту; с отличиями же перебежчик рисковал в пылу сражения получить пулю. Однажды в дер. Астраханке на этапе я встретил китайца в форме корнилловца. «Ходя» тоже защищал «национальную Россию».

Нечего и говорить, что этот новый элемент, попавший в «цветные войска», подвергался суровому режиму, за ним зорко следили и при случае бесцеремонно расправлялись. Подобные «добровольцы» мало способствовали поднятию боеспособности частей. Когда, немного позже, приступили к формированию новых, 5-й и 6-й, дивизий (для корпуса

ген. Скалона), то их почти сплошь составили из бывших красноармейцев?⁸³ При октябрьском наступлении Красной Армии солдаты этих дивизий в бою под Б. Токмаком подняли на штыки своих офицеров и сдались красным.

Казачьи части тоже пополняли пленными казаками. Последние, конечно, сразу попадали в свою среду и не становились на положение парий. В пехие дивизии Гусельщикова под конец тоже стали вливать «красюков» (пленных красноармейцев).

В последующих за жлобинской операцией сражениях ряды старых, стойких бойцов все более и более редели, а для замены их не хватало сколько-нибудь удовлетворительного материала. Народ брали, где только можно. Но из тыла не так-то просто удавалось выгнать людей на фронт. Создалась особая категория «ловчил», офицеров, которые под всяческими предложениями уклонялись от отправки в боевые части. То выискивали болезни, то примазывались к тыловым учреждениям, — словом, на тогдашнем диалекте, «ловчили», предпочитая вироголодь, но «кобелировать»* на бульварах, чем подставлять сытый желудок под вражескую пулю.

Под осень Врангель отправил строгий приказ на о. Мальту, в Египет, на о. Лемнос и другие места, требуя, чтобы все эвакуированные туда офицеры и казаки, способные носить оружие, возвратились в Крым. Ослушникам он грозил страшной карой «в будущем». «Гости английского короля», не так уж плохо жившие на всем готовом за проволокой, без особой радости двинулись в Севастополь, впрочем, только для того, чтобы еще раз испытать прелесть новой эвакуации.

Уже в июле сделалось ясным и неоспоримым, что народу нет и не будет и что крымская армия — маленькая шавка, которая выступила против слона, покамест занятого другим делом, вцепилась ему в заднюю ногу и крутилась подле нее. Первая же серьезная операция показала, что крымская армия просто совершала набег на Северную Таврию, а не вступила в фазу новой гражданской войны.

В ночь на 25 июля части Красной Армии начали переправу через Днепр у Каховки, Корсунского монастыря и Алешек. Поредевший корпус ген. Слащева не мог ока-

* Увиваться за женщинами.

зять должного сопротивления. У него в иных полках насчитывалось всего каких-нибудь 130—150 бойцов. Пришлось двинуть все резервы, какие удавалось выискать, до Донского военного училища включительно. В страшных боях корпус Слащева еще более обезлюдил. Хотя резервы воспрепятствовали неприятелю распространиться по Северной Таврии, но все-таки красные прочно утвердились у Каховки, заняв плацдарм на левом берегу Днепра, в 70 верстах от Перекопа.

Этот пункт оказался ахиллесовой пятой «русской» армии. Красные, владея наведенным мостом через Днепр, в любой момент могли двинуть достаточные силы, чтобы отрезать белых от Крыма. Нам оставалось только ждать этого момента, который не замедлил подойти и в который Красная Армия одним взмахом ликвидировала врангелевский набег.

Оценив значение каховского плацдарма, Врангель рвал и метал после его утраты. Он обрушился на Слащева, повинного разве только в том, что принял участие во всей этой врангелиаде. Мужественного защитника Крыма зимой 1919—1920 года теперь признали виновным в сдаче главной позиции и отрешили от командования корпусом. Но пилюлю Врангель позолотил, пожаловав ему титул «Крымского». Главный военный прокурор ген. Ронжин, конечно, сейчас же поспешил создать судебное дело по обвинению Слащева в каких-то старых грехах, вроде бессудного расстрела пары контрразведчиков. Защитник Крыма, однако, получил воспитание в монархической Двороволицы, поэтому ген. Ронжин не мог так легко справиться с ним, как некогда с демократом Сидориним.

Красная каховская болячка побудила Врангеля подумать о зиме, которая всегда несла белым поражение. Началось спешное укрепление Перекопского перешейка, — вернее, издан приказ об этом, так как на деле все фортификационные работы в этом районе свелись к очковирательству.

Ватаги военнопленных приступили к устройству опорных пунктов в разных местах. Мелитополь и его окрестности, расположенные на возвышенности, обнесли колючей проволокой, которая сильно стесняла движение крестьянам. Почти перед каждой деревней вырыли окопы, часто на таких местах, что обстрел не превосходил 20—30 шагов.

Вождь, это уяснили все, более думал не о движении

вперед под колокольный звон, а о защите того, что захвачено.

Близкое будущее показало, что и защищаться не пришлось. Застигнутый на месте преступления налетчик обычно спешит не защищаться, а удирать.

ХIII. Борьба с преступностью

Неудачу грандиозного деникинского предприятия даже в белом стане многие открыто объясняли бессовестным отношением войск к населению. Поборники правого строя, поправного «насильниками-большевиками», до такой степени ввели в систему грабеж, что боевым кличем добровольцев стало не «Святая, Великая, Единая, Неделимая», а «война до победы, грабеж до конца».

Шкуро, вождь кавказских партизан, кубанцев и горцев, открыто заявлял чуть ли не в раде, что грабеж — главный стимул, который заставляет идти вперед его войнство.

Деникин совершенно не боролся с этим пагубным явлением. Военная прокуратура его времени, робкая, малочисленная, приниженная, осуществляла и могла осуществлять надзор за законностью только на бумаге. Ген. Ронжин, конечно, понимал, какой страшный вред причиняют белому движению войсковые грабежи и делал соответствующие представления. В ответ на это ставка отняла у прокуратуры право самостоятельного привлечения к ответственности командиров полков и вышестоящих лиц. С этой поры почтительные сообщения прокуроров о том или ином замеченном злоупотреблении оставались гласом воиющего в пустыне, если начальство виновного, по тем или иным соображениям, не хотело возбуждать против него уголовного преследования.

В 1919 году, в г. Ростове, тогдашний помощник главного военного прокурора ген. И. Д. Иванов рассказывал мне много пикантного про порядки, существовавшие в корпусе ген. Шкуро.

— Отчего же Деникин не принимает никаких мер против этого зла? — удивился я.

— Пока приходится мириться. Деникин просил нас до занятия Москвы оставить в покое Шкуро и других военных начальников, допускающих грабежи. Иначе их части

разбегутся. Суд состоится, когда в них не будет надобности.

— Тогда ничего не выйдет, — возразил я. — Победителя не судят.

Ген. Врангель отлично сознавал причины деникинского провала и не стеснялся открыто включать в их число грабежи. Он изгнал из армии партизанских вождей Шкуро и Покровского, более других повинных в этом безобразии, и объявил крестовый поход против обидчиков населения. Делая ставку на крестьянство, он искренно хотел защищать его от произвола войск. В этом намерении не могло быть ни фальши, ни двуличия, свойственных этому белому вождю в других случаях.

На судебное дело он обращал такое внимание, что главный военный прокурор (он же начальник военно-судебного управления) был столь же частым посетителем его кабинета, как и начальник штаба. Число приказов, циркуляров, распоряжений по военно-судебной части составляло значительный процент всей врангелевской литературы этого сорта. Создавались неслыханные должности вроде уездных помощников военного прокурора. Поговаривали о назначении таких же органов надзора при дивизиях.

Открытые, вопиющие грабежи удалось сократить. Но насаждение законности в войсках осталось невыполненным благим пожеланием вождя. В этой неудаче не он был виноват, а тысячи причин, совокупность которых нагляднее всего показывала, что обломки старого строя, который хотел воскресить Врангель, совершенно не способны ни к творческой работе, ни к обновлению.

Со времени выхода из «бутылки», скромный сначала, ближайший тыл армии начал пухнуть. Помимо множества необходимых тыловых учреждений — лазаретов, этапов, складов и т. д., возникли мириады всяких других, нужных и ненужных. Так, появились громоздкие комиссии по реализации военной добычи вообще, по реализации артиллерийской добычи в частности, врачебная комиссия по освидетельствованию больных, рекевизиционные, закупочные и т. д. Каждый полк имел в недалеком тылу базу, т. е. хозяйственную канцелярию, лазареты, обоз и жещин. Штабы дивизий еще были сравнительно сносных размеров, но штабы корпусов представляли из себя нечто поистине грандиозное. В одном из рапортов по команде наш штабной комендант полк. А. Н. Греков указывал, что

при административной части штаба состоит до 500 человек.

— Что-то много народу, надо бы разогнать,— положил резолюцию начальник штаба ген. Говоров.

Запасные части и громадные команды военнопленных, строивших окопы, тоже внедрялись в толщу тыловых учреждений. Тысячи спекулянтов в штатской и военной форме тучами бродили по Северной Таврии, а продажная старая администрация нахлынула княжить и владеть.

Громадные полчища женщин,— жены и даже сестры и матери военнослужащих и чиновников, сожительницы, которых звали «походными женами»; и, наконец, просто проститутки,— следом шли за мужской ратью. С ними не было никакого сладу. В пословице «гони природу в дверь, она в окно влезет», слово природа с успехом можно бы заменить словом женщина. Грозные приказы Врангеля, чтобы женского духу не было на фронте, не помогали. Будущему завоевателю России приходилось пасовать перед женским натиском и уступать, указывая лишь те пределы, дальше которых не разрешалось продвигаться женской армии. Устанавливался, таким образом, «бабий фронт», крайне неустойчивый и все более и более продвигавшийся вперед.

В Донском корпусе одно время женщинам не разрешалось жить восточнее реки Молочной. Штаб тогда стоял в дер. Мордвиновке, на левом (восточном) берегу этой реки, так что женщины воспользовались близостью своих мужей и перешли заветный Рубикон. Комендант корпусного штаба полк. Греков занялся изгнанием их на другой берег и попал в песню:

Порою полуночною
Глушит самогон,
За реку Молочную
Гонит наших жен.

Вся эта несчетная тыловая армия мужчин и женщин требовала квартир, подвод, продовольствия. Только поистине такой благословенный край, как Северная Таврия (Бердянский, Мелитопольский и Днепровский уезды Таврической губ.), мог прокормить всю эту голодную двуногую саранчу.

Для упорядочения ближайшего тыла летом были созданы должности инспектора тыла в каждом корпусе и подведомственных ему районных комендантов, независимых

от этапных и городских и от чинов администрации.

Властей появилось столько, что крестьянин не знал, к какой надо обращаться. Если рисковал куда-либо обратиться, то его, как мячик, гоняли из учреждения в учреждение.

Как всегда водится, многоначалие приводило к безначалию.

При нормальной обстановке всякий хорохорился перед другим и стремился превзойти свою власть; при малейшей неустойке на фронте или в щекотливом случае спешил сослаться на другого, проявляя бездействие власти.

Измученные сначала долгим бегством по Кубани, а затем недоеданием на полуострове, все эти бесчисленные тыловые герои и администраторы стремились теперь воспользоваться сытой жизнью на лоне природы, рассматривая службу как ненужный, но неизбежный придаток. К ней относились или халатно, или формально, а то и вовсе плевали на нее. Высшая власть запретила крестьянам варить самогон, а низшая даже поощряла, так как сама являлась первой потребительницей этого продукта. На самогон все были так падки, что, зная эту слабость властей, население приносило его в качестве мзды. В Мордвиновке одна женщина пришла просить меня за сына, которого накануне арестовали казаки и которого я уже распорядился освободить. Она не постеснялась даже мне, блюстителю правосудия в корпусе, положить на стол две бутылки этого продукта, как-то незаметно вытащив их из-под фартука.

Все чувствовали себя на кратере вулкана. Каждый точно предвидел очень скорый конец всему и хотел пожить всласть за старое, за новое, за три года вперед. С севера в вечерующем воздухе раздавались последние раскаты орудейной пальбы, а таинственную сень деревенских садов оглашали не всегда скромные поцелуи.

Кое-как мы воевали,
Не стесняясь воровали...
Там, в тылу, царил лишь флирт;
Самогон, вино и спирт -
Все глушили точно воду,
В счет разумного дохода,—

повествует Б. Жиров, описывая дальше такими же, не весьма поэтическими, образами казнокрадство, бесчиния и всякие художества рыцарей белого стана.

О России, о «национальной» идее, о малиновом звоне

московских сорока сороков никто больше не думал и не говорил. Даже газеты далеко читали не все, и многие не только не знали и не интересовались ходом военных действий на русско-польском, но даже и на своем крымском фронте. «В Новороссийске была оставлена идея», — пишет Г. Н. Раковский в книге «Конец белых». В Крыму, живя вне времени и вне пространства, многие забыли, была ли, вообще, у нас когда-нибудь какая-нибудь идея.

Незначительная часть врангелевского войска воевала, т. е. делала налеты, грабила неприятеля, обирала пленных, изредка бросалась в атаку и, занятая этим делом, ни о чем не думала. Другая — тут же под боком глушила самогон, «кобелировала», играла в винт и преферанс, марала бумагу или лениво слонялась между крестьянскими хатами, собираясь по вечерам на «брехаловки» и ушываясь сальными анекдотами. Никто не имел желания серьезно работать, да и не понимал, зачем нужна какая-нибудь работа. Чувство долга стало анахронизмом среди этого сброда. Стерлась разница между дозволенным и недозволенным, законным и незаконным, похвальным и предосудительным. Почти все более влиятельные офицеры содействовали к освобождению от призыва сыновей своих квартирных хозяев-крестьян. Более того, это делали генералы, служившие в тех военно-судебных учреждениях, над которыми я имел наблюдение, в качестве представителя главного военного прокурора, и не скрывали от меня своих деяний, зная, что я бессилён разоблачить их. На мое бумагомаранье мало кто обращал внимания, и мне приходилось складывать руки.

Живой дух окончательно отлетел от белого стана. Тысячи пламенных Врангелей все равно ничего не могли бы вылепить из этого мертвого материала сколько-нибудь сносного государственного механизма, хотя бы в пределах Крыма.

Ясное дело, что в период судорог покойника было бы просто наивностью добиваться от него исполнения закона. Все впало в протрацию, и законности всякий безбоязненно показывал фигу. Даже сам самодержавный законодатель, под влиянием и собственной невоспитанности в духе закона, и упоения своим всевластием, и по целому ряду других причин, часто сводил на нет своей левой рукой те законы и грозные распоряжения, которые подписывал правой.

Наиболее любимым детищем Врангеля, с помощью

которого он рассчитывал бороться с произволом войск, были военно-судебные комиссии. Они учреждались при каждой дивизии, отдельной бригаде, при штабе корпуса, в каждом уезде и т. д. Те из них, которые состояли при действующих частях, должны были следовать за последними, широко оповещать население о месте своего нахождения и о цели своего существования, зорко следить, чтобы нигде не причинялось никакого насилия войсками. Установив факт грабежа, они должны были немедленно судить виновных по правилам военно-полевого суда.

На деле от комиссий получилось не много проку.

Организация их была чересчур сложна и нецелесообразна. Председателями для большего весу и авторитета назначались заслуженные строевые генералы; членами комиссий, в числе шести, — строевые штаб- и обер-офицеры, юристы и не юристы. Только делопроизводителем комиссии назначался офицер или чиновник обязательно с юридическим образованием. Кроме того, разумеется, писаря, вестовые и конвой во главе с особым офицером. Такое многолюдие прежде всего вредило быстроте передвижения.

В председатели комиссий попадали или робкие люди, совершенно не понимавшие своей роли, или громовержцы, возомнившие о себе свыше меры. Одни бездействовали, другие проявляли усердие не по разуму. Одни распустили своих подчиненных, другие гнули их в бараний рог, рассматривая свою комиссию как строевую часть.

Члены комиссий, строевщина по преимуществу, никак представить не могли, как это им придется хватать своих старых товарищей и судить их за те деяния, в которых каждый из них был сам грешен тысячи раз. Воспитатели войск сначала должны были сами переродиться, внедрить в собственное сознание идею права и законности. А эта идея не могла быть уяснена теми, кто прошел школу гражданской войны. Некоторые члены комиссий допского корпуса просто-напросто жили при тех полках, в которых они ранее служили и, совершенно забыв о своем высоком признании, разделяли со своими полковыми товарищами все их бранные и мирные потехи.

— Вот у меня, бывало, велось следствие, так можно сказать следствис. Раз, два, — и в рожу! — вспоминал бывое член комиссии при штабе нашего корпуса полк. А. А. Астахов, бывший таганрогский полицеймейстер.

Однажды этот воспитатель войск в духе законности разыскал какого-то своего бывшего подчиненного, при-

става или околоточного, и рекомендовал его мне тоже как желательного для работы в комиссии человека.

— Он у меня не парень, а золото. Только глазом, бывало, моргну, без слов поймет... Всякому умел язык развязать.

Для надзора за деятельностью военно-судебных комиссий учредили в каждом корпусе должность начальника военно-судебной части, подчиненного, как и комиссии, главному военному прокурору, на правах его представителя. В донском корпусе эту должность занял я и поэтому имел возможность убедиться в том, что намерение вожди создать белую чеку для искоренения преступности потерпело крах.

Военно-судебная комиссия 1-й донской дивизии для меня, органа прокурорского надзора, почти всю войну оставалась terra incognita. Она обитала где-то далеко за Мелитополем и не подавала никаких признаков жизни. Один только раз председатель ее, ген. Попов, явился ко мне не за инструкциями, не за уставами, а с просьбой сменить делопроизводителя, который не выносит пушечной пальбы. Больше я ничего не слыхал об этой комиссии до конца кампании и даже за границей. Надо полагать, она мирно паслась на подножном корму в какой-нибудь уединенной деревне до тех пор, пока в один прекрасный день с удивлением узнала, что белых из Таврии и след простыл.

Комиссия при 2-й Донской дивизии (мамонтовцы) попыталась было немного пройтись по пятам этой конницы, но скоро набилась оскомину. Военное начальство, ненавидя это учреждение, всячески старалось избавиться от присутствия опекунов и вредило им, где только можно, так что комиссия не всегда чувствовала себя в безопасности. Наконец, плюнув на все, она забилась в богатую дер. Песчанку, подле Мелитополя, обзавелась хорошенькими машинистками, и после этого уже никакие силы не могли заставить ее, хотя бы из деликатности, держаться не далее 80 верст от дивизии. Насилу разыскав ее в Песчанке, я увидел чистеньких офицеров и миленьких барышень, гулявших вместе по хозяйскому саду, а в комнате, именуемой канцелярией, роскошные арбузы и гроздья винограда украшали письменные столы.

Больше всего хлопот доставила мне военно-судебная комиссия при 3-й дивизии (ген. Гусельщикова). Председатель ее, ген. Чернов, упоенный своей независимостью

от корпусного начальства, возомнил себя не органом судебной власти, а верховной властью корпуса. Заняв прочную позицию в дер. Астраханке, он начал тут разыгрывать роль начальника гарнизона и контролировать действия должностных лиц. Членов комиссии он терроризовал, приказывая им голосовать так, как он хочет. Непокорных преследовал и вынуждал их к бегству. С ген. Абрамовым, прочитавшим нотацию председателю штабной комиссии в официальной бумаге на самых же первых порах, у ген. Чернова дело едва не дошло до боя. Коса нашла на камень. Фельдфебель наскочил на фельдфебеля.

У Чернова был любимец — член комиссии, поручик Корниловского полка Леонтьев, — энергичный и дельный парень, но совершенно бестактный и не в меру увлекающийся. Проводя в жизнь идеи своего патрона, он внушал населению, что военно-судебная комиссия *uber alles*. Крестьяне, радуясь таким благодетелям, бежали в комиссию при каждом требовании от них подвод или других натуральных повинностей и усвоили привычку исполнять требования только в тех случаях, когда разрешала комиссия. Последняя, таким образом, из судебного органа превратилась в контрольный аппарат. Поручик Леонтьев катался как сыр в масле. Везде ему был почет и, что еще важнее, сытый обед.

Однажды в комиссию прибежала кучка немцев-колонистов с воплем:

— Помогите, грабят, берут лошадей!

Отважный поручик бросился на место происшествия. Там, действительно, реквизировали лошадей.

— Как, — завопил поручик, — самовольно забирать лошадей!.. Это безобразие!.. Кто вы, — дозволейте узнать ваши фамилии?

Взбешенные офицеры, производившие на этот раз реквизицию с разрешения Врангеля, послали его к черту. Леонтьев в пылу ссоры погрозил им крестьянскими дубинами. Тогда офицеры уехали из колонии и донесли обо всем Абрамову, заявив, что при таких условиях исполнение воли Главнокомандующего немислимо.

Ген. Абрамов, находившийся тогда с оперативной частью в Гальштатте, предписал по телефону коменданту Астраханки немедленно арестовать и доставить в штаб Леонтьева.

В это самое время я случайно проезжал через Астраханку.

— Что мне делать?.. Чистая беда!.. Научите! — взмолился комендант, прибежав ко мне. — Вот предписание командира корпуса, а вот ответ ген. Чернова на мою просьбу прислать мне пор. Леонтьева для отправки в штаб.

Ген. Чернов писал коменданту, что он не только не позволит арестовать Леонтьева, но даже окажет сопротивление, если комендант рискнет силою приводить в исполнение приказ Абрамова.

Придя в комиссию, я у большинства членов заметил злорадство по поводу этого скандала. Чернов же со своим любимцем выказывали необычайный задор.

Кое-как мне удалось уладить этот инцидент. Но вскоре возник новый, из-за которого ген. Чернова убрали из корпуса.

Самый факт существования военно-судебных комиссий, конечно, действовал оздоравлиюще на войска. Но боевая обстановка часто заставляла самовольно брать у населения необходимые для ведения войны материальные средства. Больше же всего причинялось населению таких обид, которые не подходили под понятие грабежа и вовсе ускользали от судебной кары. В конце концов военно-судебные комиссии превратились или в мертвые бюрократические учреждения, занимавшиеся перепиской, или в хозяйственные органы, так как на них была возложена расплата с крестьянами за самовольно реквизированных лошадей. Комиссия устанавливала факт такой реквизиции, определяла качество лошади, упряжи и проч. и стоимость всего этого. Это была грандиозная, сложная работа, но уже совершенно не судебного характера. Основная идея — создание органов для быстрой и справедливой расправы с мародерами, — окончательно исказилась.

Более того. Применяя выражение Мити Карамазова, военно-судебные комиссии начали с идеала Мадонны и кончили идеалом содомским. Насадители права и законности встали у скользкого, денежного дела и сами поскользнулись. Ген. Чернов, по моему настоянию, наконец был убран из корпуса за следующую проделку. В начале наступления калединцы реквизировали плохонькую лошадь у того астраханского богатея, в доме которого потом поселился Чернов. Комиссия 2-й дивизии, разбиравшая это дело, определила стоимость лошади по низшему разряду. Ген. Чернов истребовал это дело к себе, якобы для справки, перерешил его в своей комиссии и выдал своему поильцу и кормильцу богатею-молоканину квитанцию на

право получения из казны за реквизированную лошадь по высшей ставке!

И тут сказались система. Обозленный на меня, ген. Чернов настрочил ген. Ронжину рапорт о том, что я, производя расследование, «держал себя очень свободно при разговоре с ним» и требовал к себе для допроса (по делу об его беззаконии) членов комиссии непосредственно, а не через него. Мне поставили на вид такое непочтительное отношение к «старшему в чине».

— Я на весь мир буду кричать, что донцы грабители и что в их корпусе нельзя служить честному человеку, — возмущенно заявлял на всех перекрестках «честный» генерал, покидая, не по доброй воле, корпус.

За весь крымский период в донском корпусе по приговору этих комиссий пострадал только единственный человек — хорунжий Тельпишов, расстрелянный в Б. Токмаке в конце сентября за грабеж. Было еще два-три случая осуждения виновных, но их или оправдывали, или присуждали к фиктивным наказаниям.

Насаждение законности с помощью суда заранее обрекалось на гибель без перевоспитания самых высших войсковых начальников. Даже будь комиссии на своем месте, прояви все судебные органы героизм и самопожертвование, проку не вышло бы никакого, так как у высших начальников не хватало воли задать острастку, да и не было убеждения в ее необходимости.

— Оставьте, пожалуйста, в покое Чапчикова, — говорил мне ген. Абрамов. — Пока он в полку, это полк. Не будет его, будет банда в 400 человек, не способная сражаться.

Все еще господствовал деникинский взгляд.

Командиры корпусов горой становились за начдивов, начдивы за командиров полков, и так далее. Судебным учреждениям приходилось штурмовать войсковую организацию. Активное и пассивное сопротивление последней сводило на нет борьбу с нарушителями законов. Войсковые начальники брали измором военно-судебные учреждения, не отвечая на их запросы и не выполняя их требований.

Даже сам Врангель, грозный на словах, на деле нередко пасовал, милуя тех, о ком сам возбуждал дело. Однажды сгоряча он издал громовой приказ о предании суду нашей штабной комиссии пол. Ханжонкова, войск. старш. Сиволобова и хорун. Вифлянцева за самовольную рекви-

зицию лошадей. Комиссия приговорила первых двух (третьего не оказалось в живых) к сравнительно небольшому наказанию. Врангель, по ходатайству Абрамова, и это наказание простил. Игра не стоила свеч.

Карающий меч правосудия падал на головы виновных только в исключительных случаях. К числу таких неудачников, которые влипли-таки, наконец, в беду, относились донской партизан войск. старш. Роман Лазарев и бывший комендант станицы Великокняжеской* есаул Земцов.

Первый из этой четы в 1918 году прогремел на весь Дон бесчисленными убийствами и грабежами. Немало и офицеров сделали жертвами несдержанности этого золотопогонного бандита. Несчетное число дел об его злодеяниях находилось в производстве у военных следователей и, конечно, оставались без движения. Сотни жалоб неслись к атаманскому трону. Ген. Краснов, автор нескольких сентиментальных романов, не проявлял никакой чувствительности в отношении населения. В проделках Лазарева он видел не более как шалости чересчур живого ребенка.

— Беспутный, но милый моему сердцу Роман Лазарев,— такую красноречивую резолюцию выгравировал Краснов на одной из поданных ему жалоб на этого бандита.

В феврале 1920 года, уже на Кубани, где грабежи Лазарева, занимавшего административную должность в тылу, чересчур волновали и без того неприязненных к донцам братьев-кубанцев, я и ген. Сидорин совещались, как бы деликатнее ликвидировать этого грабителя, но прорыв Буденного у Белой Глины заставил думать о другом.

В Крыму Лазарев попался наконец в руки правосудия, будучи схвачен в Симферополе с поличным. Этот милый мальчик, приятный красновскому сердцу шалун, продавал на базаре дрожки и лошадей только что убитого и ограбленного им за городом извозчика! Таково было последнее художество видного донского партизана. Умер он, по приговору военно-морского суда, мужественно, напевая перед вырытой могилой любимую песню.

Есаул Земцов тоже в 1919 году гремел в Сальском округе. За убийства и грабежи он еще тогда был присужден к расстрелу, но помилован Богасевским. В Крыму он со-

* Окружная станица Сальского округа, центр окружного управления.

стоял на службе в запасном дивизионе и по старой привычке начал грабить крестьян возле Мелитополя. Запуганные крестьяне молчали, и только уже после расправы с ним дошли до меня полицейские дознания о его преступлениях. Попался же он в дер. Волконешты, где в компании с такими же хулиганами, как сам, арестовал подрядчика кутеповского корпуса, избил его, изнасиловал его жену и лишь после получения выкупа освободил злосчастного буржуа. Военно-полевой суд при штабе корпуса не постеснялся приговорить его к расстрелу, а я добился утверждения приговора ген. Абрамовым.

Но такие примеры должного возмездия были редкостью, вернее исключениями. Все эти три грабителя, хор. Тельпишов, войск. старш. Лазарев и есаул Земцов в Крыму находились не у дел, не имели защиты в лице начальства и полкового товарищества и не могли обратиться с мольбою к атаману, который здесь не пользовался правом помилования. Будь обратное, быть может, и результат был бы обратный.

XIV. Крестьянские думы

В Таврической губернии ко времени революции безземелья не ощущалось. Здесь преобладал и преобладает середняк, которому плодородная почва дает возможность жить без горя и нужды. Что касается меннонитов* и немцев-колонистов, то многие из них живут настоящими помещиками.

Казалось, эти два господствующих земледельческих элемента в эпоху боевого коммунизма должны были всей душой тяготеть к белому стану и с радостью встречать избавительницу от советского гнета, «русскую» армию Врангеля. Аграрный закон последнего не мог пугать крупных землевладельцев, хотя бы по одному тому, что покамест окрестное население вовсе не нуждалось в их земле.

Тем не менее сельский люд не был с нами. Народ для армии Врангеля оставался таинственным незнакомцем. Никакими средствами, ни ласками, ни угрозами, новому вождю не удалось расшевелить его и привлечь на свою сторону.

* Меннониты — голландские сектанты, последователи Симона Менно, который жил в конце XVI века. Переселились в Таврическую губернию при Екатерине Великой.

Г. Н. Раковский, который, кстати сказать, в период крымской кампании находился за пределами России, пишет в своей книге «Конец белых» про крымский период:

«Кто не был по духу профессионалом-кондотьером, несмотря на удачу на фронте, чувствовал глубокую неудовлетворенность гражданской войной, отсутствие веры в правоту своего дела и не чувствовал никакой духовной связи с враждебно относившимся населением».

Глубокая неудовлетворенность гражданской войной и отсутствие веры в правоту своего дела родились именно под влиянием сознания своей отчужденности от народа.

Трафаретная легенда о цветах, которыми население освобожденных от большевиков местностей забрасывало войска, поблекла скорее, чем эти мифические знаки благодарности. Народ безмолвствовал при виде «избавителей», Крестьяне отказывались говорить с ними на политические темы. Или, переминаясь с ноги на ногу, почесывали в затылках и нехотя бормотали:

— Да, конечно, эта камуна для нас неспособна. Много крестьянина обижают.

— Много, говоришь?

— Страсть как много... Продразверстка всякая, опять же эти реквизиции.

Только эти «обиды» крестьянин мог поставить в вину коммунистической власти. О том, что эти меры вызывались крайней государственной необходимостью, он не постигал своим умом. Всякое посягательство на часть своего урожая он считал претуплением власти. Так как этим грешили и белые, он и белых встречал холодно.

— Для крестьянина та власть хороша, которая не только от него ничего не брала бы, а еще ему бы от себя давала,— сказал кто-то где-то.

Запломбированный вагон, позор Брестского мира, попрание национальных идеалов и все прочие жупелы, которыми Осваг пытался вдохновить ненависть к большевикам среди войск и интеллигенции, крестьянин не переваривал в своем мозгу. Не более осиливая и «Святую, Великую, Единую, Неделимую», полный титул которой он даже не умел и выговаривать.

— Да о чем вы спорите? Ведь лучше, если бы замирились. Тогда, может, и нам лучше стало бы,— говорили, разоткровенничавшись, некоторые бородачи.

Во всей этой кутерьме они понимали одно: война, которую проповедывал Врангель и на которую звал насе-

ление, крестьянину не пужна и вредна. До такого понимания он доходил не путем отвлеченных размышлений о партийных программах, а в результате непосредственного ощущения последствий войны на своей шкуре.

— Вы деретесь, кто знает, какие у вас счета, ну, а мы-то тут при чем? — молчаливо говорили мужики, предпочитая худой мир доброй ссоре.

Крестьянская молодежь реагировала более определенно и более сознательно. На ее развитие большое влияние оказали революционные годы, а особенно пропаганда большевиков. Белые по части пропаганды пасовали. Общая болезнь белого стана — инертность и мертвечина — сказывалась и на работе Освага. Его белоручки-агитаторы не шли в толщу народа, не умели и боялись говорить с ним. Они научились пускать лживые слухи, расклеивать афиши, раздавать газеты, но менее всего пользовались живым словом.

У красных дело, видимо, было поставлено по-иному. В дер. Акимовке до слащевского десанта стоял штаб конницы Блинова. Разумеется, здесь подвизалось немало большевистских агитаторов. И что же? Эта громадная деревня считалась у нас большевистски настроенной. Здесь в июне обнаружили целую крестьянскую организацию, во главе которой стояла семья Озеровых, переправлявшая через белый фронт отсталых красных и тех, кто хотел перебежать из нашего стана в неприятельский. Озеровых судили и двух из них, в том числе молодую Парасковью, присудили к четырехлетнему заключению в тюрьме.

— Четыре года?.. ха-ха-ха... — рассмеялась Парасковья Озерова, когда ее отправляли в Симферополь. — Да я уж через четыре месяца буду на свободе.

— Кто ж тебя освободит?

— Красные... ведь недолго тут хозяйничать вам.

— Почему они тебе так нравятся?

— Потому что это наши... Нету страха к ним... Разве не видели снимков, ведь у нас отобрали кучу фотографий... Все ихние начальники запанибрата с нами снимались. И Блинов тоже... А вас мы боимся... Чужие вы, вот что.

Она твердо верила в силу красных. Через четыре месяца она, действительно, вышла на свободу, но ее освободила не Красная Армия, а амнистия, которую объявил Врангель 24 сентября, по случаю полугодовщины своего владычества.

Крестьянская молодежь, естественно, чувствовала

больше симпатии к той армии, которой управляли молодые вожди, простые и доступные, и в котором ключом была энергия и свежая черноземно-фабричная сила. Это не трудно было заметить по разговорам с молодежью. У нас она видела или старых олимпийцев, превосходительных генералов, или сопляков в офицерских погонах, но уже чванных, зазнавшихся благородий и высокоблагородий.

Однажды в Большом Токмаке, где мы стояли осенью, молодая учительница в беседе с группой штабных упомянула о том, что минувшей зимой ей случалось посещать вечера красных курсантов.

— Воображаю, какое там было хамство,— воскликнул один из генералов.

— Представьте себе, ничуть не больше, чем на вашем гарнизонном вечере, который я посетила вчера. Пьянства, во всяком случае, у них я видела меньше, чем у вас, и больше простых, но славных юношей, далеко не так испорченных, как многие ваши.

Молодой крестьянин-подводчик из дер. Царедаровки, возивший меня в кол. Гнаденсфельдт к ген. Гусельщикову, разглагольствовал в дороге:

— Ваши сами во многом виноваты. Слыхали мы, когда еще вы сидели в Крыму, что Врангель у вас заводит хорошие порядки. Что ж, думаем, посмотрим. Ждали вашего прихода. Знаем, что весной не замедлите объявиться. Тут еще проносится весть, что и помещиков не признает Врангель, вся земля окончательно отойдет крестьянам. Не забыли, как при Деникине кавалерийские офицеры, помещичьи дети, мужиков драли за то, что те не платили им оброку за бойкие годы. При Врангеле, думаем, этого не будет. Высадился Слащев. Все как будто хорошо, никому обиды. Мы, молодые, ходим-бродим подле штаба полка, что стоял у нас. В штабе обедают, играет музыка. Да вдруг как грянет она «Боже, царя храни», да раз, да другой. А там следом кричат ура. Нас как кислым облило... Вот оно что... Ну, кто с царем, тот и с помещиком. А этим-то ни в жизнь не бывать. До свиданья, сказали мы, нам, видно, не по пути.

Те колоссальные жертвы, которые потребовало от населения затеянное Врангелем предприятие, усугубляли нерасположение крестьян к «русской» армии. Лошади, упряжь, телеги, скот — все быстро истреблялось беспощадным Молохом. Крестьяне предвидели, что на следующий год им не на чем будет обрабатывать свой тучный

чернозем, что богатейший край запустеет, высохнут их молочные реки, расползутся кисельные берега.

При всем том население, особенно молокане и баптисты, проявляли чисто русское гостеприимство. Радужно поили и кормили нас, но отнюдь не из сочувствия к делу Врангеля, а из природного человеколюбия и увы! — из сожаления.

— Беденькие! Сколько вам приходится мыкаться по свету. Небось, соскучились по родным? Некому и позаботиться о вас, — причитали сердобольные хозяйки.

— Что же, о. Андроник, — говорил я нашему корпусному священнику, — вот вы утверждаете, что мы делаем народное дело, а народ не чувствует органической связи с нами и ждет не дожидается, когда мы уберемся за Перекоп.

— Здесь, видите ли, не настоящая Россия. Тут всякие сектанты или немцы-колонисты. Молокане ушли от православия и перестали быть истинно русскими людьми. Колонисты, — меннониты, немцы, болгары, — совсем уж не наши, хохлы тоже не наш брат, великоросс.

О. Андроник не ошибался. Тут была не настоящая Россия. Настоящая же, — рязанская, калужская, московская, тульская, — стояла против нас, с ощетиленными красноармейскими штыками.

Стесняя сердце, крестьянство Таврии мирилось с реквизициями, с ропотом выполняло подводную повинность, но совершенно отказывалось подчиняться приказам о мобилизации. Можно смело сказать, что ни одна врангелевская мобилизация не прошла. В июле в дер. Ново-Васильевке, где около 10000 населения, в назначенный для призыва день на сборный пункт не явился ни один человек. Молодежь убегала в степь или скрывалась в соседних деревнях.

Скоро милостивый к крестьянству лик белого вождя начал омрачаться. Посыпались угрозы предавать ослушников военно-полевому суду.

Не помогло.

Приступили к насильственному набору. В деревнях устраивалась охота за черепами. В то время, как одна часть армии Врангеля сражалась против большевиков, другая вела операции против уклоняющегося от призыва молодняка по всем правилам военной науки. С ночи деревню, точно неприятельскую позицию, окружали цепями, на рассвете приступали к штурму, т. е. — повальным обыскам. У выходов из деревни становились посты. Осо-

бые дозоры следили за тем, чтобы кто-нибудь по задворкам не скрылся в степь.

Я сам был свидетелем такой ловли в дер. Ганновке (Бердянского уезда). Проезжая утром по деревне, услышал рев и причитания. Из одной хаты вышел поручик пешей комендантской сотни нашего штаба Волков с казаками, ведя за собой живой товар.

— Два дня уж мучусь тут... Ничего противнее не приходилось исполнять за всю свою жизнь. На фронт, куда угодно с радостью пойду, лишь бы не на этакое дело, — искренней скорбью на лице обратился он ко мне, подходя к моей «тачанке».

Это был довольно культурный офицер, пришелец в казачьем корпусе. Тыловая служба его тяготила, — это знали все. Просился в строй, — не приняли из-за слабости зрения.

— Ну теперь-то попаду на фронт, — говорил он, техник по образованию, узнав, что в Пологах донцы захватили бронепоезд. Кстати, тогда же был захвачен и медвежонок, о чем тоже не умолчала официальная сводка штаба Главкомандующего.

Поручик подал рапорт, прося зачислить его на бронепоезд.

— Вакансий на бронепоезде нет, а вот нужен вожак для медведя, — последовала шутливая резолюция.

Бедняга так до конца крымской эпопеи и не мог избавиться от неприятной службы.

С ловлей «зеленой армии», как в шутку звали себя дезертиры, дело клеилось плохо.

А вождь становился все грознее и грознее. В августе он разразился громовым приказом, повелевая хватать и сажать под арест родителей и жен уклоняющихся от мобилизации, имущество же их подвергать конфискации.

С щемящей болью на сердце тыловые команды начали ловить молодых, стариков, старух и запирали их в сараи под караул. Стон и плач пошли по деревням. Противно было выходить на улицу, когда происходили подобные операции.

И эти драконовские меры мало помогали. Спасать «Святую, Великую, Единую, Неделимую» никто не хотел.

Тех злосчастных, которые попадали в тенета охотников за черепами, под усиленным конвоем водворяли в запасные части. Оттуда они удирали при первом удобном случае. Оружия не рисковали выдавать этим новобранцам.

В Крыму сделался ходячим следующий анекдот, характеризующий, сколь велика была польза от таких вояк: — Красные наступают, — телеграфируют в тыл из штаба корпуса, — примите меры.

— Меры приняты: запасные части обезоружены, — отвечают оттуда.

Меннониты, голландские сектанты, поселенные в Бердянском уезде при Екатерине Великой, проявили несколько большее усердие к врангелевскому делу, нежели русское население Северной Таврии.

Их религиозное учение запрещает пользование оружием: поэтому в царское время их не назначали в воинские части, а составляли из них особые команды, главным образом, для охраны лесов. Весьма зажиточные землевладельцы, они не имели особых оснований любить большевистские порядки. Когда Врангель захватил Бердянский уезд, их синод начал обсуждать вопрос, во всех ли случаях грешно пользоваться оружием, и в конце пришел к выводу, что большевики — враги религии, а потому вооруженная борьба против них является богоугодным делом.

Материальный интерес взял верх над чистотой религиозного учения, и они сформировали свой специальный колониетский полк.

Нужда закон меняет.

Однако о боевых действиях этого полка в Крыму не приходилось слышать, а за границей не оказалось даже следов его. Видимо, он тоже воевал на манер запасных частей, которые приходилось обезоруживать при приближении неприятеля.

Врангель, карая слушников приказов о мобилизации, в то же время из сил выбивался, чтобы показать народу свои заботы о нем.

Случалось, что он сам позволял себе такую роскошь, как публичные выступления на крестьянских сходах. Человек с темпераментом, он говорил веско, убедительно, позволяя себе даже демагогические выпады.

Ничего не выходило!

Вместо единодушного порыва на Москву, вместо идейного воодушевления — тоскливые лица и сдавленный ропот.

— Подвод бы поменьше брали... Реквизиции заели... Нельзя ли пореже реквизиловать?

Экспансивный вождь, обдав презрительным взором тупую чернь, с досадой уходил с трибуны.

«Речь Главнокомандующего крестьяне приветствовали шумными овациями и единодушным решением отдать все для блага родины», — писали газеты об одном таком выступлении вождя в громадной дер. Ново-Михайловке.

Кого хотели обмануть осважники, — сказать трудно.

Крестьянство чуждалось «русской» армии. Оно предвидело ее неудачу ввиду несерьезности затеянного предприятия. Когда был опубликован аграрный закон Врангеля, на который вождь возлагал громадные надежды, землеробы не выразили ни малейшего ликования, даже не заинтересовались этим законом.

— Выгоните сначала из России красных, а потом издавайте законы. А то, что проку: завтра вы запрячетесь в Крым, — и все мигом пойдет насмарку. Нечего делить кожу неубитого зверя.

Этот закон оказался медью бряцающей, кимвалом звенящим. Исполнители его, графы Татищев и Гендриков, не видели надобности спешить с проведением в жизнь аграрной реформы. В дер. Мордвиновке, всего в 7 верстах от Мелитополя, крестьяне не знали о существовании этого закона в конце июня. О более северных местностях говорить не приходится.

Обломки старой царской администрации в Крыму показали себя исключительно с отрицательной стороны, так что народ еще лишний раз имел случай убедиться в прелестьях старого режима. С. Бородин, тот самый, статьи которого погубили Сидорина и который сейчас в Болгарии рассыпается против беззаконий Советской власти, в Крыму, где он был начальником штаба запасной бригады, в рапорте ген. Абрамову доказывал необходимость предания суду военно-судебных комиссий чинов администрации, так как «они своими беззакониями сознательно подрывают авторитет нашей власти и содействуют большевикам».

Все прогнило от верху до низов. Администрация изощрялась в изобретении тысячи способов для пополнения своего кармана, причем наиболее невинным следует признать взяточничество. Открыто производились сборы от «благодарного населения» молочных продуктов и живности в пользу пачальника гражданского управления Северной Таврии графа Гендрикова.

Врангель, с обычной горячностью, обрушивался на администраторов, когда до него доходили сведения об их проделках. Но, разумеется, по общему правилу пострада-

до несколько мелких сошек, не имевших «заручки» в верхах. Не говоря уже про графа Гендрикова, — любой его чиновник для поручений мог вытворять, что его душеньке угодно, забронированный благоволением начальства. Попались два или три мелких полицейских чина и какой-то поручик, помощник мелитопольского пристава, которых Врангель предал военно-полевому суду и расстрелял. Офицер, видимо, был новичок в администрации и не умел обделывать свои дела так, чтобы не оставалось следов.

Особенно много грязи скопилось вокруг правительственной заготовки хлеба от населения. Тут царил неслышанная вакханалия воровства. Под правительственной фирмой многие должностные лица, вплоть до самого главы врангелевского правительства Кривошеина, спекулировали вовсю. Агенты крымского внешторга выменивали хлеб на товар. Интендантство, делая закупки для войск, расплачивалось обесцененными бумажными деньгами, пачками голубеньких пятисоток, которые звали «хамсой»*. Крестьяне, конечно, предпочитали получать плату мануфактурой и избегали сделок с интендантством. Последнее прибегло к принудительной реквизиции, вызвавшей осенью новый взрыв народного воля.

Неурядица царил везде и всюду. Все бились в судорожной агонии, желая хоть лишний день, хоть лишний час пожить вольготной жизнью. Хоть день, хоть час, да наш. И все кормились и наживались от крестьянина. Какую ценность могли иметь при таких условиях заботы вождя о благе крестьянина, хлеб которого принудительно забирали интенданты, лошадей или реквизировали, или до смерти загоняли при выполнении подводной повинности, сыновей под конвоем тащили в запасные части, а хаты заполняли непрошеными гостями?

Крестьянин был самое бесправное существо среди властной военщины. Каждый считал себя вправе командовать им, вмешиваться в его даже личную жизнь. В дер. Мордвиновке один крестьянин во дворе ругался с женой, — казаки комендантской сотни арестовали его. Казначей нашего штаба шт.-кап. Красса в Ново-Васильевке сблизился с одной молодой молоканкой, которая была выдана в дер. Астраханку, но бросила мужа и вернулась к родителям. Возник спор из-за приданого. Вмешательство

* Х а м с а — мелкая черноморская рыба, на манер сметков.

шт.-кап. Крассы разрешило дело. Когда штаб переместился в Астраханку, он отправил караул, охранявший денежный ящик, в дом покинутого супруга. Вооруженные казаки исполнили миссию блестяще, погрузив на подводы все, что считали приданым.

Такое хозяйничанье считалось в порядке вещей.

Врангель шел со своей «русской» армией «спасать» народ. А этот народ руками и ногами отбрыкивался от этого спасения.

Чтобы хоть как-нибудь заманить крестьянскую молодежь в армию, Врангель, такой враг партизанщины, пошел на уступки. Уже в конце июня в деревнях заперестрели на заборах воззвания каких-то «атаманов батьки Махно», по всей вероятности мифических, Павленко и др.

«Русская армия, — гласили они, — теперь отстаивает как раз то, что надо русскому народу и за что борется Махно. Посему записывайтесь в наши отряды, формирование которых разрешено Главнокомандующим».

Этот трюк тоже не удался.

Махно, бесспорно, пользовался симпатией, но отнюдь не трудового крестьянства, а лишь бандитских элементов деревни. За полгода жизни в деревнях я ни от одного крестьянина не слышал иного отзыва о махновцах, как о грабителях, которые каждый раз, как появлялись, увозили из деревни целые возы награбленного добра. Немало сожженных домов в немецких колониях краше всяких слов говорили о характере деятельности этого тоже спасателя отечества.

Все, кто любил Махно, давно уже «мобилизовались» и в это время громили под знаменем батьки тылы красных. Только одному «атаману» Володину удалось, с разрешения Врангеля, на вербовать в Таврии шайку в 50 головорезов, которая сейчас же начала громить тыл белых. Разъяренный Врангель приказал схватить и расстрелять Володина⁸⁴.

Таким трагическим эпизодом начался и закончился союз «русской армии» с «войсками Махно»⁸⁵.

Если крестьянская молодежь ни за что не хотела идти добром ни к Врангелю, ни к Махно, то неволя загоняла ее в зеленые банды.

Еще в 1918 году в Крымских горах появились представители этого сомнительно-идейного движения. Эс-эры видели в зеленых протест народных масс против генеральской и пролетарской диктатуры и лезли из кожи, чтобы

приклеить зеленым эс-эровский ярлык, приписать им эс-эровскую идеологию.

Зеленые, действительно, при белых заявляли протест против белых, при красных — против красных. Но если бы и эс-эрам удалось захватить власть и завести кой-какой порядок, они протестовали бы и против эс-эров, равно как против другого государственного строя, за исключением пугачевщины. Зеленые олицетворяли анархическое, разрушительное начало, неизбежный последыш страшного социально-политического кризиса. Говорить о наличии у них какой-нибудь определенной идеологии более чем странно. В зеленые шли все, кому было противно подчиняться власти и признавать стеснительные нормы закона. У них находили пристанище дезертиры, обычные любители легкой наживы и те, кому грозила судебная кара.

В Крыму во главе зеленых банд, бродивших в горах, стоял легендарный капитан Орлов, сначала сподвижник ген. Слащева, а затем его враг.

В январе и феврале 1919 года, в период колебания владычества белых, он захватил на несколько дней власть в Симферополе, образовав так называемую обер-офицерскую организацию. В это время всеобщего разочарования в гражданской войне в Крыму росло и зрело недовольство генералитетом, особенно начальником края ген. Шиллингом⁸⁶, который запятнал себя спекуляциями с валютой и другими проделками, обеспечивая себе безбедное существование за границей. Другие генералы тоже подражали ему, пользуясь своим всевластием и безответственностью.

Пешки предвидели, что генералы в один прекрасный день сбегут за границу со своим благоприобретенным добром, любезно предоставив их шеям расплачиваться за белое движение. Кое-где стали подумывать о том, что не мешает установить за генералами надзор и, во всяком случае, не отпускать их за границу. Капитану же Орлову пришло на мысль просто-напросто ликвидировать в Крыму генеральскую власть. Однако Слащеву удалось справиться с ним. Вынужденный бежать в горы, энергичный молодой человек, преследуемый властью, объединил вокруг себя шайки дезертиров и бандитов и начал партизанскую войну с правительством, нападая на должностных лиц, подвергая ограблению целые местечки и т. д.

Другой вождь зеленых, капитан Макаров, адъютант бывшего командующего Добровольческой армией ген. Май-

Маевского, мстил за своего брата, повешенного контр-разведкой.

Татарское население, терроризированное зелеными, а отчасти и наживаясь от них, давало им приют, снабжало продовольствием, предупреждало об опасности, прятало в горных дубрах и т. д., так что они оставались неуловимыми. Слабые отряды государственной стражи (полиция), умевшие успешно воевать с мирным населением, ничего не могли поделать с засевшими в горах шайками. В конце концов для истребления зеленых Врангель начал формировать тыловую армию, поручив командование ею генералу Носовичу. Но было уже поздно, так как и фронтовая армия дрогнула. Красная власть быстро справилась с этой заразой.

В Северной Таврии, в районе города Ногайска, вдоль азовского побережья, подвизался партизанский отряд Голика⁸⁷. Он работал в союзе с большевиками и являлся вечной угрозой нашему штабу, пока мы стояли в Мордвиновке. Наша пешая комендантская сотня несколько раз выступала против него. В августе Голик напал на дер. Царедаровку, откуда происходила отправка хлеба в Крым морем, и на дер. Покровку, где стояло много тыловых учреждений.

Правые-хотели создать из Крыма монолитную Вандею. А между тем сама наша армия, воюя там, все время была окружена тысячью Вандей различной окраски.

О завоевании всей России при таких условиях могли думать только глущы.

XV. В глубоком тылу

Война продолжалась.

Донской корпус, теперь уже конный по преимуществу, то облегчал операции других частей армии, то совершал смелые самостоятельные рейды на восток, доходя к северу до Юзовки (в каменноугольном районе) и к югу до г. Мариуполя (на Азовском море). 2-я донская дивизия (бывшие мамонтовцы) пользовалась в Крыму такой же боевой репутацией, как и «дрозды», дроздовская дивизия, которую не без основания именовали «каретой скорой помощи».

Красные на нашем участке по-прежнему не оказывали большого сопротивления. Их полки и дивизии, кое-как

сбитые, плохо одетые и еще хуже обученные, не выдерживали натисков лихой, испытанной кавалерии и легко сдавались в плен, втыкая штыки в землю.

— Ваньки... Что с их взять! Разве они могут драться, как наша братва или как буденовцы,— смеялись казаки.

Я видел одну группу пленных «Ваньков». Кажется, были вятские. Попробовал заговорить о том, понимают ли цели войны. Очень слабо.

— Там у вас, мы думали, цветы круглый год цветут и птица разная. И море, говорят, теплое. Всякого овощу хоть отбавляй.

— Что ж, не ошиблись.

— Да, поели. Арбузов таких у нас нет и в заводе.

Крестьяне занятых нами деревень жаловались на то, что красноармейцы северных губерний очень уж были падки на арбузы и дыни, которые видели впервые и которые съедали еще незрелыми, не понимая в них толку.

— Любили эти «новгородские» и «вячские» по баштанам ползать. «Помилуй, скажешь, товарищ, ты ведь трогаешь чужое». «Да что ж, отвечает, у вас этого добра много, как у нас репы. А у нас дома так уж заведено: репа да горох сеются для воров. Так уж водится, что все опользуются». Вот и поговори с ними.

— А больше не причиняли szkody?

— Были меж них всякие. Больше брали с голодухи. «Вячские» и «новгородские» ходили и выпрашивали. «Дяденька, дай крынку молока... Дяденька, дай парочку яиц». А как забрали ваши в плен, так совсем парни приутихли. Трое суток их не угоняли в тыл.— «Что, говорю, молока тебе или яиц?» — «Нет, дяденька, теперь хорошо бы ломтик хлеба да водицы». Перемолола врангелевская мельница, так и хлебом стали довольны.

Мельница Врангеля на многих участках, действительно, молола красные части. Занятая польской войною, Советская Россия посылала против нас свою военную заваль, легкие победы над которой превозносились до небес услужливой прессой. Но эти победы в конце концов стали опасными, так как и без того многолюдный тыл пополнялся громадным количеством пленных, которые требовали пищи, квартир и вооруженной охраны. В случае их серьезного бунта положение могло стать критическим.

Пленные до того сделались в тягость, что донцы под конец ограничивались рассеиванием красных частей.

Ген. Гусельщиков однажды захватил в дер. Елисеевке чуть не половину 42-й советской дивизии и отпустил всех красноармейцев с миром, порекомендовав им расходиться по домам и не участвовать в дальнейшей гражданской войне.

В Северной Таврии, а в Крыму тем более, к осени начало сказываться истощение материальных средств. Недоставало лошадей для замещения постоянной убыли конского состава. Крестьяне все с большей и большей злобой относились к реквизициям. В богатейшем три месяца тому назад крае мясо добывалось с трудом. Голодная саранча быстро объела население.

«Русская» армия толклася на одном месте. Это ни к чему путному не приводило. Нужен был какой-нибудь новый план. Иначе к зиме все равно придется уходить из опустошенной Северной Таврии и забираться в совершенно истощенный Крым, где голод вызовет неминуемую сдачу.

Посольства из соседних губерний с приглашением княжить и владеть не приходили. Восстания на близкой к нам Украине, конечно, разгорались, но больше в воображении газетных борзописцев. Поэтому решено было создать очаги для борьбы с большевизмом в казачьих областях, переправив туда небольшие отряды.

В июле бросили пробный шар.

Донской полковник Назаров, вояка из народных учителей, начал вербовать «десант», в который записалось несколько сот безработных донских офицеров. Великое множество беженцев-стариков, мечтавших как-нибудь вырваться из Крыма, с радостью согласились участвовать в назаровском предприятии, рассчитывая сейчас же по высадке десанта улепетнуть из отряда.

Так и случилось. Едва только произошла выгрузка у станицы Ново-Николаевской (между Мариуполем и Таганрогом), как началась сильная утечка партизан. «Дидки» все разбежались по хатам. Сам Назаров с небольшой кучкой офицеров успел прорваться с азовского побережья на Дон, переходил там из станицы в станицу, то прятался в степи. Когда, наконец, вся его банда рассеялась, он, под видом красноармейца, добрался до действовавшей против нас XIII армии и удачно перебежал к белым⁸⁸.

Таков был результат всей этой операции, несерьезность которой оценили на Дону. Там, у казаков, происходило то же, что и в Таврии. Народ разочаровался в пользу гражданской войны, понял тщетность сопротивления Со-

ветской власти и предпочитал худой мир доброй ссоре.

На Кубани дело обстояло несколько иначе.

Кубанские казаки за время гражданской войны необычайно разжились, основательно «пощупав» Россию под знаменами Шкуро и Покровского. Отяжелев от добычи и распропагандированные радой, они при подходе красных в 1920 году воздержались от сопротивления, отступили на черноморское побережье и здесь заключили мир с красным командованием.

Однако и советские порядки пришлось не по нутру этим избалованным во время войны людям. У них скоро началось «отрезвление от большевистского угара», как писали белые газеты. Недовольные «линейцы»* начали убегать в предгорья Кавказского хребта, «черноморцы»** — в камыши в низовьях Кубани. Более способные к организации великороссы — «линейцы» объединились вокруг пол. Фостикова, который летом поднял форменное восстание в Лабанском и Баталпашинском отделах. Хохлы же «черноморцы», забившись в норы, сидели в бездействии, заслужив даже от своих одностаничников презрительную кличку «камышатников».

Зная все эти кубанские настроения, Врангель решил высадить туда более солидный отряд.

Началась подготовка кубанского десанта.

Безработные казацкии воротили зашевелились. Кто из них не убежал за границу, тоскливо мыкался по Крыму. Как только заговорили о перенесении войны в казацкии области, эта публика почуяла близкое возвращение того благодатного времени, когда можно говорить, интриговать, изображать из себя государственных деятелей и получать за это хорошие оклады.

Врангель, чтобы не нажить в лице этой мелкотравчатой публики врагов в самом начале своего нового предприятия, не мешал ей отводить душу. Разрешая кубанской раде и Донскому кругу, точнее остаткам их, собраться для заседания в Крыму, он предвидел, что после сидоринской истории у многих появится желание не распоясываться чересчур.

* Линейцы-казаки, поселенные в эпоху кавказских войн вдоль так наз. «линии», укрепленной пограничной полосы, за которой жили горские народы.

** Черноморцы-казаки, потомки запорожцев, поселенные на Таманском полуострове и на азовском побережье (Таманский, Ейский и Екатеринодарский отделы).

Горемычные «хузяева земли донской» после новороссийской эвакуации попали в Константинополь, где, позабыв о всякой политике, сосредоточили все свое внимание «на донском серебре». В состав последнего входили и музейные ценности, и войсковые регалии, и громадная мамонтовская добыча, принесенная в 1919 году ген. Мамонтовым в дар Дону. На это богатство все теперь точили зубы — атаман, правительство, круг. Каждый хотел чем-нибудь поживиться от этого источника.

Однако желание поиграть в государственность было еще так велико, что «хузяева» не замедлили прибыть в Евпаторию, оставив в Константинополе «серебряную комиссию», которой поручили зорко следить, чтобы атаманские агенты не загнали донских ценностей иностранцам.

Заседания круга прошли монотонно и бесцветно. Хотя тут разглагольствовали те же самые персоны, что и при Краснове, но теперь от их величия и самообольщения не осталось и следа. Упоенные торжественным открытием первой сессии круга, тогда они смело отправили приветственную телеграмму английскому парламенту, который им ничего не ответил. Теперь даже не рискнули приветствовать собрата по несчастью — тоже бездомную кубанскую раду.

Здесь, в царстве Врангеля, крылья были подрезаны. О сидоринской истории немногие осмелились заикнуться. Больше критиковали Богаевского за его вялость и бездеятельность. Заговорили о замене его кем-нибудь другим.

— Но кого выбрать? — рассуждали «хузяева». — Абрамова? Но ведь его первым правительственным актом будет разгон круга навсегда и отправка всех членов его на фронт, в передовые части. Гнилорыбова? Но у того еще борода не отросла, да и ветер у него в голове гуляет, и семь пятниц на неделе. Генерала Татаркина? Этот погряз в благочестии, министрами назначит попов, а заседания круга заменит молебнами.

Перебрали всех донских генералов и политических деятелей в погонах*, — лучше Богаевского никого не нашли.

На нем и порешили: пусть останется старый. Хоть не мудрый, так не злой.

* По Донской конституции, атаманом мог быть избран только военнотрудовой.

Особая депутация от круга, во главе с атаманом, отправилась на фронт приветствовать донской корпус.

Большинство фронтовиков, знавших только одно ремесло — войну, презирали и круг и раду, рассматривая их членов как дезертиров.

— Круг кружится, рада радуется,— острили на фронте.

— В свою жизнь я бывал в публичных домах и первого, и второго, и десятого разрядов, но в таком заведении, как ваше, признаться, впервые. Не знаю, к какому разряду и отнести его,— говаривал Шкуро членам рады.

На Дону тоже ходил рассказ о том, как лихой донской конник ген.-лейт. С., явившись в круг, после одного геройского дела, по обычаю, в нетрезвом виде, так приветствовал донских «хузяевов»:

— Господа, вас здесь триста членов, но все вы не стоите моего одного...

В Крыму на этот раз отличился полк. Гриша Чапчиков.

В то время, как депутация круга прибыла в Мелитополь, вождь калединовцев находился подле этого города, в дер. Песчанке, где размещалась тыловая база полка. По случаю полкового праздника Чапчиков устроил скачки, на которые явился Богаевский, сопровождаемый депутацией. Торжество закончилось скандалом. Пригласив атамана к себе в комнату на пирушку, безрукий герой подошел к окну и крикнул «хузяевам»:

— А вы чего тут еще торчите, сволочь? Угощенья небось дожидаетесь? Ну, а извольте ответить мне, кто из вас на круге поднимал вопрос о том, чтобы повесить меня за то, что я в Туапсе исполосовал ногойкой одного вашего мерзавца? Па-апробуйте повесить. Давайте потягаемся, кто кого сильнее.

Несчастные народные избранники, стоя на площади среди калединовцев, замерли от ужаса. Фроптовые казаки очень недружелюбно поглядывали на них и шипели:

— Хузяева... Плетями бы их на фронт... Тоже нашлись хреновые политики.

Насилу атаман утихомирил буйного калединовского вождя.

Врангель отлично сознавал, что в данное время казачьи демократические учреждения потеряли свое политическое лицо, что члены их обратились в простых обывателей, у которых на первом плане стоит шкурный интерес. Разре-

шая им говорить вволю, сам он с ними вовсе не желал разговаривать и перед отправкой десанта на Кубань заключил договор, минуя эти представительные учреждения, непосредственно с казачьими атаманами. Соглашение, заключенное в Севастополе под звон бокалов шампанского, о чем, не стесняясь, писали газеты, предусматривало будущие взаимоотношения главнокомандующего и казачьих правительств, когда последние вернуться в свои вотчины.

К августу план десантной операции на Кубань был окончательно разработан. Оставалось его осуществить. Во главе десантного корпуса Врангель поставил генерала Улагая⁸⁹, черкеса по происхождению, вполне приличного человека, прекрасного рубаку-кавалериста, но полководца сомнительных качеств.

1 августа началась высадка улагаевских войск у станции Приморско-Ахтарской, откуда и начали развиваться операции. Еще войска не успели занять пары селений, как уже начался дележ шкуры неубитого медведя. Улагай, во всем покорный Врангелю, назначал свою администрацию, кубанский атаман посылал другую, рада готовила третью. В Керчь, место переправы на Кубань, уже съезжались администраторы для всей Кубани.

Как раз в этот период мне пришлось выехать из Северной Таврии в Севастополь по делам службы.

Дорога была не совсем безопасна. Хотя наши боевые операции вышли за пределы Таврической губернии, но общее наше положение все время висело на волоске, благодаря каховской болячке. На высадку кубанского десанта красное командование ответило нажимом со стороны Каховки. Обескровленный бывший слащевский корпус не мог оказать серьезного сопротивления, и красные распространились на восток. Мелитополю грозила опасность.

В офицерском вагоне битком набито. Среди английских сумок и чемоданов немало мешков с фруктами и бочонков с маслом.

— Казенный груз? — с улыбкою спрашиваю одного офицера, «химического», так как погони на его белой рубахе наведены химическим карандашом.

— Что ж поделаешь! Кормиться в тылу чем-нибудь надо, особенно семейным. Вы на фронте кормитесь у крестьян, а попробовали бы жить в Севастополе или в Евпатории, не говоря уже про Ялту. Цены безумные и

скачут поминутно. Слышали, что творится в вашем донском офицерском резерве?

— А что?

— Не от добра же пошли люди на верную смерть с Назаровым. Он и сам предупреждал об опасности, и кругом везде говорили, что десант поведут на убой. И все-таки шли. Почему? Чем белый голод в Крыму, — лучше красная пуля на Дону. В резерве самоубийства чуть не каждую неделю. «Прощайте, друзья, — написал один перед смертью, — но ненадолго, потому что скоро все равно подохнете с голоду, если не последуете моему примеру».

— Ночью разъезды красных кружились возле Рыкова. Проедем ли благополучно эту станцию? — громко сообщает на ст. Сокологорное интендантский полковник, входя в вагон.

Настроение падает. Близость опасности связывает языки. Зато вовсю работают зубы, яростно уничтожая арбузы, сладкие, сочные.

— Трр... рр... рр... рота за мной, в атаку! Бей красную сволоочь! — до костей пронизывает весь вагон чей-то болезненно-неистовый голос.

Затем треск разбитого стекла, возня, ругань.

— Нервноблженной корниловский офицер, — поясняет спекулянт в погонах, заглянув в соседнее отделение, — повлияло известие о близости красных. Сильно порезался. Сейчас в обмороке.

В Рыкове все благополучно.

В наш вагон залезает новый персонаж. Небольшой, но хорошо сложенный старик в чине капитана. Из-под форменной фуражки выбиваются пряди седых волос. Душно, жарко. Трудно понять, зачем напялил на себя новый пассажир форменный полицейский мундир, прицепив к нему вдобавок колодку со множеством знаков отличия, вплоть до медали в память трехсотлетия дома Романовых.

— Присаживайтесь хоть на мешок. В Севастополь?

— В Керчь.

— По полиции?

— Да. Был в Таврии приставом, теперь назначен полицеймейстером в Новороссийск.

— Как в Новороссийск? Разве его взяли?

— Не взяли, так пока еду — возьмут.

— Для вас специально? — ехидно спрашивает с верхней полки молодой поручик, свешивая к нам голову. — Вот и мой командир полка, запасного, тоже ждет не до-

ждется, когда возьмут Ставрополь. «Хочу, говорит, служить там в комендантах, а нет, так и в губернаторах! Мы, говорит, тоже не святой боже. У меня, говорит, балы будут во какие, первый сорт. И оркестр превосходный». Он у нас большой знаток музыки. Зашел раз в собрание на вечер и изумился. «Чего же это так глухо оркестр наяривает?» — «Резонанса в хате мало, господин полковник»; — ответил адъютант... «Резонанцу? Так зачем дело стало, Михайлыч... У нас такая агромадная хозяйственная сумма, а вы не купите. Беспременно купите. Не найдете здесь, командуйте человека в Севастополь за резонанцем... штоб не хуже других». Губернатор будущий!

Полицейский презрительно гримасничает.

— Уж не за резонанцем ли вы и командированы в Севастополь? — режет владделец бочонка с маслом.

— А вы разве и этим спекулируете?

Разгорается ожесточенный поединок, в котором оружием служит остроумие.

Где ни послушаешь, везде одно и то же: или беспроблеменная критика всех и вся, или разговоры о ценах на сало, масло, овощи.

О «Великой, Единой» и т. д. ни слова.

«У армии не было души, а фронт не был одушевлен идеей», — говорит Г. Н. Раковский в своей книге «Конец белых».

И не ошибается.

Опасную зону миновали. Поезд медленно продвигается по Чонгарскому мосту, восточному горлышку крымской «бутылки».

Проверка документов. Разумеется, все едут с разрешения начальства и по неотложным служебным надобностям. Вот толстый чиновник в земгусарской форме⁹⁰ везет «секретный пакет в штаб Главнокомандующего», а на площадке нашего вагона его клетка с петухами не дает прохода пассажирам.

В Севастополе нагляднее всего сказывалась сущность белого стана и того социального строя, который защищала «русская» армия.

Даже в господствующем классе, офицерском, замечалось резкое экономическое неравенство. На фоне полуголодного существования большинства отблескивалась роскошная жизнь избранных.

Великое множество офицерства служило в гарнизонных частях на ролях простых солдат. Положение их

было таково, что единственное удовольствие, которое они могли себе позволить, это дышать свежим воздухом. Примерно так же или чуть-чуть лучше жили те, кто не занимался из трусости или честности казнокрадством и спекуляциями, довольствуясь жалованьем. Мой товарищ, военный прокурор севастопольского военно-морского суда, ген. И. С. Дамаскин, бегал по урокам, чтобы как-нибудь прокормить свою крошечную семью.

И в то же время рестораны кишмя кишели «пискулян-тами» в погонах, разными завхозами, командирами, которые давно уже забыли делать различие между своими и казенными деньгами.

— В наше время без денег сидят только дураки, — случилось мне не раз слышать.

«Великая, Единая» и т. д. в Севастополе отошла еще на более отдаленный план, чем у героев близкого тыла.

— Даю фунты... беру лиры... продаю хлеб... нужен одеколон... Гони деньги на бар — вот мой товар.

Только вокруг этого сосредоточивалась жизнь одних.

— Где бы до воскресенья стрелнуть «хамсы», починить бы брюки, — размышляли в это время другие.

С Константинополем шла оживленная частная и государственная торговля. Туда отправляли хлеб, оттуда везли мануфактуру, колониальные товары, парфюмерию, всякие предметы роскоши. Создавались фиктивные командировки в Царьград со спекулятивными целями. Спекулировало столько должностных лиц, что, когда правительство издавало закон о борьбе со спекуляцией, в шутку говорили, что министры хотят убить своих конкурентов. По приказу Врангеля, ялтинский военно-полевой суд присудил двух спекулянтов-евреев к 20 годам каторжных работ. Через самое короткое время они находились на свободе. После этого больше уже никого не судили за спекуляцию.

Кто не спекулировал, начинал красть, если имел возможность. Иной ради покупки новых штанов, другие ради ужина с какой-нибудь эффектной «фунтоловой». Так звали в Севастополе самых изящно одетых женщин, оценивавших свой поцелуй в фунт стерлингов. Более доступные носили прозвище «лирических» или «m-me Лирских»*, а самую уличную шантрану титуловали «принцессами долларов».

* Турецкая лира в царское время равнялась 10 рублям.

В городе дело дошло до такой тесноты, что немало офицества спали на бульварах. Некоторые военные судьи военно-морского суда ночевали в канцелярии своего учреждения. Я случайно започевал у одного полковника, — оказалось, что громадная, прекрасная квартира его хозяев пуста. Ларчик открывался просто: этот полковник занимал видную должность в комендатуре и из любезности спасал квартиру от постоя. Эти любезности дорого обходились тем, кто даже в швейцарской не находил себе пристанища.

В тех редких случаях, когда нарушители закона попадали под суд, судьи ахали от изумления, когда читали послужные списки подсудимых. В них перечислялись прошлые отличия и подвиги тех, кто в данное время занимал скамью подсудимых по обвинению в самых бесо-вестных подлогах и растратах. Перед судьями стояли герои мировой и гражданской войн, рыцари долга и чести, и не поднималась рука подписывать приговор, — хотя бы и фиктивный, так как потом все равно всех миловали.

При создавшемся положении Врангель был бессилен помочь офицерству. Платить натурой правительство не могло, а деньги ничего не стоили. Жалованье увеличивалось в арифметической прогрессии, а цены в геометрической.

Голодная оппозиция разрасталась. Даже в военной среде, правда, очень глухо, порою раздавался ропот и шли разговоры о желательности перемирия во избежание худшего исхода — голодной смерти. Врангель издал приказ, воспрещавший такие толки, грозя слушникам высылкой в Советскую Россию. Применение этого закона не замедлило произойти. Один отставной генерал и несколько гражданских лиц были отвезены, если не ошибаюсь, на Кинбурнскую косу в Черном море, и оставлены там на произвол судьбы.

Нельзя сказать, чтобы выселенные слишком роптали. Старые донские казаки только потому и пошли с Назаровым на Дон, что хотели вырваться из Крыма. В мае, еще до наступления, очень часто офицеры дезертировали в Одессу на парусных судах. Однажды уехал туда мой старый товарищ еще по 130 пех. Херсонскому полку, где я служил до Академии, капитан Петров, либеральный человек и лишь случайно оказавшийся в белой армии. Таких, как он, набралась в Евпатории целая группа. Я был посвящен в их предприятие. За последние крохи они наняли

судно и уехали. Вскоре после этого я читал в крымских газетах, что «наш миноносец задержал около Ак-Мечети парусную лодку с группой офицеров, направлявшихся в Одессу». Было ли это судно, на котором выехал мой товарищ, выяснить не удалось.

Даже среди офицерства находились такие, которые предпочитали Совдепию «Великой и Неделимой».

И не удивительно.

Голод не только побуждал людей красть казенное добро, но и выходить на открытый грабеж. Столица Врангеля стонала от разбоев. Во время моего пребывания какая-то банда вечером совершила несколько дерзких нападений на прохожих у самого входа на Исторический бульвар.

Иностранцы чувствовали себя завоевателями. 65 лет тому назад настоящая русская армия здесь мужественно отстаивала от них каждый клочок земли⁹¹. Теперь русская армия в кавычках трогательно браталась с иностранцами. Я сам видел днем пьяных французских моряков, которые горланили песни на Нахимовском проспекте и задевали женщин. Полицейские немели при виде «союзников». Русские офицеры старались не замечать развлечений этих представителей «благородной Франции».

Но какой ни царил в городе пьяный разгул, сколько ни устраивалось вечеров и гуляний, в Севастополе пахло мертвечиной. Политические деятели, не служившие у Врангеля, или уже перекочевали в Европу, или складывали чемоданчики. Шумели только могильщики белого стана — черносотенцы, распевая о будущем благоденствии России под скипетром Романовых. Кроме того, дюжина выживших из ума генералов и профессоров, ударившись в схоластику и мистицизм, гнусавили, какую-то белиберду в своем религиозно-философском обществе.

Черносотенными воплями и замогильным чернокнижием исчерпывалось идейное содержание общественно-политической жизни этой мертвенно-тоскливой эпохи.

О фронте в Севастополе вспоминали редко. На него смотрели как на скверного беспокойного ребенка, которого кое-как удалось сослать в деревню к дальней тетушке. Никому не хотелось думать о том, что он опять вернется, будет близко.

За неделю моего пребывания в Севастополе никто и не пытался расспрашивать меня о том, как живут на фронте, каково настроение крестьян, хотят ли они гражданской войны, что говорят пленные о Советской России и т. д.

А я ведь вращался среди наиболее мыслящего, образованного офицерства.

Если когда и задавали мне вопрос, то разве такой:

— А что, ваши донцы не собираются перебежать к красным?

И, вспомнив, что я служу в донском корпусе, не могли не добавить:

— Всем бы Вы хороши, да одно плохо: служите у казаков.

Сепаратизм давал себя знать и в эту эпоху.

Когда же я начинал рассказывать о том, как проходят, или, вернее, вовсе не проходят наши мобилизации, как истощено население и т. д., меня перебивали:

— Ах, знаете, бросьте это... Противно обо всем этом говорить... Забыться бы и ничего этого не слышать, — говорили одни.

— Скорее бы конец всему... Надоела эта агония... — слышалось еще чаще.

На Кубани нас постигла неудача.

Общего восстания не произошло. Одни только потерявшие образ и подобие человеческого «камышатники» присоединились к отрядам ген. Бабиева, Казановича, Шифнер-Маркевича. Несерьезность предприятия бросалась в глаза всем, и это удерживало от присоединения к белым даже тех, кто искренно хотел их власти.

Еще более отталкивало поведение администрации и начальствующих лиц. Белые ничего не забыли и ничему не научились. В Таманской станице один администратор выпорол казака за то, что тот ему не поклонился.

Генералы, начальники колонн, соперничали друг с другом в стремительном движении на Екатеринодар, куда каждому хотелось придти первым. О выполнении общего плана не думали и вели операции каждый на свой страх и риск. В результате красные едва не отрезали от берега весь десантный корпус. Началось такое же быстрое возвратное движение. Насилу удалось пробиться к побережью и под неприятельским обстрелом погрузиться на суда⁹².

Эта двадцатидневная экспедиция весьма наглядно показала, что силы и моральный авторитет белого стана выдохлись и что предводителям его пора сматывать свои удочки.

О провале затеи официально объявили с запозданием. Прекращение операции на Кубани, — как уверял Врангель, — произошло в силу начавшегося наступления поля-

ков, в связи с которым нам следует обратить свое внимание не на восток, на казачьи области, а на запад, на Украину.

С опустошенной душой уехал я из Севастополя. Там, вблизи фронта, в деревнях Северной Таврии мы жили идиллической жизнью, и постоянный грохот орудий менее нервировал, чем веселая музыка шикарных ресторанов, переполненных явными казнокрадами, спекулянтами и продажными женщинами. Интересы этого-то народа защищала «русская» армия!

— Странно, — размышлял я в поезде, глядя на двух своих соседок. — Вот я пробыл неделю в Севастополе и, живя на свое скромное жалованье, ни разу не мог пообедать, как следует, не говоря уже о таких деликатесах, как сыр или колбаса. А вот эти двое, — видимо, офицерские жены, раз едут в нашем вагоне, — битых полчаса услаждают свою утробу и рокфором, и краковской, и икрой. А ведь моя должность не так уже маленькая.

Разговорились.

— Сестры Подольские, — отрекомендовались мне женщины, хотя мало походили друг на друга. Одна брюнетка с продолговатым, чувственным лицом, с глазами кокаинистки. Другая анемичная блондинка с головкой величиной в кулак.

— К мужьям, наверно, на фронт?

— Нет. Мы еще девицы.

— Не сестры милосердия?

— Тоже нет.

Наконец шепотом сообщили:

— В разведывательном отделении штаба Главнокомандующего служим. Едем в Мелитополь. Там переоденемся крестьянками и отправимся в расположение красных.

В доказательство показали удостоверения. Все честь-честью. Знакомые подписи. Сомнений нет — агенты штаба.

Через неделю я встретил их в мелитопольском саду крикливо разодетых и изрядно наштукатуренных.

— А как же разведка? Скоро в крестьянское платье?

— Ха-ха-ха... Нам приятнее тут производить разведку... Заходите... Наш адрес: Песчанка, дом Кащенко. Будем ждать, особенно если заглянете со спиртом.

И, обдав меня многообещающим взглядом, поспешили вернуться к двум солидным мужчинам армянского типа, которые, сидя на скамейке, неприязненно поглядывали на меня, очевидно, приняв за конкурента.

XVI. Черные вороны

Теперь внимание главного командования обратилось на запад.

Советские войска потерпели поражение под Варшавой, поляки наступали. Врангель решил идти им навстречу. Но его крошечная армия была способна только продвигаться за Александровск, ближайший к Крыму уездный город Екатеринославской губернии, и на короткий срок занять узловую станцию Синельниково. Это произошло в сентябре и явилось кульминационным пунктом успехов врангелевского оружия.

Вскоре начались рижские переговоры⁹³. В Советской России был выкинут очередной лозунг: «Все на Врангеля», и в Крыму запахло гарью. Скорый роковой исход затеянной авантюры стал неизбежным. На милость победителя никто не надеялся. Упования возлагались только на быстротходность крестьянских лошадей и пароходов торгового флота.

О покровительстве святого Николая Чудотворца, в честь которого вождь учредил особый орден, никто не вспоминал, за исключением духовенства.

«Архипастырь христоролюбивого воинства» епископ Вениамин не унывал. Этот 35-летний архиерей, — кто-то его назвал «Шкуро в рясе», — разъезжал по тылу и фронту, говорил мудреные речи, развозил скуфьи и камилавки военным священникам и свое пастырское благословение пастве. В Б. Токмаке он громил русскую интеллигенцию, неспособную на жертвенный подвиг для святого дела. Его заумная демагогия порой заходила так далеко, что офицеры возмущались, считая, что такие проповеди бесповоротно подрывают их авторитет в глазах простых казаков.

Но казенные, вычурно-риторические речи пастыря не могли разжечь пыла, который давно угас. На передовую линию он не рисковал проникать, а вертелся в ближайшем тылу и везде видел, что религия потеряла всякое значение в белом стане. На самые пышные архиерейские службы стекалось ничтожное количество публики, и то больше из любопытства или от скуки.

Наш корпусной священник, «корноп», тоже не жаловал Вениамина, но только потому, что ему, почтенному протоиерею, волей-неволей приходилось склонять свою шею перед этим молодым иерархом. О. Андроник к концу

лета совсем вошел в роль начальника над духовенством Донского корпуса и подчинил его строгому режиму. Бедные попки и дьякона, безвольные, робкие, никому не нужные, везде лишние, дрожали перед «смирненным» протоиереем, зная, что достаточно одного его слова командиру корпуса для смещения их с должности и для изгнания в резерв в Евпаторию, где ждало голодное прозябание.

«Управление» о. Андроника, то есть его штаб, состояло из нескольких священников и дьяконов, нужных корпопу только для богослужения, но отнюдь не для канцелярской работы. Он любил служить торжественно, соборно, окружив себя сонмом духовенства и упиваясь своей первенствующей ролью в богослужении. В дер. Мордвиновке местный священник оказался тоже протоиерей, как и о. Андроник, и притом старше его в этом духовном чине. Чтобы не умалить своего значения в корпусе второстепенной ролью за обедней, наш смиренный служитель Христа ни одного разу не священнодействовал совместно с ним, уступая ему в большие праздники для сослужения своих подручных попов.

Из числа этих последних никак нельзя забыть одного, маленького, невзрачного, прыщавого человечка в рясе, настолько тихого и незаметного, что никому из нас, высших чинов корпусного управления, и в голову не приходило поинтересоваться его именем. Этот отупелый, малограмотный попок в силу своего пастырского долга иногда выступал с проповедями в церкви. Однажды, в той же Мордвиновке, он разразился такой речью по адресу крестьянок, наполнявших церковь:

— Вот у вас, благочестивые сестры, на квартире стоят казаки и офицеры. Вы знаете, мы ведь люди беглые, потерявшие свой кров, свои углы, свои семьи. Вы никого не обижайте ни словом, ни делом, ни помышлением. Напротив, пригрейте, приголубьте, приласкайте своих постояльцев, и господь бог вознаградит вас за это. Не отказывайте ни в молоке, огурчиках или в чем-нибудь другом, если попросят, и получите мзду во царствии небесном.

— Хорошо, что мужиков почти не было в храме! А то ведь за такой призыв приласкать нашего брата они, пожалуй, поломали бы бока этому Златоусту, — смеялись после обедни те из немногих офицеров, которые пренебрегли городским обычаем покидать церковь на время проповеди и до конца прослушали поучение нищего

духом пастыря нищенствующей паствы.

Сам о. Андроник тоже не блистал красноречием и говорил речи только в исключительных случаях. Зато очень часто распространялся, правда, не в церкви, о сущности и значении своей «корпоповской» должности. В ведомостях о наличном составе своего учреждения, представлявшихся иногда в штаб нами, начальниками частей корпусного управления, он, ничтоже сумняшеся, в графе «сколько числится генералов» отвечал «один».

— Как? У «корпопа» служит генерал... Откуда он его выкопал? — недоумевал комендант штаба полк. Греков, когда впервые получил такую ведомость, и пошел объясняться.

— Как какой генерал, — отвечал О. Андроник. — А я-то кто? Все начальники частей корпусного управления по штату должны быть генералами. Что же, вы считаете, что корпусной священник ниже корпусного инженера или инспектора артиллерии?

Упиваясь властью, о. Андроник, однако, не чувствовал себя спокойным в Крыму. Он имел серьезного конкурента, тоже претендовавшего на духовное руководство Донским корпусом. Этот соперник был тем более опасен, что происходил из природных казаков, тогда как о. Андроник появился на Дону лишь во время революции.

Когда в декабре 1919 года донская армия, сбита Буденным, уходила на Кубань, атаман назначил главой военного духовенства викарного епископа Донской области Гермогена (Максимова). Этот пастырь добрый, испытан на своей шкуре тяготы походной жизни, уклонился от зла, счел за благо прямо из Новороссийска отправиться в гости к английскому королю и в 1920 году проживал на о. Лемносе. О. Андроника изводила та мысль, что в случае дальнейших успехов врангелевского оружия Гермоген явится в Крым и отодвинет его на второй план.

— Что это за владыка, который в минуту опасности бросил свое стадо, — возмущенно говорил иногда в компании о. Андроник. — Этим он страшно скомпрометировал себя в глазах казаков. Войско не может уважать такого пастыря.

Осуждая князя церкви, он сам, однако, по-прежнему улетучивался в Евпаторию «ревизовать церкви», как только на востоке или севере собиралась гроза. Зато всякий новый успех «русской» армии окрылял радужными надеждами его пастырское сердце.

— Все новочеркасское духовенство сгону на молебен, как только войдем в свою столицу, — мечтал он в сентябре, когда наш корпус, совершив рейд на восток, занял на несколько дней г. Мариуполь и побывал даже на западной окраине Донской области. — Всех до одного. Устроим торжественный крестный ход кругом города. Пусть будет хоть великий пост, — запоем Христос воскресе и отслужим по пасхальному чину. Впрочем, — с грустью заканчивал честолюбивый протоиерей, — тогда уже обязательно прикатит Гермоген.

Как и следовало ожидать, высокомерие о. Андроника вызвало оппозицию среди донского духовенства. Главным бунтарем оказался некий о. Александр, молодой попик, служивший в управлении корпусного священника писцом. Этот пастырь был очень славный малый, выпить не дурак, не враг и пожировать, знаток веселых анекдотов и любитель крепкого словца. Неугомонного нрава, он скоро начал пикироваться с о. Андроником, а, когда последний стал наседать на него, раскопал и разгласил, что «корпоп» присвоил себе материю, присланную для духовенства всего корпуса. Черные вороны зашевелились, стали поговаривать о жалобе комкору. Вспокоенный о. Андроник, забыв на время уловлять души человеческие, начал ловить менее стойких духовных отцов и задабривать их. Наконец, ему удалось расслоить оппозицию. Общая жалоба провалилась. Один смельчак дерзнул было жаловаться сепаратно, но был тотчас же уязвлен и изгнан в глубокий тыл. О. Александр, спасаясь от гнева «корпопа», поспешил устроиться приходским священником в громадном Б. Токмаке, ознаменовав начало своего пастырского служения обильным излиянием. Однако этим не закончились мелочи иерейской жизни. Глухая борьба донского духовенства с засильем о. Андроника перенеслась и за границу.

Наиболее любопытной фигурой из сонма духовных особ нашего корпуса был пленный дьякон Преполовенский. О. Андроник не разрешил ему священнодействовать, узнав, что у врагов он служил красноармейцем. Опоганил сан. Этот воинственный детина (только небольшой рост мешал ему сравняться с лесковским Ахиллой) и в нашем стане устроился рядовым в комендантскую сотню, облачился в казачью одежду, прицепил шашку и мастерски откозыривал офицерам.

Забавно было видеть его на походе. Его развалистая походка сразу выдавала, что это лыком шитый вояка. Он

и сознательно утрировал свой воинский пошиб, изрядно потешая казаков-зубоскалов. Усердно, не по разуму, исполнял он приказания начальства, забористо ругался с бабами, грубо отшучивался от казаков. По праздникам же неукоснительно являлся в церковь и голосил на клиросе за дьячка.

Однажды, в дер. Ново-Васильевке, разыскивая штабного коменданта, я по ошибке забрел в хату, которую занимали казаки комендантской сотни. В чистой, светлой горнице на деревянной лавке сидел Преполовенский и читал Библию двум «дидкам». Библия — необходимая принадлежность каждой молоканской семьи.

При моем появлении все вытянулось.

Я поинтересовался, о чем они читают.

— Так... из Нового Завета... Одну притчу, — смущенно ответил дьякон.

— Да ты не бойсь, чего ж... Надо — что по-заглаза, то и в глаза, — сказал ему один «дидок» с окладистой бородой, видимо, казак-старообрядец.

— Худа ты не сказал... Господин полковник сами поймут это. Они ведь тоже человек с понятием, — заметил другой.

— Тут, видите ли, зашла речь о моей службе у красных. Старики говорят: все там такие оголтелые, как ты. Уж, говорят, если бы ты был хорошим дьяконом, так дьяконствовал бы. А то — духовная особа, и пошел на фронт кровь проливать. Бес, говорят, ближе тебе, чем бог. И все вы там одинаковы. Много ли пошло путных людей к большевикам? Пусть, отвечаю им, будет так. Так всегда бывает. Христос это и в притче предсказал.

И он затынул своим непристойно-басистым голосом 22-ю главу Евангелия от Матвея:

— «Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Подобно царство небесное человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать гостей на брачный пир, и те не хотели притти. Опять послал других рабов сказать званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои откормленные заколоты и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, пошли: кто на поле, кто на торговлю, — прочие же схватили рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил этих убийц и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. И так, пойдите на

распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедши на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: друг! Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда царь сказал слугам: связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму кромешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных».

— Вот, — продолжал дьякон после паузы, — и выходит так, что знать, интеллигенция всякая, профессора-мудрецы не пошли на большевистский пир, саботировать стали. Пришлось звать людей с ветру, добрых и злых, идейных и голь кабацкую. И так всегда бывает. Вот взять хоть и самого Христа. Пошли разве за ним первоначально сенаторы римские? Не пошли. Так уж заведено. Каюсь, голь я и процелыга, спившийся дьякон, но пошел по большевистскому призыву, как проститутка Мария Магдалина за Христом.

«Дидки» переглянулись. Я молчал, не в силах понять — святоша ли передо мной, самобичующий ли Любим Торцов, или сознательный плут, — быть может, к тому же и тошкый большевистский агент.

— Вот к примеру взять, — ораторствовал разошедшийся дьякон, — если бы опять пришел Христос со своей проповедью, стал бы звать людей отречься от имени, от богатства, кто бы за ним пошел? Толстопузые архиереи, отец Андроник, капиталисты, что ли? Я бы пошел к нему в ученики в первую очередь; я бы, сбившийся с пути дьякон, принес бы ему свои два пенязя и положил бы их к пречистым ногам его. Ну, а вот вы, господа казаки, пожалели бы и шерсти клоч от своих волов, которых у вас, по вашим же словам, дома по шести пар.

— Что ж, они, по-твоему, и Расею будут строить с голью кабацкой? — мягко спросил длиннородый «дидок», не без лукавства поглядывая на меня. — Хулиганты-то, по-твоему, выходит — лучше таких людей, как хоть, к слову сказать, господин полковник, ученый человек?

— Как они будут делать дальше, я не знаю. Маленький я человек, — ответил дьякон, несколько снижая тон.

Он, видимо, начал пугаться и сбивчиво добавил:

— Я ничего... Я не пророк и не сын пророка... Я только объяснил вам, почему у них на первых порах оказалось

много чертоломины всякой... Разве я говорю, что ихняя вера правая. Что вы, бог с вами! Я вовсе не расхваливаю их.

— Вы слышали, — заметил я «дидкам», — как царь очистил брачный пир от тех людей с улицы, которые пришли в неподходящей одежде? То же и у них может случиться.

На этом наш разговор закончился.

Позже я убедился, что Преполовенский не глупый парень, но без руля и без ветрил. Революция вышибла его из колеи обычной жизни. Беспокойная натура втянула его в водоворот событий. Отсутствие твердых убеждений и нравственных устоев помешали ему выдвинуться в красном стане. Взятый в плен, он с легким сердцем стал служить у нас. До меня доходили слухи, что он не особенный ценитель чужой собственности.

В глубоком тылу духовные особы, особенно из числа пришельцев, изнывали от тоски.

Известный черносотенец отец Восторгов⁹⁴ не удовлетворялся таким медленным способом завоевания России, какой избрал Врангель.

— Не крестовый поход врангелевского воинства сокрушит это дьявольское царство, а крестовый ход всего крымского духовенства, с иконами вместо пушек и хоругвями вместо винтовок, — проповедывал он в церквях и в печати. — Увидев это священное шествие, красноармейцы, благочестивые русские крестьяне, благоговейно снимут шапки, вонзят штыки в землю и падут ниц перед святыми иконами. Не пролитием крови сокрушится богоненавистная власть, а силою креста господня.

Печать занялась обсуждением проекта полусумасшедшего протоиерея.

Церковный собор на юге России отнесся отрицательно к этой явно нелепой затее.

— Согласиться с мыслью о. Восторгова, — это значит согласиться испытывать господа бога, требовать от него чуда. Но ведь пути господни неисповедимы. А вдруг чуда не совершится, вдруг красноармейцы перестреляют весь крестный ход? Какой тогда будет соблазн для верующих, — предостерегал публику через печать один из членов церковного собора. — Слов нет, отец Восторгов очень достойный пастырь, но он слишком горяч, слишком экзальтированный человек и слишком далеко уходит от реальной жизни.

Как в тылу, так и на фронте духовные особы не на шутку переполошились, опасаясь, как бы и на самом деле не отправили их с крестным ходом на верную гибель, и всячески протестовали против такого «испытания крестом». Офицеры просто потешались над всей восторговской затеей, от которой веяло затхлостью средних веков.

«Христолюбивый» вождь хотя и «творил чудеса» сам, но плохо верил в божье чудо и тоже не одобрил проекта Восторгова.

Духовенство, провалив такой явно опасный для своей жизни способ борьбы с большевиками, предложило другой, более безвредный план призвания на помощь божественного промысла. С согласия Врангеля, церковный собор назначил на 12, 13 и 14 сентября строгий пост для всего врангелевского государства. Каждому верующему предлагалось в эти дни покаяться в своих грехах и причаститься святых тайн. После же обедни 14 сентября настоятелям церквей было предписано совершить обряд поклонения кресту по архиерейскому чину.

«Покаянные», или «постные», дни опять-таки ничего, кроме смеха, не возбудили на фронте. Мы, штабные, встретили их с озлоблением. В это время административная часть штаба стояла в чистеньком городке Гальбштадте, столице меннонитского царства. Практичные колонисты так хорошо припрятали все припасы, что у них ничего не удавалось ни купить, ни реквизировать. Проживая в прекрасных, чистых квартирах, обставленных, можно сказать, с роскошью, мы буквально голодали, с грустью вспоминая сытую жизнь в скромных молоканских хатах Ново-Васильевки. В этот осенний период мы уже ели не то, что хотели, а что удавалось достать хозяину собрания. Штабу приходилось подавать пример другим, так что выдуманные владыками постные дни обратились у нас в форменное сухоедение. Войсковые же части этот пост совершенно игнорировали.

14 сентября о. Андроник, священнодействуя в гальбштадтской православной церкви, упивался своим пастырским величием. Целый сонм духовенства, — увы! — в весьма потрепанных ризах, содействовал благолепию и торжественности религиозной церемонии. Мы до двух часов дня простояли в церкви. После выноса креста и поклонения ему один из подручных о. Андронику священников прочел «пастырское послание церковного собора на юге России ко всем верным чадам святой православной церкви».

— «Почему наша святая Русь корчится в муках голода, залита кровью, озарена пламенем пожаров и все русские люди достигли общего равенства лишь по части одной нищеты? Потому что русский народ восстал против богоустановленной, веками освященной власти, сверг и убил помазанника господня. В этом преступлении повинны и мы, ибо в свое время не встали грудью на защиту божьего избранника, а теперь несем наказание. Покаемся же в этом страшном грехе и помолимся о том, чтобы Вседержитель просветил наши мысли, чтобы соединил весь русский народ воедино и чтобы возможно скорее снова вручил руководство русским народам помазанникам своим».

Таково было краткое содержание этого замечательного документа врангелевской эпохи.

Послание, как и следовало ожидать, произвело самое отвратительное впечатление как среди населения, так и среди сознательного офицерства.

Мой квартирный хозяин, русский, портной по профессии,— скорее буржуй, чем пролетарий,— по выходе из церкви открыто возмутился.

— Если Врангель и в самом деле хочет насадить монархию, то ему следовало бы молчать об этом. Хоть и говорят, что чем ушибся, тем и лечись, но открытая проповедь монархии все же плохое лекарство от большевизма. Глупы ваши, вот что! Горе, когда попы возьмутся за политику. Отпевают они ваш стан, вот что делают этими воззваниями.

Местное крымское духовенство, оседлое, относилось далеко не сочувственно к затеям своих бродячих собратьев. Оно предвидело неустойку белых и, чтобы впоследствии избежать ответа перед красными, воздержалось от чтения соборного послания. Монархическая проповедь раздалась по преимуществу из уст военного духовенства, по рукам и по ногам связанного начальством.

В тот день, когда в Гальбштадте наш степенный о. Андроник заставил нас до двух часов дня выстоять в церкви, в Севастополе экзальтированный о. Восторгов устроил крестный ход, не к большевикам, а всего лишь на Графскую пристань. Толпы зевак, женщин, ребятишек, всяких кликуш следовали за батюшкой.

На пристани он прочел послание церковного собора и сказал пламенную речь о значении монархии.

— Только он, он, царь православный,— спасет нас. И я вижу, вон в тумане, вырисовывается его светлый лик.

Эй, гряди, гряди! Вон дымится судно, которое везет нам нашего спасителя... Вон он, смотрите, монарх всероссийский!

И его лихорадочные глаза устремились в Черное море. Вдохновенное лицо фанатика горело такой светлой радостью, его голос звучал так убедительно и сильно нервировал толпу, состоявшую из людей не с особенно прочной психической организацией.

— Вот он, вот он, я вижу его! — непрерывно повторял проповедник, показывая рукой вдаль.

И все влед за ним устремили на море свои взоры. Загипнотизированная публика ждала чуда.

С моря веяло прохладой, которая несколько проветривала горячие головы неуравновешенных людей. Мертва была туманная даль и, как назло, ни одна черная точка не вырисовывалась на горизонте. Только на английском судне неистово заревела сирена, а его мощный корпус медленно начал поворачиваться от берегов южной бухты.

Чуда, которого так жаждал Восторгов, не случилось. Спаситель-монарх объявился лишь спустя два года за границей в лице «блюстителя всероссийского престола», бывшего великого князя Кирилла Владимировича, который в 1920 году мирно сидел во Франции и не отзывался на призыв Восторгова, питая отвращение к поездкам по морю⁹⁵.

В Евпатории врангелевский комендант ген. Ларионов игнорировал «постные» дни, разрешив устройство музыкальных вечеров.

На бульваре играл оркестр, в ресторанах шло шумное веселье.

Каялся ли кто-нибудь здесь, и постился ли, так и осталось под знаком вопроса. Военная прокуратура пыталась даже возбудить уголовное преследование против старика-коменданта, столь непочтительно относившегося к голосу церкви.

Наконец монархические «покаянные» дни миновали... «Друзья божьи, по враги рода человеческого» отпели белый стап.

Скоро это стало ясно даже для слепых.

В конце сентября Врангель сделал отчаянную попытку ликвидировать красную болячку на левом берегу Днепра — каховский плацдарм. Ген. Бабиев с кубанцами переправился ниже г. Александровска на правый берег этой

реки, продвинулся к югу и занял пустой Никополь. Но дальше он встретил столь страшное сопротивление, что и сам погиб в бою смертью героя.

— Это был великий воин, — отметил Врангель в своем надгробном приказе, перечисляя заслуги «добропорядочного Бабия» перед белым станом.

Лишенные храброго вождя, шуруинцы обратились в бегство.

То же случилось и с молодой шестой дивизией, состоящей из неустойчивого элемента — пленных красноармейцев. 1 октября началась бедственная обратная переправа через Днепр. Атака ген. Витковского⁹⁶, командовавшего бывшим слащевским корпусом, в лоб каховского плацдарма, успеха не имела.

Красные по-прежнему оставили за собой крошечный клочок земли на левом берегу Днепра. Но этот маленький золотник был очень дорог, так как прикрывал наведенный красными мост — дорогу к сердцу «русской» армии.

XVII. В Орехове

Кое-как просунувшись из-за серой хмары, солнце начинало было окидывать своим ясным взором и несколько оживлять поблекшую осеннюю степь. Но это длилось минуту. Атакованное темной стеною туч, оно снова пряталось в глубь неба, и хмара торжествовала.

Над землею, как и на земле, шла бесконечная, отчаянная борьба.

— А ведь хватит нас дождем! Без того, кажется, не обойтись! Как ты думаешь, Иван?

Мой возница не унывает.

— Какой бог вымочит, такой бог и высушит. Нам ли, военным, того бояться! Бывал я на Волге. Там говорят: не на бурлака дождь идет. Пустое.

Однако Иван, участник мировой войны, — потому он и причисляет себя к военным, — инстинктивно ухватился за кожан, который сполз с сиденья.

— От Копаней до Орехова, — продолжал он, — считается 40 верст. Вот на тот перевал поднимаемся, увидим город.

Дорога утомляла своим однообразием. Правда, в этих местах Северной Таврии, ближе к Екатеринославщине, уже не та ровная, плоская, как стол, степная гладь, кото-

рая расстилается между Азовским морем и рекой Молочной. Здесь поверхность несколько изборозжена волнами земных складок. Но также беслезно, серо, безжизненно, — теперь, в осеннюю пору.

Лето кончилось.

Иван, за время дороги из Большого Токмака, многое мне порассказал, но его слова я уже пережевал и снова был голоден. Не то, чтобы он красиво говорил, не то, чтобы его рассказы дышали юмором. Нет. Для меня были ценны некоторые его замечания; правда, замечания сытого деревенского мужика, но мужика молодого, хорошо грамотного и бывалого.

— Видите, — тряхнул он головою, — столько едем-едем, отъехали верст 30 от Токмака, а встретили ли хоть одного конного или пешего? Не встретили, и нас никто не обогнал. А ведь это главная дорога к фронту. Бывало, в ту-то войну, едешь к штабу корпуса... господи ты, боже! Гудят автомобили, стрекочут мотоциклеты, тянутся повозки, целые роты движутся, эскадроны взвивают пыль. Это, действительно, была ком-му-ни-ка-ци-онная (так кажется, — ох, насилиу выговорил) линия... А тут что? Разве так в войну пускаться можно?

— Где же люди у вас, где люди? У вас кого убили, замены нет. А у них солдат родит солдата. У вас войска нет, чтобы дезертиров выловить. А еще воевать сунулись.

Замечания Ивана правильны. И потому, что они правильны, мне нечего возразить против такой крамолы.

Не только этот большой Иван, возница, даже маленький Ванька, сынишка моего приятеля, копанского крестьянина, у которого я ночевал в прошлую поездку в Орехов, понимал, что мы воюем на уру, — с голыми руками.

— Ты, дяденька, белый или красный? — обратился тогда ко мне этот бутуз, прискакав из глубины двора на одной ноге.

— Не видишь, что ли: погоны на плечах, значит, белый.

— Бедный ты, дяденька! Мне тебя жалко. Красных-то десять тысяч полков, а вас всего десять тысяч человек. Заберут они вас в плен, беспременно заберут.

— Брысь ты, гадина, — цукнул отец голоштанного оратора. — И что это за дети пошли нынче... Кто их учит? Сущие большевики. Да вы на него не сердитесь, господин полковник, ваше высокоблагородие... Он еще семигодовалый, — не в разуме.

Ни на возницу Ивана, ни на копанского Ваньку сердиться не приходилось. Они высказывали то, что у нас, офицеров, часто проскальзывало в разговоре.

Но вот и городишко Орехов. Мертвящая рука гражданской войны наложила на него тяжелый отпечаток. Во многих домах окна с выбитыми стеклами и зияют, как вскрытые раны. Кое-где они уже забинтованы деревянными щитами. Поредело население. Часть еще зимой бежала с белыми в Крым и еще не успела вернуться, часть недавно ушла на север с красными. Железная дорога давно заброшена. Жуткое впечатление производит умерщвленный жизненный нерв края.

Скорее мимо разбитого вокзала, мимо дырявых домов, мимо чуждых нам подгородних жителей, которые боязливо перебегают от домика к домику, от сада к саду. Скорее в чистые комнаты гимназии, где помещается оперативная часть штаба, скорее в родную среду. Там шум и оживление. Звякают шпоры, поет полевой телеграф. Знаю, хорошо уже изучил,— при моем появлении щеки генштабистов сожмутся в веселую улыбку.— «А, часть судная — самая паскудная», — раздадутся голоса.— «Отделение оперативное — не менее противное», — отпарирую и я.

Обменяться такими любезностями на этот раз не пришлось. Ген. Абрамов и оперативная часть два дня тому назад выступили из Орехова на восток.

— Там что-то не совсем спокойно... Сволочь эта, кажется, прет густыми массами,— объяснил мне застрявший в Орехове хозяин собрания оперативной части подьесаул Д-ий или, как его все звали, просто Котик.

Это был столько же жуликоватый, сколько ушитанный парень.

Отъелся на хлебной должности. Глуп, туп и не развит. Протеже ген. Говорова — начальника штаба. За всю гражданскую войну ни в одном бою не бывал, а уже носил четыре звездочки на погонах. Зато кормежку наладил идеально. Она не только ничего не стоила «операторам», но, как смеялись последние, «Котик скоро еще будет и нам приплачивать за то, что мы у него пьем и едим». Секрет был прост: Котик великолепно поставил сбор продуктов от благодарного населения и захват в пользу штаба «военной добычи».

— Странно,— заметил как-то раз за обедом в кол. Гнаденсфельдт ген. Абрамов в моем присутствии,— у меня ложка с инициалами гостиницы «Дюльбер».

— Это, должно быть, казаки взяли по ошибке, когда уезжали из Евпатории, ваше превосходительство, — смущенно ответил Котик, рассматривая ложку так, как будто в первый раз ее видел.

— Но и эта с теми же инициалами... И вот эта.

Чем дальше шло продвижение, тем обширнее становился хозяйственный инвентарь Котика. Таврия была хоть и не так велика, зато обильна.

Порой случались с Котиком неприятности. Так, один раз в Б. Токмаке полиция задержала двух его казаков с несколькими коровами неизвестного происхождения и чуть-чуть было не представила их в военно-судебную комиссию.

— Где же, вы думаете, теперь комкор? — спросил я Котика.

— Думаю, что не ближе Полог или Черниговки. Я сейчас туда выезжаю со своим обозом.

Через полчаса несколько нагруженных подвод, для приличия прикрытых брезентами, тарахтели по улицам городишки. Из-под брезентов выпячивались края бочонков, кое-где выкукивали флегматичные головы пернатых пассажиров. Внутри одного воза хрюкала свинья. На соседнем сидела, лузгая семечки, рябая девица. И всюду на телегах краснели казачьи лампасы. Здоровые, отъевшиеся казаки, чистенько одетые, тянули монотонную донскую песню:

Ай да ты по-о-о-дуй, по-о-дуй
Да ветер ни-изовый!
Ай да ты разду-уй, раздуй
Тучу черную.

Тучи к вечеру и на самом деле рассеялись.

Городишко Орехов — место недавних упорных боев курсантов с дроздами.

Как первые, краса и гордость Красной Армии, так и вторые, крымская «карета скорой помощи», при подходе вечером к городу, один с севера, другой с юга, бравировали своей отвагой и считали излишней разведку о движении и силах противника.

Одни, дети трудового народа, уверенные в своей непобедимости, грудью ломали вперед и грозили:

Смело мы в бой пойдём
За Русь трудовую.
И всех дроздов нобьем,
Сволочь такую.

Другие, орудие в руках политических притеснителей, профессионалы гражданской войны, хорохорились не менее, распевая:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую,
Курсантов всех побьем,
Сволочь такую.

Слава об одних долетела до ушей других. Захотелось померяться силами. Единоборство произошло неожиданно, ночью, в самом городе, где обе силы, северная и южная, столкнулись. В результате — сотни загубленных молодых жизней, кровавая жертва для блага кого-то, кому выгодно разделение России на два стана.

На заборе городского сада, возле которого цвет двух воинств уничтожал друг друга, ширококвещательная афиша. Наделение крестьян землею, видите ли, происходит успешно; из евпаторийского уезда к главнокомандующему являлась депутация и благодарила его за высокую милость, за земельный акт.

— Кто сейчас захочет возиться с землей! Вдали еще пушки грохочут, а мы тут будем заниматься переделами. Быть может, завтра все полетит кверху тормашками. Стоит ли канителиться! — вспоминаю слова своего возницы Ивана.

Вспоминаю и о том, как в некоторых местах, даже не очень удаленных от Мелитополя, крестьяне с недоумением спрашивали меня, какой-токой новый закон о земле объявился. Умышленно или неумышленно, но титулованные чиновники графы Татищев и Гедриков не слишком торопились с проведением в жизнь этого закона.

— А для нас-то, мужиков, нет ли тут чего-нибудь написано, такого хорошего? — раздается у меня за плечом неуверенный, хриплый голос.

— Вот, дедушка, дают землю, у кого мало, нарезают.

— Нет, не этого. Чего-нибудь на самом деле хорошего... Телеграммы какой?

— Чего бы для вас надо хорошего?

— Да на счет мира-то. Пора бы. Ведь уж повоевали. Крестьянам-то уж больно тяжело.

— А нам разве легко? Вы хоть дома, а мы...

— И что вам воевать, идти против своих? Образованные люди, а в толк не возьмете, что не хорошо. Утихомирились было зимой, ушли в Крым, ну, думаем, и слава

богу. Так нет же, опять пришли. З-ачем?

— Ты, дедушка, большевик, что ли?

— Что ты, Христос с тобой, какой я большевик. Худо я понимаю эту большевизню. А только одно скажу, сердись, хоть нет: пусть уж лучше будут большевики, да одни. Так все как-нибудь образуется. А то на Руси две власти, хуже того нет. Без вас у крестьянина, хоть и при большевиках, а все было, и кони, и коровы, и бараны. Теперь все перевелось. Когда еще снова наживем. Так-то, господин офицер,— спохватился вдруг дед и оглянулся во все стороны, нет ли где свидетеля его крамольных слов,— прости меня старого, все это я по мужичьей простоте, по глупости.

Знак недобрый: население уже утратило страх перед белой властью.

Сначала оно пассивно сопротивлялось, не давая новобранцев и отлынивая от повинностей. Теперь оно развязывало язык. Плохо. По всем признакам близится конец безумной авантюры, затеянной Врангелем. Что же ждет нас, больших и малых статистов гражданской войны?

Чтобы рассеять невеселые думы, попадаю в театр. Есть такой и в Орехове.

Сегодня праздник Покров⁹⁷.

Театр бедный, жалкий. Другого и трудно требовать в этом местечке. Он долго был заброшен. Теперь его восстановил комендант города полк. Греков, он же комендант нашего штаба, временно наводивший здесь порядок.

В стане белых создан тип профессионалов гражданской войны, незаменимых на фронте и опасных в тылу. Полк. Греков принадлежал к числу героев, опасных на фронте и незаменимых в тылу. Не любитель сражаться, он мог хорошо организовать обоз, довольствие, трупы или хор. Где надо, приврет; где надо, сировоцирует. Не дурак вышить, не враг и поухаживать. В общем тип профессионала-тыловики, вечного божиею милостию коменданта. Проходили годы, случались катастрофы, расплылись армии, сокращались штаты, издавались грозные приказы об отправке на фронт всей тыловой братии и о замене ее инвалидами и стариками. Но все эти волны бушевали вокруг Грекова без всякого для него вреда. Он по-прежнему комендантовал то тут, то здесь.

Чувствуя себя теперь, после ухода штаба, полномочным властелином Орехова, он важно восседал в театре на почтенном месте рядом со здоровой, красивой хохлуш-

кой. Уже начавший увядать, худой, невзрачный, он, однако, нежно прижимался к плечу своей соседки, чувственное лицо которой так и манило к себе каждого самца.

— Знаете эту новую пассию нашего коменданта? — спросил меня в антракте хорунжий Т., подчиненный Грекова.

— Покамест нет.

— Это комиссарка. Она, как говорят, девица образованная, дошла до последнего класса гимназии. Когда зимой здесь были большевики, она сошлась с ихним комендантом. Пришла их очередь уходить, она осталась, не желая покидать родителей. Теперь крутит любовь с нашим комендантом.

— Беспартийная, видно?

— Наследственная комендантша. Кто у власти, тому и ее ласка. Мало ли таких.

— А скажите, — вдруг он переменял тему, — что у вас в Токмаке говорят о рижских переговорах? Ой, плохо будет здесь, если там заключат мир.

— В крымских газетах, сами знаете, что пишут. Война до победы...

— Война до победы, грабеж до конца. Это так...

Тут он обернулся кругом, чтобы убедиться, не слышит ли кто из посторонних нашего разговора.

— Это так, но и то надо знать: время идет к зиме. Красные, как мы знаем здесь от пленных, опять грозят нам: смотрите, лето ваше, зима наша; вы к нам на танках, мы к вам на санках. И в прокламациях ихних пишут: солдаты к нам, казаки по домам, офицеры по гробам.

В театре вместо успокоения я еще более развинулся.

— Как вы думаете, успею я съездить в Севастополь за медикаментами? Хоть бросай практику... Насилу отстоял от реквизиции бормашину. Но нет пломб.

С такой речью обратился ко мне после театра ореховский зубной врач, еврей по национальности, у которого комендант отвел мне квартиру. У него я останавливался и в прошлый раз, и он охотно беседовал со мной перед сном на политические темы. Тогда мне казалось, что он верит в нас, потому ли, что еще находился под свежим впечатлением разгрома дроздами курсантов и нашего продвижения к Синельникову, или боялся откровенничать в первой беседе с незнакомым белым офицером.

Теперь я слышал в его речи другие нотки.

— А почему ж не успеть? Я вас не понимаю.

— Боюсь я, что уеду в Севастополь, а Орехов займут красные. Как я тогда вернусь домой через фронт?

— Что вы, что вы! С чего вы взяли, что мы скоро сдадим Орехов. Знаете, где наши... Далеко впереди от вашего города.

Он постучал пальцами о стол, причмокнул языком и самым убедительным голосом ответил:

— Полноте, полковник! Я так считаю, что ваша песенка спета. Подите на базар, подите хоть к соборному протоиерею, подите к кому угодно и спросите, кто верит в то, что вы долго продержитесь. Нет у вас пороха, это ведь мы все видим. Крестьяне воевать не хотят, и вы их даже принудить не можете. Выдохлись.

Все точно сговорились. Все одно и то же.

Хотя для меня, как и для многих мыслящих офицеров, с самого начала был ясен исход крымской авантюры и неизбежность новой катастрофы, но общий ход событий, т. е. продвижение вперед, кой-какие политические успехи вроде признания южнорусского государства *de jure* Францией, отодвинули на второй план страхи за будущее, приковав мысль к настоящему. К тому же стояло теплое лето, в молоканских селах летом жилось столь хорошо, что не хотелось и думать о роковом исходе и своей грядущей судьбе.

Теперь лето сменилось осенью.

И все предвещало нам близкий конец.

XVIII. Ночной налет

— Васильевские девки, не иначе. И смотрите ж, куда они прут! Непременно вслед за казаками. Казак для них — что твоя ягода малина. Сбаловались наши девки совсем, особенно молоканские. Война у них всякий стыд съела. У-у, туды-растуды вас!

С этими словами Иван замахнулся кнутом, точно и всерьез собираясь кого-то ударить.

Навстречу нам (теперь мы ехали из Орехова обратно в Б. Токмак) тащились три девицы, босые, со свертками на концах палок, закинутых на плечи, как ружья у солдат.

— Васильевские небось?

Голос Ивана звучит насмешливо. Не совсем приличный комплимент готов сорваться с его губ.

— Васильевские... А Донская конвойная сотня, не знаете, в Орехове?

— Вот видите, кого им надо... Так и есть: своих любителей ищут. Как же, как же, спешите, они вас там ждут и не дожидятся: плачут-горюют, слезами заливаются. Ах, дурехи вы, дурехи. Для казаков вы то же, что сено для лошади: хочет — ест, не хочет — ногами топчет.

За Копанями по скату, перпендикулярно к дороге, тянется недавняя позиция красных. Ряд неглубоких окопов. Сзади их всякие отбросы — корки арбузов, банки из-под консервов, тряпье, — неизменные следы долгого пребывания человека на одном месте.

От позиции дорога плавно спускается в лощину. Там, по берегам ручья, отдыхают сотни две оборванцев. Обувь у большинства нет. У кого есть — пальцы высовываются из дырявых передов, как зубы из крокодиловой пасти.

— Пленные, что ли?

— Пленные... Красноармейцы.

— Обижали наши, когда в плен взяли?

— Сперва ничего при начальстве, не тронули. А потом, как повели с Гуляй-Поля, прискакал какой-то вахмистр, приказал снять сапоги у кого были получше. Потом обирали на этапах.

— А невесело тут, — угрюмо перебивает другой, сильно икая. — Нибилизовали, так говорили, что тут поют райские птицы и зимой босые ходят. Наврали.

— Ты откуда?

— Архангельский.

— Земляк! Вот где встретились.

Охрана партии — один конный калмык. Скорее провожатый, а не конвойный.

— Не убегут?

— Куда бежать, зачем бежать, матер-чорт.

Тупые, бессмысленные взоры. Сущность гражданской войны им непонятна. Белые, красные, — для них все равно, лишь бы не гнали подставлять башку под пули.

С неба доносятся певучие звуки. По голубой выси плывет гудящая паутинка. Постепенно она превращается в черную птицу, а из птицы скоро вырастает в мощный самолет.

На него устремляются взоры.

Очутившись над группой, аэроплан начал снижаться, и тогда на его хвосте ярко обрисовалась красная звезда.

Для пленных это свой, для меня — неприятельский. Но у них глубокое равнодушие на лицах, у меня любопытство.

Паря в воздухе, как орел, выслеживающий зайца, аэроплан покружился немного над рассеянной толпой и вдруг обдал ее целым дождем, не бомб, а листовок. Затем быстро заработал мотор, стальная птица взвилась к небу и понеслась на восток, по одному направлению с казачьими мечтами.

Одну из листовок приносят мне.

— Что-то пишут нам Ленин с Троцким? — смеется Иван.

Взглянув на подпись, я увидел: «Реввоенсовет XIII армии: Эйдеман. Затонский».

Прокламация гласила:

«Ко всем честным офицерам и солдатам Красной Армии. До последнего времени на всем пространстве необъятной России шла гражданская война, но она близится к концу. Все враги рабоче-крестьянской власти, совершив положенный судьбою скорбный путь, отиралились путешествовать: кто в Англию на дачу, как Деникин, кто подальше, как Каледин и Колчак. Осталась кучка вас, сподвижников барона Врангеля, помогающих польским панам, которые селятся поработить Юго-Запад России. И в этот грозный час вы, жалкие остатки полчищ Деникина, пользуясь отвлечением наших сил, пытаетесь ударить в спину Красной Армии так же, как это делает Махно и прочие бандиты, которым нужна лишь разруха и развал для грабежа. На что надеетесь вы в результате ваших «побед»? Вы можете еще захватить десяток деревень, еще пару уездных городишек до подхода наших резервов. Вы можете своим дебошем еще пару недель или месяцев задержать разгром польских легионов. Вашими руками или при вашем содействии будут обращены в развалины еще несколько городов. А дальше что? Неужели Крымской армии под силу справиться и с Советской властью, и с хищниками панами, и с аппетитами щедрых французских банкиров, и развалом хозяйственной жизни, какой несет дальнейшее продолжение безнадежной повстанческой борьбы против единственной в России государственной советской власти? Поймите, что ваши победы над нашими заставами превратятся в разгром через неделю, максимум через месяц, но эта борьба будет стоить лишних жертв и страшного разорения. Поймите, что кроме Советской власти нет другой, которая могла бы охранить нашу страну от грабежа чужеземных хищников, которая смогла бы вывести нас из пропасти нищеты и разорения. Прекратите

борьбу с исторической неизбежностью».

Краска стыда заливает мое лицо.

Что ни слово, то горькая правда, которая каленым железом жжет сердце. Наши войска, действительно, сражались только с заставами. Разве можно назвать армией толпы этих необученных «Ванькёв», которых тысячами забирали в плен и которые завтра тысячами вырастали, как грибы, на прежнем месте? Железные легионы рабоче-крестьянской армии, спаянные сознательной дисциплиной, в это время громили поляков, наш же напор сдерживал многолюдные, но слабые духом заставы.

Однако и эти заставы умели хорошо отгрызаться. В этом пришлось убедиться не далее, как в ту же ночь⁹⁸.

— Господин полковник! Вставайте, в селе неладно.

— А? Что такое?

— Вставайте, вам говорю, стреляют.

Еще не придя в себя от глубокого сна, всегдашнего спутника утомительных поездок, долго не могу понять своего вестового, старого казака Маркушу.

— Уже с полчаса палят. Неладно. Думать надо, махновцы поднялись.

Маркуша одет в свою старую драную шинель. В руке винтовка.

— В самом деле, тревога?

— Врать буду, что ли? Утекать надо. Палят...

Через окно доносится сухой треск пулеметов.

Медлить некогда. Дело неладное. Одеваюсь в два счета. Когда выхожу на улицу и погружаюсь в абсолютный мрак, Маркуши и следа нет.

Зловещий пулеметный концерт режет уши. С площади несутся крики ура, слышится стук коньт.

Чьи-то руки судорожно хватают меня за полы шинели.

— Кто? Это вы, отец Павел?

Насилу узнаю своего писаря, безработного дьякона Туренко, маленького, робкого человечка.

Оба мечемся по улице, оба не понимаем, в чем дело. Одно ясно для меня: это не местное состояние, это чей-то внезапный налет. Но кто налетел и откуда? Куда бежать, чтобы не патолкнуться на верную гибель?

В районе вокзала, за южной окраиной местечка, поднимается к небу огненный столп. Вскоре рассыпчатые взрывы начинают время от времени потрясать ночной воздух. Неприятель, видимо, поджег вагоны со снарядами.

Свистят шальные пули. Теперь, на свету, уже опасно

носиться по улицам. Надо или прятаться, или убегать из Токмака

— Стой, куда? Кто едет? — спрашиваю подводу, облепленную казаками.

Меня узнают. Это штабные писаря.

— На Сладкую Балку... Уже часть дежурства вскакала... Красная конница на площади.

— Возьмите же меня, у меня нет подводы.

Куда тебе! Телега уже громыкает вдаль.

Все страшнее и страшнее становилось на улице, озаренной зловещим пожаром. У кого были подводы под рукой, видимо, уже выбрались; у кого нет — попрятались. На улице ни души.

— А ну пѐхом на Сладкую Балку!

За селением народу больше. Группа военных в нерешительности: уходить или нет. Подле опрокинутой в канаву брички рыдает дама, облокотившись на свои пожитки.

Дальше! Дальше!

Нас обгоняет несколько тачанок и простых телег. Наконец, на одну из них мне и дьякону удается взгромоздиться, усевшись на задний край, лицом к пожарищу. Рядом со мной молодой поручик в фуражке с белым верхом. Марковец.

В ресторане шум и бой —
— Это марковец лихой, —

вспоминается по ассоциации куплет из добровольческого «Журавля».

Поручик в курсе дела.

— Красная конница около трех часов ночи подошла с юга к станции и атаковала ее. На вокзале была саперная полурота нашей дивизии, но мы быстро рассеялись. Красные захватили поезд вашего атамана Богаевского. Сам он успел умчаться на автомобиле, но неизвестно, спасся ли. Конница с криками «ура» понеслась в центр селения, шутя смяла жалкую кучку казаков и офицеров запасного полка и, добравшись до площади, стала там поить лошадей.

— Откуда же они налетели?

— Видно, со стороны Бердянска. Наши, как водится, проспали.

Вечером на вокзале ходили слухи о том, что красные бродят по тылам. Не верили, думали, утка. Какой бы можно было дать отпор, если бы подготовиться с вечера! Какую устроить засаду! Всю конницу можно было уничто-

жить пулеметами, когда она подходила к мосту. В Токмаке из одной только тыловой братии не трудно сформировать целую бригаду. Сколько здоровых, боеспособных казаков и офицеров!

— Кстати,— спохватился я,— где инспектор тыла, генерал Топилин? Он ведь и начальник токмакского гарнизона. Если тоже бежал в панике, Врангель его повесит.

— Генерала-то? Даже донского, и то не повесит. Таких случаев не было.

— Вчера вечером Топилин присылал за мной, звал играть в преферанс, но у меня был гость генерал Попов, да, кроме того, я устал с дороги, и отказался...

— Полчаса тому назад мои солдаты видели его на броневике подле комендатуры... Отдавал распоряжения...

— Кому?

Поручик безнадежно махнул рукой.

— Писарям... Гарнизону надо было раньше дать директиву. Топилин, говорят, еще с вечера получил из Мелитополя, из кутеповского штаба, телеграмму на шести листах о движении красных, но торопился играть в карты. Должно быть, туда-то и вас звали. Отложил разборку шифра до утра.

— Милейший Владимир Иванович,— подумал я,— как это на тебя похоже!

Инспектор тыла Донского корпуса, ген. В. И. Топилин, добрейшей души человек, храбрец в бою, каких мало, георгиевский кавалер мировой войны; невзирая на все это и на свои более чем зрелые годы, был прелегкомысленнейшим существом. Могло ли ему прийти в голову, что от той шифрованной телеграммы, которую он глубоко засунул во внутренний карман своего френча,— читать некогда, ждет пулька,— зависит жизнь нескольких тысяч человек, а быть может, и судьба всей крымской кампании? Эта пулька, как потом оказалось, стоила жизни самому Топилину в числе многих других, погибших от налета красных.

— Что это за светлые мотыльки в небе?

— Это, должно быть, аэропланы. Их база в 12 верстах от Токмака, в Гальбштадте. Пронюхали, вылетели на разведку. Светятся,— это ракеты. Их спускают, чтобы одна машина не налетела на другую.

Заревое все дальше и дальше удалялось от нас. Мы начали было погружаться в полосу абсолютной темноты, но вырубил рассвет. В побелевшем небе вместо светлых точек реяли черные птицы. Аэропланы сторожили, по

какому пути противник двинется из Токмака.

— Сторонись, чортова душа...

— Ишь, тоже командир выискался! Пошел бы командовать на фронт! — ворчит наш солдат-возница, однако придерживая лошадей к правой стороне.

Нас обгоняет сумасшедшим аллюром тачанка, на которой сидит ген. Чернов, председатель военно-судебной комиссии 3-й донской дивизии. Он уже был назначен к увольнению и доживал последние дни в корпусе, ожидая заместителя.

— Здорово драпает генерал. Должно быть, как вскопчил на тачанку, так и до сего времени опомниться не может.

При этих словах поручика мне невольно вспомнилось всегдашнее задорное поведение этого строевого генерала царской эпохи, его любовь к самовластию, к самовозвеличиванию. Еще не так давно он гнул в бараний рог своих подчиненных и с яростью воевал и против корпусного начальства, и против меня, органа военно-прокурорского надзора. И как был жалок теперь, подпрыгивая на сиденье вверх, точно мячик, при каждом толчке тачанки! Беленький георгиевский крест, орден храбрых, неистово бился об его френч и силился, видимо со стыда за генеральскую трусость, улететь с его груди.

Сладкая Балка — село в 15 верстах к северо-востоку от Б. Токмака, по дороге в Орехов, но не по той, по которой я вчера ехал. Та лежит западнее.

Рассвело.

На церковной площади копошится гигантский муравейник. Тут и грузовик с пулеметом, тут и громоздкие мажары, и изящные тачанки. Есть даже отнятые у меннонитов кареты и всякого рода экипажи бесчисленных учреждений. На одних только люди, на других груды вещей, на третьих беспорядочно навалены ворохи канцелярских дел. Тысячи человек, в погонах и без погон, кто с винтовкой, кто без всякого оружия, сходятся в кучки, беседуют о случившемся, думают и гадают, что сейчас творится в Токмаке и что надо предпринимать дальше.

— Ваше превосходительство, — обращается мой поручик к ген. Чернову, — стыдно драпать... Остановите панику. Вы тут старший.

Я, взяв под козырек, поддерживаю поручика.

Генерал оскаливает зубы, как разъяренная собака.

— Какой драп... Кто драпает? Как вы смеете... Ведь я

генерал... Прошу не забываться.

— Об этом мы потом поговорим, — машет рукой поручик. — А теперь нам надо сорганизоваться.

Пристыженный генерал принимает бразды правления и скоро входит в свою роль. Кричит, ругается, кипит.

— У кого винтовки, выходи вперед, стройся! — командует он.

Нехотя собираются люди. Вот из толпы вынырнул Маркуша и встал рядом со мной. Штабные офицеры стесняются заняться таким черным делом, как организация самозащиты. Некоторые из них выехали с винтовками в руках. Но после генеральской команды винтовки куда-то исчезают. Иные незаметно отходят от нас и прячутся за хаты.

В строй становится не более 70 человек.

Чернов суетливо разделяет людей на взводы, назначает командиров.

А по деревне в это время разливаются веселые трели пастушьего рожка. Пастуху нет дела до того, что происходит у нас и что теперь творится в Токмаке. Нет дела до нашей напасти и крестьянам. Из дворов как ни в чем не бывало бабы выгоняют коров, пастух, хотя и с трудом, собирает скотину в стадо. Наше столпотворение деревню не трогает. Она живет и хочет жить мирной жизнью. Воюем мы, пришельцы, с которыми крестьянство не чувствует никакого родства.

Когда я повел заставу в сторону Токмака, солнце уже поднялось на горизонте и представило нашим глазам «пышное природы увяданье». Но октябрьский пейзаж степной деревни менее всего интересовал нас в эту минуту. Нам самим грозило не только увяданье, но и смерть.

Из Токмака все еще тянулись группы пеших. Некоторые запоздали потому, что брели по пахоте, не рискуя идти по дороге, по которой мог двинуться и неприятель.

— Стой, кто идет? — раздается окрик за скирдой соломы, где стоит часовой.

— Свои! Свои! «Войско» Донское, — слышу знакомый голос полковника Слюсарева, члена военно-судебной комиссии при штабе корпуса.

Вскоре из-за скирды выглядывает его желтоватое, безбородое, как у скопца, лицо. В зубах — неизменная трубка. Рядом с ним шагает другой член той же комиссии полк. Астахов. Бывший грозный полицеймейстер Таганрога в самом растерзанном виде. На нем нет лица, равно как и никакой одежды, кроме шинели.

— Батюшка, Иван Михайлович... Помилуйте... Так разве можно служить? Этак и пропасть можно ни за грош,— жалостливо лепетал он в смертном ужасе, прижимая руки к полам шинели, чтобы скрыть свое полубоженное тело.

Я чуть не лопнул со смеху.

— Подзакусить, господин полковник... Пышечки!

— Где ты их достал, Маркуша?

— Забежал в хату, баба пекет, выпросил.

— И тебе не стыдно? Мог бы и денег дать.

— Чего их жалеть, чортовых хохлов! Они тоже казаков грабили.

Маркуша — казак старого закала. Ему тщетно доказывать, что чем же виноваты крымские крестьяне, если они, казаки, у себя на Дону не ладили с «иногородними», если хохлы станицы Семикаракоровской два года тому назад сожгли его амбар с хлебом и увели пару волов.

— Война меня разорила, отчего же мне других жалеть!

Такова была логика казачьей черни.

— Эропланы кружатся над дорогой в Куркулак... Сколько их... раз... два... Этот спускается... три... четыре.

— Надень очки: не четыре, а семь!

— Они, почитай, всю ночь кружились над степью. Выкараулили.

— Гляньте-ка: взрыв! Бросают бомбы.

Дорога в Орехов через Куркулак от нас верстах в пяти. Ее в небе обозначает цепь аэропланов, а на земле ряд страшных столбов пыли и дыму, то и дело взрывающихся все севернее и севернее Токмака. Красная конница, по всей видимости, оставила селение и пошла на север западнее нас, преследуемая воздушной эскадрильей.

Мы пока что в безопасности.

— Зададут им перцу...

— Так же было и со Жлобой: закидали бомбами.

— Добегут до Куркулака, спрячутся в хатах. По хатам наши не будут бросать бомбы.

Налюбовавшись картиной боя аэропланов с конницей, я послал ген. Чернову донесение о том, что неприятель, по всем данным, покинул Б. Токмак и движется на север и что нам целесообразнее всего послать вооруженный грузовик на разведку, чтобы узнать, не хозяйничают ли в Токмаке остатки красных или местные хулиганы-маховцы.

Прошло полчаса.

Из Сладкой Балки я не получил никакого ответа. Через час тоже

Отправился сам в село, — оно уже опустело. Как оказалось, храбрый генерал еще до моего донесения ни с того ни с сего уселся на грузовик с пулеметом и, забыв о своей начальнической роли, о том, что разосланы заставы, умчался в Орехов. Видимо, ему все еще чудилось, что большевики голятся по его пятам.

Разношерстный тыловой сброд, неспособный к организации, последовал, как баранье стадо, за перепуганным боевым генералом.

XIX. Начало конца

Я и горсть моих случайных подчиненных оказались в самом диком положении. Каждый из нас понимал, что движение на север скорее приближало к неприятелю, чем отдаляло от него. Но и возвращение в Токмак группой в 10—12 человек тоже составляло немалый риск.

— Не ходил ли генерал Чернов на телеграф? — мелькнуло у меня в голове. — Не снесся ли он с командиром корпуса и не получил ли от него какой-нибудь директивы?

— Быть может, и так! — согласился мой товарищ по несчастью, марковский поручик. — Тогда что же, — в Орехов!

На площади стояла мажара, запряженная парой добрых лошадей. Один Аллах знал, кто ее хозяин. Солдаты не замедлили завладеть ею.

За Сладкой Балкой мы обогнали громадную толпу военнопленных. Грязные, жалкие, босые, оборванные, как всегда. Их охрана, перепугавшись красных налетчиков, убежала вслед за Черновым.

— Куда вы-то?

— Не знаем... Нас все бросили... Вдогонку за своим начальством. Не отставать же.

— Вот если бы это были сознательные враги, что они могли бы сейчас наделать у нас в тылу! — заметил марковец.

— Да! Их целая армия. Вятские, товарищи?

— Вологочкие... Дядишка, нет ли покурить?

— Тут тебе господин полковник, а не дядишка, — грубо оттолкнул Маркуша попрошайку от нашего Поева ковчега.

Верстах в трех от Орехова мы заметили по гребням крошечных возвышенностей рассыпанные цепи. Это гарнизон г. Орехова, наша комендантская сотня, сторожил неприятеля. Полковник Греков, стоя на кургане возле пулемета, рассматривал в бинокль окрестности.

— Где генерал Чернов?

— Без памяти промчался в Орехов.

— Куда же эта тыловая армия движется дальше?

— Я посоветовал направиться на восток, под защиту строевых частей.

— А где красная конница? Есть сведения?

— Она где-то вертится между Куркулаком и Ореховым. А, может быть, еще сидят в Куркулаке, пока день. Ночью куда-нибудь выступят. Я получил телеграмму окольным путем из Мелитополя, что в Токмаке их нет и что надо быть наготове, так как захотят где-нибудь прорваться к своим.

— Что они в Токмаке натворили?

— Не знаю. Сообщение непосредственно с Токмаком прервано.

Орехов превратился в громадный базар. Многие, оказываясь, выехали прямо сюда, не останавливаясь в Сладкой Балке. Страх гнал людей на север, по направлению фронта. Здесь, в Орехове, под защитой комендантской сотни с несколькими пулеметами, тыловой сброд чувствовал себя уже легче. Раздавался невероятный галдеж, местами даже хохот и шла вся река реквизиция лошадей в предместьях.

После полудня этот гигантский цыганский табор выступил на восток, направляясь в Пологи.

Здесь, на границе Таврической и Екатеринославской губерний, очень рельефно вырисовывалась работа «Батьки». Кстати, не так далеко отсюда лежало и Гуляй-Поле, его родина и главный притон его неуловимой армии. Куда ни взглянешь по сторонам дороги, то торчат трубы разрушенных экономий, то чернеют развалины крестьянских хуторов, то среди деревьев зияют громадные плени — выжженные кварталы. «Идейный» противник Советской власти, как его сначала расценивали врангелевские газеты, хорошо поработал для «спасения» России!

В Пологи мы прибыли 3 октября поздно вечером.

Красная конница, как потом выяснилось, шла лошадьми параллельно нам. Аэропланы, с наступлением темноты, потеряли ее из виду близ Орехова, откуда она по-

вернула, как и мы, на Пологи. Возле этого громадного селения она отдыхала несколько часов. Но о близости противника никто не знал в Пологах. Иначе, едва ли рискнул бы так грозно поглядывать и покрикивать полков. Астахов, уже раздобывший себе где-то и штаны, и верхнюю рубаху. ✓

— Живо! Воды, умыться! — командовал он хозяину своей хаты, соседней с тою, в которой я остановился.

— Нема воды.

— Как нема? Вон колодец.

— Та хозяин не позволяет брать.

— Какой хозяин?

— Та я-то.

— Ах ты, распросукин сын! Тебя, видно, мало большевики учили!..

Через несколько минут выученный белым полковником хохол, потирая одной рукой спину, другой поливает воду из ковша на ладони грозного члена военно-судебной комиссии.

Наутро мы двинулись на юг, узнав, что командир корпуса с оперативной частью штаба находится в селе Черниговке. Отъехав верст 15, в Семеновке сделали привал.

Маркуша знает свои обязанности. Через четверть часа возвращается с молоком.

— Надо бы у кого-нибудь попросить ложку.

— Ложка есть.

— Купил?

— «Купил за три огляда».

— Как так? Что это значит?

— Так меня покойный батька учил: руки-ноги есть, украсть можешь; только три раза оглянись, не гонятся ли. Хозяйка — резать хлеб в кладовую, а я ложку в карман. Много их валялось на столе... Не золото.

— Да ведь это безобразие... преступление.

— Нам ложка-то нужна ведь? Ложка на походе то же, что виштовка в бою.

Тыловой сброд начал пошалить, «партизанить». Иные по необходимости, другие из любви к искусству.

В Черниговке, громаднейшем селении, которое тянется чуть не на 12 верст вдоль дороги, ген. Абрамов встретил бродяг не особенно дружелюбно.

— Ваше дело не рыскать по деревням, а сидеть и писать бумаги, — распушил он «дежурство» (администра-

тивную часть штаба), во главе которого теперь стоял его родной брат — полковник П. Ф. Абрамов.

Командир корпуса, педант и формалист, чисто официально относился и к брату, начальнику хозяйственного отделения штаба. Дежурный генерал Тарарин остался в Токмаке и только здесь, в Черниговке, мы узнали, что он уцелел во время налета, пролежав со страху всю ночь где-то на дне оврага.

Я доложил ген. Абрамову, кого надо считать истинным виновником того, что мы из Сладкой Балки не вернулись в Токмак.

— И зря не вернулись, — заметил он. — Там сейчас полное спокойствие. Конечно, убитых много, но неприятель хозяйничал там лишь несколько часов. Никакого восстания махновцев не случилось.

На следующий день к вечеру, не без некоторого стыда, возвратились мы в Токмак, в свои квартиры.

«Тогда считать мы стали раны, товарищей считать».

Налет красных наглядно показал дряблость нашего тыла, неспособного к организации даже для самозащиты.

Красная конная дивизия еще 1 октября забралась в наше расположение со стороны Бердянска и стала двигаться по ночам на северо-запад. Трудно сказать, была ли у летучего неприятеля какая-нибудь определенная задача, или ему просто хотелось поугадать белые тылы.

О движении врага хорошо знали в Мелитополе, в штабе 1-й армии, которой командовал ген. Кутепов. К этому времени Врангель разделил свое войско на две армии, из которых одна вела операции на севере и востоке, вторая охраняла первую со стороны противника, засевшего у Каховки.

Однако в штабе Кутепова могли только гадать о том, куда направятся красные с вечера 2 октября, на Мелитополь ли, чтобы произвести здесь разгром тыловых учреждений, или обрушатся на Гальбштадт и Токмак. Ген. Тоцилин, инспектор тыла донского корпуса, он же начальник гарнизона в Токмаке, вечером 2 октября получил из штаба армии предписание — быть наготове и дать отпор неприятелю в случае появления его у Б. Токмака. Страдая слабостью зрения, генерал не захотел долго возиться с большой телеграммой, — на шести страницах, — при искусственном свете, отложил эту работу до утра и предался своему любимому спорту — игре в преферанс.

В Токмаке, помимо небольшой марковской саперной

полуроты, стояла целая казачья часть — 3-й Донской запасный полк, с 18 пулеметами, под командой генерала Герасимова, того самого, который высек немца в Ак-Мойнаки. Помимо этого, множество боееспособного элемента переносило сотни разных учреждений. Еще в июле всем нам были розданы австрийские винтовки, предписано было научиться действовать ими, всегда держаться начеку, составить план на случай тревоги и т. д. Увы! Безволие и преступная небрежность проявились и в этом деле, где речь шла уже о шкурном интересе.

Мы воевали, окруженные тысячею красных и зеленых Вапдей, а генералитет, невзирая на самые свирепые приказы Врангеля, палец о палец не стучал для того, чтобы обратить армию тыловиков в такой организм, который мог бы самообороняться хотя бы от махновцев или от неприятельских налетчиков.

Все спали. Одних усыпляли самогон и флирт, других — винт и префферанс, третьих — упоение своим превосходятельным величием.

Результаты этого сна были налицо. Налет красных, двое суток безнаказанно разорявших наши тылы, произвел у нас не только страшный переполох, но и большую разруху.

«Корпоп», конечно, в это время «ревизовал» госпитальные церкви в Евпатории. Зато Донской атаман прибыл в Токмак утром 2 октября и вечером невольно испытал прелести фронтовой жизни. Он привез знамя Зюнгарскому калмыцкому полку. Это знамя уже дважды давало ему повод развлечься от севастопольской скуки поездкой на фронт, куда Врангель командировал его чаще всего в качестве проводзвестника своей воли.

Зная собственную непопулярность среди боевого элемента, атаман для задабривания казаков всегда привозил им какие-нибудь подарки. То раздавал сотни две-три английских брюк с нашитыми казачьими лампасами, то столько же комплектов американского белья. Иногда он выступал с речами, которые обычно производили впечатление как раз обратное тому, которого он добивался.

— Нечего нам зарываться вперед! — говорил он однажды во исполнение директивы Врангеля, который, утя слабость своих сил, увидел невозможность двигаться дальше и хотел исподволь внедрить казакам ту мысль, что тыне едешь — дальше будешь, что покамест с нас достаточно завоевания Северной Таврии. — Быстрое про-

движение вперед, — продолжал атаман, — не принесет нам пользы. Помните, мы стремительно дошли до Орла, а затем откатились до Черного моря. И теперь, если забремся далеко, откатимся еще дальше.

У казаков, рвавшихся вперед, на тихий Дон, после этих слов настроение заметно упало.

Ген. Абрамов, в целях поднятия духа своего корпуса, просил Богаевского или реже приезжать на фронт, или привозить с собой только обмундирование, но отнюдь не свои речи.

Теперь атаман нашел новую забаву в виде калмыцкого знамени и оперировал с ним, забыв и штаны с лампасами, и — ораторство. Первый раз, когда он привез это желтое полотнище на фронт, сопровождавшие его калмыцкие жрецы-гилюны не разрешили произвести церемонию вручения знамени в силу каких-то причин сакраментального характера. Атаману пришлось считаться с религиозным суеверием, и он уехал назад. Другой раз помешали большевики, начавшие наступление. Теперь в Токмаке эти нечестивцы забрали в плен и самое злополучную святыню вместе с атаманскими вещами.

Не менее злополучный атаман, почуяв опасность, помчался с вокзала в село на автомобиле, но в темноте его машина наскочила на придорожный столб возле моста через реку Молочную. Атаман отделался испугом и легкими ушибами, а его спутника, калмыцкого генерала Бузина, выбросило на дорогу и при завороте свернувшегося автомобиля отрезало ему ноги крылом. Несчастный дожид до утра и еще находился в сознании, когда токмакские хулиганы стали снимать с него окровавленный китель.

— Дайте сначала умереть, потом грабьте! — были последние слова калмыцкого генерала.

Богаевский после катастрофы с автомобилем в смертном ужасе бросился под сень прибрежных ветл и, ежеминутно срываясь в воду, поплелся вдоль берега в Гальбштадт, куда добрался в самом жалком виде. Здесь его приютили летчики.

Ген. Топилин, начальник гарнизона, был взят в плен красными на церковной площади, где он стоял на испорченном броневике в единственном числе, так как все его подчиненные, не исключая и коменданта города, «драпанули». Красные долго возили его за собой на тачанке и хотели отправить в Москву в виде трофея. Но когда они пробивались, к северо-востоку от Полог, в свою сторону,

на них до того энергично насели наши части, что они сами едва ускакали, побросав тачанки с военной добычей и порубив пленных офицеров. Несчастливого инспектора тыла похоронили в Токмаке, примерно через неделю после налета, вместе с несколькими десятками других жертв его преступного легкомыслия.

Почти все, кто, убегая из Токмака к северу, взял не-
правильное направление, т. е. не на Сладкую Балку, а на Куркулак, погибли, зарубленные красными.

Очень много толков и догадок вызвала смерть одной старой сестры милосердия Стригалевой, организаторши питательного пункта в Токмаке. Ее нашли на дороге перерубленной пополам. Ходила молва, что в ее смерти повинны не столько красные, сколько ее подчиненные, с которыми она обращалась сурово и которые будто бы ждали случая разделаться с нею.

Решительно ничем не пострадали те, кто никуда не убежал, а сидел в квартире или забился в скирды соломы.

Красные хозяйничали в Токмаке не более 4 часов. Их посещение сказалось только в некоторых районах громадного села чуть ли не с 30 тысячами населения. Они не успели даже как следует пограбить офицерских квартир.

Население Б. Токмака наши власти считали крайне ненадежным. Здесь уже много крестьянской бедноты. Здешняя молодежь сильно увлекалась батькой Махно. Однако во время налета в отношении нас была проявлена полная лояльность.

— Ах, боже ж ты мой! — рассыпалась моя хозяйка-хохлушка, когда я вернулся. — И где же вы, мы думаем... Живы ли, здоровы ли? Ваше добро (две-три смефы белья, ботинки да запасные брюки) мы все припрятали в солому вместе с делами. Вон и деньги на столе вы позабыли... Считайте, 30 карбованцев... Верпо?

Вся бедная, почти нищая семья (мне комендатура всегда отводила наихудшие помещения) ликовала моему возвращению, точно я им был сват или брат. Даже славенькая, миниатюрная Маруся, с нежным, как у интеллигентной женщины, личиком, ранее не высказывавшая ко мне никакой симпатии, — так как белые в прошлом году расстреляли ее жениха, — задержалась у меня после ухода родителей и долго расспрашивала меня о моих странствованиях за эти трое суток.

После разразившегося несчастья местные крестьяне стали к нам более внимательны. Но это не было результа-

том сочувствия к нашему делу, а проявлением свойственной русскому народу жалости к «несчастенькому».

Кто-то пустил погромный слух, будто токмакские евреи указывали красным квартиры офицеров. Я хоть и не верил этому слуху, но в связи с ним поинтересовался участью своего товарища, всеенного прокурора корпусного суда нашего корпуса генерала А. В. Попова. Этот последний в день нападения приехал ко мне из глубокого тыла, ужинал у меня, и я сам отвез его на место ночлега к одному еврею возле самой синагоги.

— Генерал у вас?

— Нету.

— Куда же он делся?

— Уф, знаете, господин полковник, и сколько мне крови стоило спасти его... Как началась стрельба, они и говорят: Исай Исаевич, спасите. Идемте, говорю, ваше превосходительство, я уже знаю, где и как вас спасти, пойдемте в кусточки на берегу Молочной. Так-таки по кусточкам я и вывел его на окраину. «Ой, говорят, Исай Исаич, ну и спасибо... теперь я сам доберусь до Гальбштадта». Поклон вам велел передать. Уф, и страшно стало, когда я одиш пошел домой. Пули так и свистят...

Этот «выданный» большевикам генерал еще и доныне благополучно здравствует в болгарском селении Долна-Ореховица, возле Тырнова, и до сего времени с благодарностью вспоминает Исая Исаевича.

Налет красных совершенно расстроил работу наших тыловых учреждений. Она так до конца и не налаживалась. Мои военно-судебные комиссии, сильно пострадавшие от налета, окончательно опустили руки. Председателя штабной комиссии генерала Додонова красные ограбили дочиста, утащив из квартиры его чемоданы, сам же он, отстреливаясь, спасся в огородах. Два писаря штабной комиссии, кажется из студентов, скучая по родине, ушли с неприятелем. Но и из красных кое-кто остался у нас. Штабной сапожник, казак, сначала присоединился к налетчикам и доехал с ними до Куркулака. Когда же под вечер неприятель двинулся отсюда далее, белый дезертир раздумал и не только сам вернулся в Токмак, но и привел с собой 11 красных казаков.

Трехдневные скитания после ночного налета были прелюдией к длительному крестному пути, который уже вырисовывался перед нами, как неизбежное завершение врангелевской авантюры. Ночь на 3 октября большинство

из нас инстинктивно расценивало как начало нашего конца. Это понимала и хорошенькая Маруся, дочь моего хозяина в Токмаке. Она привязалась ко мне после почного налета. Но во время наших дружеских бесед ее нежное личико часто омрачалось складками грусти. А иногда, уходя за дверь, она плутовато блистала глазенками, покачивала головой и нараспев говорила:

Офицерик молодой,
Погои беленький!
Утекай за Перекоп,
Пока целенький.

XX. «Хап-Греб-Драп-Армия»*

Как ни твердила осважная пресса о том, что мира между поляками и большевиками не будет, Рижский мир все-таки сделался таким фактом, что замалчивать его стало невозможно даже в Крыму⁹⁹.

— Теперь конец нам! — промелькнуло при этом известии в голове почти у всех сколько-нибудь мыслящих участников врангелевского набега.

Легкомысленные думали отсидеться в Крыму зимою, поверив газетным сведениям о неприступных укреплениях Перекопа.

— Ведь уж, наверно, за лето сделаны достаточные запасы хлеба. Тесно в Крыму будет, слов нету, но как-нибудь перебьемся до весны.

— Ну, а там что?

— Там? Что-нибудь да будет. Весной наши дела всегда лучше.

Эта надежда на «что-нибудь» была равносильна ожиданию чуда, которое только и могло спасти нас.

Легкомысленные фантазеры уже строили планы, как мы будем «отсиживаться» на неприступном полуострове и год, и два; летом делать набеги на Северную Таврию для захвата хлеба и для похищения сабинянок, а на зиму опять залезать в свою нору.

Крымская пресса, по обычаю, утешала армию и общество тем, что это еще не конец; что у большевиков до того расстроен транспорт, что они не смогут подвезти

* Шуточное название Добровольческой армии от слов хапать, грабить, драпать (утекать).

достаточного числа войск для быстрых действий на нашем фронте; что французы, признавшие южнорусское правительство Врангеля de jure, не позволят большевикам окончательно разгромить крымскую армию и спасут ее, как спасли Польшу.

Тосклива была осенняя природа в степных деревнях. Тоскливо было в опустошенной душе. Тоскливо звучал врангелевский приказ, извещающий о заключении Рижского мира.

«До сих пор мы вели войну в союзе с поляками, но они предпочли разговаривать с Советской властью вместо того, чтобы сражаться против нее. Однако с нами бог. Из далекой Сибири атаман Семенов¹⁰⁰ прислал мне приветствие. Он пишет, что признает южнорусское правительство и подчиняется главнокомандующему вооруженными силами юга России, веря, что «русская» армия сокрушит большевизм. Такие упования на нас возлагают многие. Мы не одни. У нас есть союзник. Этот союзник весь русский народ».

Вместо того, чтобы заблаговременно увести войска за Перекоп, Врангель начал лишь суживать фронт. Вождь, видимо, не хотел навести панику быстрым отходом в Крым. Существовала и другая причина задержки в Таврии. Из этой последней еще не успели увести на полуостров весь закуленный у крестьян хлеб.

Красные, невзирая на уверения крымской прессы, не заставили долго ждать своего напора.

12 октября мы уже стояли в Константинополе, возле самого Мелитополя, отодвинувшись назад чуть ли не на 70 верст. Жизнь в этом городе замерла. Летнее оживление как рукой сняло. Блестящий штаб 1-й армии, во главе с ген. Кутеповым, перекочевал в Чаплинку; здесь стоял штаб 2-й армии во главе со скромным ген. Абрамовым, который только что согласился занять эту должность после неоднократных просьб Врангеля.

Развешенные по улицам плакаты, конечно, извещали о том, что на Шипке все спокойно. А, между тем, бесчисленные обозы то и дело тянулись на юг вместе с журавлями. Общее отступление обозначалось все яснее и яснее. Отца Андроника и след простыл.

14 октября административная часть штаба получила распоряжение выступить в Крым. На официальном языке это обозначало, что штаб отправляют в район станции Сарабуз, около Симферополя, для более продуктивной ра-

боты, которая нарушается боевыми операциями. Только одна наша комендантская сотня, прибывшая из Орехова, получила новое задание — отправиться на подводах в Царедаровку, забрать там возможно больше хлеба и вывезти его в Мелитополь.

Ген. Тарарин так спешно двинул свое «дежурство», что забыл уведомить начальников частей корпусного управления, передвигавшихся вместе со штабом. Я был совершенно не в курсе дела и пил чай, когда увидел через окно движение штабного обоза. Очень было велико мое изумление, когда я узнал от своего помощника, что нас не только бросили, но даже на нашу долю нет подвод. Много мне стоило труда, чтобы выбраться из Константиновки и догнать обоз.

Уныло тащились сотни подвод по голой приазовской степи. Дул холодный ветер. В конце концов он обдал нас пушистым снегом. Это было совсем не по сезону. Но зимняя стихия всегда выступала против нас совместно с большевиками. Недаром у красных в эпоху гражданской войны сложилась пословица «Зима наша, лето ваше».

Когда к вечеру мы кое-как дотащились до дер. Родионовки, вьюга намела целые сугробы. Ковыляя по заваленным улицам этой деревни, мы обгоняли громадные колонны пленных красноармейцев. Их тоже гнали зачем-то в Крым. Оборванные, а то и вовсе раздетые, в жалких опорках, а иные и вовсе босые, в лучшем же случае с обернутыми в тряпки ногами, они утопали в снегу, судорожно ежились и порою поднимали вой, как голодные псы.

В Родионовке стоял штаб донской запасной бригады. Начальник ее, ген.-лейт. Иванов, сообщил мне и ген. Тарарину, что на фронте большая неустойка, стряслась какая-то беда, но точно и сам он не знает, в чем дело; впрочем, собирается тоже отступить со всеми своими подчиненными частями.

На следующий день мы уже не отступали, а бежали, и бежали без памяти. Наши подводчики, почуяв, что дела белых плохи, бросали на произвол судьбы своих лошадей и свои подводы и скрывались куда попало. Им вовсе не хотелось забираться в Крым, которому предстояло выдерживать осаду. Офицеры и их вестовые правили сами. Для казаков, привычных к лошадям, эта работа пришлась даже по душе.

Сильно дожимал холод.

Теплое обмундирование, конечно, было заготовлено и

даже доставлено на фронт. Но интенданты не спешили с выдачей и берегли его для красных. У этих последних в нашем стане не было лучших союзников, чем вконец проворовавшаяся интендантская братия. Чтобы скрыть растраты имущества, она часто жгла казенное добро, едва только проносился слух о близости врага. Каждый налет, более или менее серьезное наступление красных, не говоря уже о катастрофе, им давали возможность хорошо погреть руки и замести следы своих грешков.

На станции Светлая Долина (кол. Лихтенталь, недалеко от Гальбштадта) остался целый поезд с обмундированием, предназначенным для Донского корпуса. Даже корпусной штаб не мог выклянчить для себя ни одной вещицы и теперь разделялся за интендантские привычки, переноса невероятный «дрожамент»*.

Многие, чтобы согреться, соскакивали с подвод и бежали по дороге. Перчаток почти ни у кого не было.

— А вот этим не холодно.

— Кому?

— Цыганам.

В стороне от дороги небольшой табор. Все по положению: изодранные шатры, котлы над костром с варевом, грязные меднолицые цыганки, с босыми, поджатыми под себя ногами, партии полуголых ребятишек.

— А вы эвакуироваться не хотите?

— Ну, и Кайново племя!

— Эге! Эта чертовка гадает.

Ворожею, гревшуюся у костра, окружает толпа. Цыганка понимает, что беглецам время дорого. Поэтому гадает быстро. Ее лучистые глаза молнией переносятся с ладони клиента на лицо.

— В агнэ нэ старись, в водэ нэ утонэшь... Давай деньги...

— Ишь, стрекоза, чего насказала! На тебе.

Гадалка берет все: и «колокольчики»**, и «хамсу», и «лиловых негров»***, — такие странные названия пошли на обывательском языке южнорусские деньги в 1000, 500 и 250 рублей.

В Волкопештах штаб едва расположился на отдых, как

* Дрожь.

** На этом денежном знаке эпохи Деникина изображался Царь-колокол.

*** Совершенно шуточное прозвище, по цвету.

из Мелитополя было получено телеграфное распоряжение всем и всякому уходить как можно скорее в Крым. Случилось что-то чересчур серьезное. Я несколько пачинал догадываться, судя по тому, что множество всяких обозов прибилось к азовскому побережью и следовало вместе с нами. Опасность, видимо, двигалась с запада, со стороны злополучной красной болячки — Каховки.

Теперь уже бежало решительно все, что мы видели, что догоняли и что имело хоть какое-нибудь отношение к «Святой, Великой, Единой и Неделимой».

Большая деревня Ново-Григорьевка, верстах в 35 к северу от Геническа, в Северной Таврии, была последней, давшей нам приют на несколько часов, чтобы хоть чуточку обогреться.

— Почему так спешим в Крым? Ведь сзади нас еще целая армия? — задавали многие во время этого «драпа» вопрос, находясь в полном недоумении.

В Ново-Григорьевке они получили определенный ответ.

Случилось то, что и следовало ожидать: в сердце «русской» армии через каховские мосты врезался сам Буденный и стремился отрезать ее от Крыма.

— Наш единственный путь в Крым — по Арабатской стрелке. Надо спешить в Геничesk, — пропеслось по учреждениям.

Медлить не приходилось. Часов в 8 вечера бесконечные ленты обозов, донских и добровольческих, потянулись из Ново-Григорьевки на юг.

— А вдруг и Геничesk уже занят? — мелькнуло в головах.

— Ст-о-ой! — несется от подводы к подводе.

Генералы собираются на совет среди поля. Никто толком не понимает обстановки и все сожалеют, что это громадный, но бессильный обоз, а не войско, с которым можно было бы ударить на врага.

С юга по дороге мчитя телега.

— Куда? Куда? Остановитесь.

Из кузова на землю вылезают пристав и стражник. Они в смертном ужасе. Даже говорить не могут.

— Что? В чем дело?

— Ге... ни... чesk и Ново-Але... е... ксеевка заняты красными!

Мани-Факел-Ферес! Вся армия Врангеля отрезана от Крыма.

— Когда это случилось?

— Несколько часов тому назад. Однако с севера подошли наши бронепоезда. Из-за Сивашей наши тоже обстреливают Ново-Алексеевку.

Отчаяние рождает мужество.

На юг! Другого исхода нет. Так постановили генералы.

Впереди обоза отправили авангард, человек сто разного сброда из запасных частей. На эту охрану никто не надеялся. Не надеялись вообще ни на что. Ломили в Крым по инерции.

Нас окутывает черная мгла. Изморозь пропизывает все члены тела. Двое суток беспардонного бегства уже дают себя знать. Перед лицом явная опасность. Но от холода, голода, от сознания роковой катастрофы тупеют чувства и родится деревянное безразличие ко всему.

Бешено понеслись обозы.

Куда?

Навстречу смерти.

Вот, в туманной мгле то и дело сверкает ее коса — рвутся шрапнели. Выстрелов в сыром воздухе не слышно. Но эти зловещие поднебесные светляки ясно свидетельствуют, что там, куда мы катимся лавиной, происходит бой.

Ах, скорее бы всему конец. Хоть бы и смерть.

В дер. Ушкуи, в 4 верстах от Ново-Алексеевки и в 12 от Генческa, грандиозные, но жалкие обозы остановились. Время приближалось к трем. Здесь всюду царила зловещая тишина. Мороз сковал все, всех загнал греться, впрочем, кроме тех, кто стоял на дороге, как мы.

Натаскав из скирд соломы, казаки развели бесчисленные костры. Последние спасли нас не только от холода, но, как потом оказалось, от верной гибели.

Начало рассветать. Нужно было что-нибудь делать. С минуты на минуту на нас могла обрушиться красная конница, которая стояла так близко от нас.

Вдруг неожиданный клич:

— Назад, в Ново-Григорьевку! Туда сейчас должны подойти части Гусельщикова.

Тысячи всяких экипажей опять мчатся по скованной морозом дороге.

Поднялось уже солнышко и порадовало злосчастных спасателей отечества ярким, но прохладным днем. Снега в здешних местах почти нет.

С севера движется настоящее войско.

Спасены!

— Тыловая сволочь!

— Военные туристы!

— Остановитесь! Дайте полюбоваться на вас. Ведь увидим впервые.

— В плети бы их.

Так приветствуют нас наши спасители, казаки и офицеры 7-го Донского полка.

Спокойно идут группами по дороге и по замерзшей нахоте настоящие воины, твердо держа в руках винтовки. Громяхают многочисленные тачанки с пулеметами. Начальство большей частью верхом. Немало народа и на подводах. У полка тоже внешний вид бродячего табора. Но этот табор организован, как боевая часть.

Мы поворачиваем на юг. За спиной полка не страшно. Опять Ушкуи. Остановка.

Полк развертывается. Обозначаются цепи. На наших глазах завязывается бой. Понемногу начинают грохотать орудия. Временами трещат стальные стрекозы — пулеметы. Полк окружает чернеющую вдали Ново-Алексеевку, ту самую, где в конце мая нас самих атаковала красная конница Блинова.

Когда стало известно, что Геничesk свободен от неприятеля, обозы бешено понесли в этот город, подгоняемые шумом битвы. Нет уже линии экипажей. Есть сплошная движущаяся по полю куча. Чемоданы, мешки, сундуки летят на землю. Некогда поднимать. Вот валяется «дежурный» гроб. Его уронила лазаретная линейка. В этот час смертного страха никого, разве кроме исключительно цельных натур, не интересуется ни свое, ни чужое, ни казенное добро.

Красная конница, заняв Геничesk, продержалась в нем всего несколько часов. Даже не уничтожила деревянного моста через Сиваш, у дер. Ушкуи. Красные командиры, судя по числу костров, решили, что это подошли с севера громадные силы, быть может, целая дивизия. Разведка в ночной темноте ничего не могла дать. Притом сами красные страшно перезябли и измучились не меньше нашего. Боязнь погибнуть в углу между Сивашами и морем побудила их отойти обратно к Ново-Алексеевке, возле которой наш 7-й полк вступил с ними в бой.

В Крым открылась дорога. По крайней мере — для обозов.

Арабатскую стрелку, этот странный каприз природы, точно само провидение создало для того, чтобы грандиозный тыл крымской армии мог спастись от захвата в плен.

Узенькая полоска земли, где в одну, где в две, где и в пять верст шириною, тянется на протяжении 110 верст по Азовскому морю с севера на юг, от г. Геническа в Сев. Таврин до сел. Арабат в Крыму.

Почти двое суток шла непрерывная переправа обозов в Геническе через полузамерзший Сиваш.

В районе же Ново-Алексеевки шли упорные бои. Это Донской корпус пробивал себе путь на Чонгарский полуостров.

Под неистовый грохот орудий Канэ на бронепоездах тыловое папургово стадо прощалось с Северной Таврией, которую так безжалостно оно опустошило за время своей непрощеной пятимесячной гостьбы.

В Геническе, где образовался затор обозов, стоял дым коромыслом. Около моста подводы, спускаясь с горы, давили одна другую. А в городе шли погромы. Скучая от безделья и мучась от холода в ожидании движения к переправе, любители погромного спорта приступили к работе и в первую очередь растащили мануфактуру из казенных складов. Она предназначалась для расплаты с крестьянами за муку. Этой последней в городе были навалены целые горы. Но мы ~~не~~ ^{не}могли достать ни одной корки. Дошла очередь до винного склада. Грабеж этого учреждения прекратила откуда-то взявшаяся корниловская рота, которая приставила к складу крепкий караул и объявила вино своей собственностью.

Мой Маркуша то и дело отлучался от подводы.

— Как тебе не стыдно! Спеси назад! — набросился я на него, когда он притащил две «штуки» ситца и даже похвастался мне своей добычей.

— Ну, вот еще! — преспокойно ответил он; тщательно засовывая ситец в свой холщевый мешок. — Сколько времени воюю, а даже рубашки казенной не получил. Что есть на мне, все ваше. Надо же хоть раз от казны что-нибудь взять.

Маркуша был прав, считая себя кредитором казны. Все его обмундирование, когда он впервые прибыл ко мне из комендантской сотни, составляли одни только рваные штаны. Ни ботинок на ногах, ни шапки на голове. Все, что имел ранее, он проел еще в госпитале, страдая от недостатка пищи после тифа. Я долго был в недоумении, не зная, что мне делать с совершенно голым вестовым, тем более что и сам имел самый ничтожный запас одежды.

За весь крымский период войны на Маркушину долю от казны не перепало и пары чулок. Больших трудов стоило мне одеть своего стареющего слугу, который платил мне за это отеческой заботливостью. Он, быть может, начал бы и уважать меня, если бы не мои, по его мнению, крайне извращенные понятия о праве собственности. На его взгляд, чужое добро надо уважать лишь до тех пор, пока оно не требуется себе самому, а не всегда и при всех обстоятельствах. Этот мой серьезный недостаток старик всецело объяснял моим низким, т. е. не казачьим, происхождением и принадлежностью к такой зловредной корпорации, как судейская.

Арабатская стрелка, этот крошечный поясok земли среди Азовского моря, не везде безжизненна. Помимо разбросанных там-сям рыбачьих хижин, есть несколько селений. Наша орда их разграбила окончательно.

Первой жертвою этого страшного потока сделалась деревня Геническая Горка, в 10 верстах от города. Я добрался до нее утром 17 октября. Во дворах — подводы, костры, измученные люди. На месте заборов и сарайчиков одни следы.

Подъезжаю к крайней хате. Подле погребца, понурив голову, но не смея пикнуть, ежится на морозе баба. Сейчас только два казака вырвали у погребца дверь и утащили к костру.

— Чисто?

— Все, все забрали... Поросеночка берегла к празднику. И того в мешок к себе бросили. «Зачем, говорят, оставлять свинину жидам... Они ее все равно есть не будут, а мы за милую душу».

Зайти в хату нет силы: все полным полно. То же и в сенях, дверь в которые изнутри открыта нараспашку. Жарко, кисло. Тут в сенях сплошное свалочное место. Мучительно хочется спать. Завидую тем, кто валяется на полу, один на другом. Для меня и на полу нет пристанища.

— Тискайтесь, господин полковник. Тут подле меня как-нибудь примоститесь! — слышу знакомый голос.

Это один из офицеров оперативной части нашего штаба, есаул Якушов. Он — сам четвертый, лежит на столе.

Тискаюсь через сени. Наступаю, кому на ногу, кому на бок. Вдгонку несется неистовая брань. Но заветный Рубикон-порог перейден.

В квартире тоже «чисто». Раскрытые пастежь шкафы

блистают пустотой.. Ни чашки, ни ложки.

— Как вся эта беда случилась? Как произошло?

— Напор Буденного, понятно. Кто успел — отступил за Перекоп, как дроздовцы; не успел — или в плену, или прижат к Азовскому морю.

— Где наш корпус?

— Он был еще севернее Мелитополя, когда красные повели наступление. Получилась страшная каша. Наши двинулись на юго-запад бить Буденного, части Буденного — на север бить нас. В одну и ту же деревню одновременно приходили ихние и наши разъезды. Красные войска пока что малочисленны. Притом они растянулись от Днепра до Азовского моря. Наши пробьются, если уже не пробились в Крым.

Дальше ничего не понимаю, что говорит есаул. Сон закрывает мои веки.

Следующий день, и снова путь. Опять пригрело солнце. Даже потеплело. Можно расстегнуть пальто.

Самый большой поселок на середине стрелки — Чекрак. Его тоже облепила саранча.

— Нет ли где свободной хаты? — обращаюсь к есаулу Лазареву, адъютанту инспектора тыла.

— Хаты? Скажите спасибо, если удастся завести куда-нибудь во двор лошадей. Но черт с ним, с жильем. Есть беда хуже: лопать нечего. Если бы грабили с толком, еще ничего бы. А то посудите: вот я сейчас ходил, отнимал баранов у партии каких-то кубанцев. Их всего две подводы, а они перевезли целое стадо. Инспектор тыла приказал — хозяину возместить деньгами, а у кубанцев отобрать лишнее для других учреждений.

У ворот маленькой, плохонькой хатки красные лампы.

— Донцы?

— Донцы... Пожалуйте к нам.

— Тут какая часть?

— Разве не узнаете? Информационное отделение.

— Фу, слава богу.

Начальник нашего Освага симпатичный полковник М-в. В предыдущие дни я часто ехал рядом с ним и достаточно сблизился.

В хате — обед. Человек 15 казаков и офицеров, кое-как разместившись на грязном полу вокруг большого чугунного котла, прикапчивают вареного поросенка.

— Купили?

— Боженька дал. Он у нас добрый. Вчера послал барашка, сегодня поросеночка. Не забудет и на завтра. Не угодно ли? Не кочевряжьтесь. Закон соблюдать будете, умрете с голоду. Все равно, добром нигде ничего не купите. Кому теперь нужны наши деньги.

Делаюсь оппортунистом. Ем горячее впервые за пять дней.

— Насупротив драка! — докладывает сторож, который стерег во дворе лошадей и теперь пришел за своей порцией. — Вестовые какой-то комиссии пришли во двор, где стоят артиллеристы. Этим обидно стало. «Тут, говорят, наш район для воровства, не ваш. Мы к вам не ходим партизанить. Надо же совесть знать. Ведь не большевики мы». Пошумели, а теперь уже взялись за колья.

— Чего нейдет Михаил лопать?

— Он что-то дюже интересуется скандалом.

Приступили к чаепитию.

Вдруг дверь из сеней распахнулась, и в хату бомбой влетел денщик полковника Михаил, таща за клюв гуся. Пернатый пленник, как ни силился, не мог издать ни одного звука. Через полминуты его голова уже валялась на полу, а туловище судорожно билось между ногами белобрысого Михаила.

Казачонок доволен, точно одержал трудную победу над неприятелем.

— Смотрю это я на них, — рассказывает он несколько пискливым голосом, — как они скандалят. А гуси, из-за которых спор, вышли на улицу. Один чтой-то облюбовал нашу сторону, на меня заглядывается. Дюже я ему понравился. Ну, чего, думаю, ему тут ходить? Да и нам на ужин что-нибудь надо. Подманил к воротам хлебом. Он, сердечный, и носик протянул. Тут-то я и сгреб егоый клюв, чтобы много не разговаривал, не шумел.

Этот Михаил, как я убедился впоследствии, был, действительно, мастером своего дела. Едва подводы подходили к человеческому жилью, как он нюхом чуял, где запрятан поросенок или овца. Лошадей еще не успевали распрячь, как он уже тащил к подводе добычу.

Во время движения по стрелке грабеж получил право гражданства. Не было никакой власти и силы, чтобы сдерживать эту буйную орду. Да и сдерживать было немислимо, так как грабить заставлял голод, этот царь беспощадный. Население не смело и пикнуть. Оно как-то ступевалось, забилося в углы, затерлось среди пришлого многолюдия.

Нашу комендантскую сотню, во главе с комендантом штаба полк. Грековым, мы считали погибшей. Но она приплыла сюда, в Чекрак, на рыбацких судах с Бирючьего острова, куда забралась, спасаясь от красных.

— Думали, конец, когда узнали, что отрезаны от Крыма. Пошли по косе между морем и Молохим озером. Затем на простых лодках переправились на Бирючий остров. Далее нет пути. Трясла лихорадка. Нет же! Спаслись от позорной сдачи. Из Генческа приплыли рыбаки. Мы у них захватили парусник.

— А где дьякон Преполовенский?

— Остался... К своим перешел.

— В каком месте?

— В Кирилловке. Не захотел дальше идти с нами. Залез на печь. «Не пойду, говорит, в Крым: у вас нет правды». Дали ему подзатыльника. Всурьез не захотели возиться. А он нам вдогонку по-своему, по-поповскому: «Живущий на небеси, говорит, посмеется вам». Непутевый был! Разве жалко такого.

Эта бедственная экспедиция за хлебом не прошла без пользы для полк. Грекова и его подчиненных. В Царедаровке ему некогда было забирать хлеб, но он успел отбить у крестьян мануфактуру, которую те расхищали из казенного склада. Хоть и с большим трудом, но ее удалось привезти в Чекрак. После этого комендантские подводы распухли больше прежнего.

Наконец, настал радостный для населения Чекрака день, в который голодная саранча потянулась к югу.

Я зашел к «информаторам». Они все были в сборе и стояли подле подвод. Михаил тщательно укладывал в телегу какой-то странный предмет, который то тут, то там вынычивал верх брезента.

Мимо уже проходил обоз «дежурства».

— С богом! — скомандовал М-ов.

Подводы стали медленно вытягиваться из ворот на улицу.

Казаки, под управлением помощника М-ва чиновника Наумова, затащили на прощанье свой «национальный» гимн, такое же романтическое произведение, как и сами казацки государственные образования¹⁰¹.

Всколыхнулся, взволновался
Православный тихий Дон
И послушно отозвался
На призыв свободы он.

Зеленеет степь родная,
Золотятся волны пив.
Из простора долетая,
Вольный слышится призыв:
Дон детей своих сзывает
В круг державный-войсковой,
Атамана выбирает
Всенародною душой.
Славься Дон и в наши годы!
В память вечной старины,
В час невзгоды честь свободы
Защитят твои сыны.

Уныло, как погребальный звон, неслись звуки этой песни здесь, среди моря, из уст голодного, бродячего люда, который отправлялся в неведомую даль разделяться за мечты казачьих политиков и честолюбие своих атаманов. Не торжественный гимн пели в этот час доицы, а читали свой приговор, в котором указывалась их вольная или невольная вина, обрекающая их на мучительное скитальчество.

Глядя на бесконечные ленты обозов, просто не верилось, что все эти перевозочные средства собраны только в одной Таврической губернии. И тут же приходил на мысль другой вопрос: а что же осталось у населения и во что обошлась таврическому крестьянству затея Врангеля?

В самых лучших экипажах ехали, разумеется, женщины, жены или содержанки офицеров, в сопровождении «набивших ряжку»* денщиков. Велик женский полк, и нет ему конца.

То и дело чернеют лакированные немецкие кареты, удобные для зимы или непогоды ящики. Приказ Главнокомандующего вовсе воспрещал их реквизировать. Врангель здесь, на стрелке, мог проверить, как исполняли этот приказ его подчиненные.

Вон пара одров еле-еле тащат по песчаному грунту такой необходимый для войны предмет, как бочка с награбленным в Геническе вином. А вон уже совершенно фантастическая картина: отбитый у красных верблюд запряжен в... аэроплан.

— Смотрите, господин полковник, — ухмыляется старый, но зоркий Маркуша, указывая на черную карету, — нежная дамская ланка чего-то машет вам в окошечко.

— Да, что-то видно. Вроде, как шерстяная перчатка.

* Набить ряжку — отъестся.

Экипаж равняется с нами. Из раскрытого окошечка высовывается медвежья пасть.

— Это тот самый, что в Пологах в плен взяли. Везут, а зачем, никто не знает. У нас с вами телега без кузова, а для зверя крытая карета.

Обозы, обозы, обозы...

— Большие штабы, большие обозы, маленькие таланты — большие поражения, — вспоминаются слова известного полководца XVIII века Морица Саксонского.

Кто-то вычислил, что, по самому скромному подсчету, через стрелку прошло около 10000 всяких экипажей. Возчики давно уже все сбежали. Ни солдаты, ни офицеры не имели основания беречь то, что побросали хозяева. Крестьянское достояние гибло. Мы нещадно уничтожали его. Стрелку, с ее мучительным для лошадей песчаным грунтом, можно было смело назвать конской могилой. Я как-то раз на протяжении только одной версты насчитал 50 лошадиных трупов.

Восстановление разрушенных большевиками хозяйств с помощью армии бездомных бродяг... Гражданская война во имя народного блага без участия народа... Спрашивается, какой же только обитатель преисподней мог натолкнуть на эту мысль барона Врангеля?

XXI. Никому не нужные

Пораженная в самое сердце, армия Врангеля все-таки сумела прорваться за Перекоп и Чонгарский мост, потеряв в Северной Таврии до 60% своего состава. Мобилизованные красноармейцы, по большей части, разбежались из своих полков в период отступления. Новые формирования, вроде 6-й дивизии, рассеялись. Да и старые, коренные кадры сильно поредели. От корпуса Слащева остались одни воспоминания.

Немало попало в плен и тыловых частей. В Ново-Алексеевке красная конница захватила поезд с разными учреждениями. В их числе был и корпусной суд нашего корпуса. Часть моих коллег, во главе с прокурором ген. Поповым, успела убежать в Сальково; председатель же суда ген.-лейт. В. Петров и военный судья полк. Замчалов погибли.

Пир кончился бедою. Крым снова превратился в осажденную крепость. Но теперь против него стояли уже не

красные заслоны, а могучая рабоче-крестьянская Красная Армия, закалившаяся в борьбе с Польшей¹⁰². Весною красные проявляли слабую активность. Теперь Троцкий предписал взять Перекоп к трехлетнему юбилею существования Советской власти. В революционных армиях — это знали грамотные люди и в белом стане — приказами шутить не любят.

— Я осмотрел укрепления Перекопа и нашел, что для защиты Крыма сделано все, что только в силах человеческих, — писал Врангель осенью в одном из своих приказов, объявляя благодарность руководителю фортификационных работ ген. Фоку.

— Это почти второй Верден, — писали газеты. — Непроходимая сеть проволочных заграждений... Глубокие окопы... Бетонированные блиндажи... Тяжелая артиллерия... Подъездные пути.

Грозные укрепления оказались только на бумаге. Инженеры обманывали Врангеля, Врангель обманывал себя и свою армию. Когда «цветные» части, отступая к югу, увидели этот второй Верден, они ахнули от изумления. Преступная ложь выявилась всюю.

Линия жалких окопов, с обычными проволочными заграждениями впереди, но с незначительным обстрелом, никем не охранялась. Окрестные крестьяне сильно повредили эти «укрепления», раскрадывая деревянные части, как-то: колья, обшивку и т. д. Тяжелая артиллерия оказалась налицо, но не могла стрелять, так как не имела пристрельных данных, не существовало наблюдательных пунктов и не была налажена связь между батареями.

Стояли сильные холода, но ни барачных, ни землянок не удосужились соорудить подле позиции. Войска замерзали, проклиная на чем свет стоит своих интендантов, снабжавших иностранным обмундированием одну только Красную Армию.

Время едва еще перевалило за половину октября. А что же будет зимою?

Пока две рати стояли у Перекопа друг против друга, Врангель предусмотрительно начал готовить пароходы. Так как в Крыму не хватало каменного угля, крестьяне, по распоряжению властей, стали свозить в портовые города большие запасы дров из лесных дач. Вождь не хотел повторить новороссийской ошибки Деникина и рассчитывал, в случае неустойки на фронте, увезти всю свою

армию в целости за границу.

Начались бои за обладание Перекопом.

Доступ в Крым через малодоступное чонгарское де-филе защищали допцы. Но здесь красные сильно не напирали.

Мы, тыловая армия, в это время странствовали по Крыму. Донские учреждения направились от Арабата по предгорьям Яйлы в Сарабуз, железнодорожную станцию близ Симферополя, от которой идет ветка на Евпаторию. В штабе все еще находились чудаки, которые старались уверить себя, что в районе Сарабуза нам предстоит зимовка.

Блуждая по глухим деревням, то по немецким, то по татарским, мы не имели никаких сведений о том, что делается на фронте. Все внимание нашей братии сосредоточивалось на том, чтобы обеспечить себе на ночь ночлег под крышей, на день — хоть какую-нибудь еду. Татары и на самом деле были бедны и при всем своем радушии не могли накормить, как следует, голодную саранчу. Зажиточные, но кряжистые немцы, пичуть не входя в бедственное положение «спасателей отечества», категорически отказывались менять съестные припасы на ничего не стоящую «хамсу». Наиболее богатые проявляли наибольшую жадность.

В экономии известного всему Крыму богача Шлее наши штабные генералы не могли разжиться никакой живностью, невзирая на то, что она переполняла хлевы и птичники. Через три дня этот кашей бессмертный сам бежал с семьею из своей экономии вслед за армией, бросив на произвол судьбы все свои запасы. В 1922 году я встречал его в г. Варне (в Болгарии). Он с презрением поглядывал на русскую, эмигрантскую бедноту и мечтал о возвращении своих имений с помощью армии Врангеля.

В одном районе мы натолкнулись на «базу» кавалерии ген. Барбовича¹⁰³, т. е. тыловой район регулярной кавалерии крымской армии. Тут было настоящее царство пижонов-корнетов и изящных жоржиков. Новенькие с царскими вензелями погоны. Пишютовски-утонченные манеры в отношении друг к другу и безбожное «цуканье» одурелых, правда, немногочисленных, солдат. Трудно было определить, готовили ли здесь бойцов на фронт или дрессировали двуногих и четвероногих животных для цирка.

29 октября штабной обоз добрался до Сарабуза и нашел

здесь столпотворение вавилонское. Иначе и не могло быть. Тут только одних комендантов насчитывалось до 12: комендант района, комендант селения, комендант станции, комендант этапа, комендант штаба корпуса и т. д. Вся их деятельность сводилась по преимуществу к добыванию подвод, так как предстоял последний и решительный «драп».

«Неприступные» перекопские позиции оказались очень доступными противнику. Красным немало помог и мороз. Люди севера точно принесли его с собою в Крым. Сиваш несколько подмерз. Неприятель, кое-как перебравшись через него в одном месте, утвердился на маленьком выступе перешейка, на так называемом Литовском полуострове, в тылу перекопской позиции. Красная Армия на этот раз ударила не в сердце нашего расположения, а в спину.

Литовский полуостров и прилегающее к нему побережье считались менее всего подверженными опасности. Здесь несли дозорную службу кубанцы Фостикова, только что прибывшие в Крым с Черноморья, куда этих повстанцев загнали красные кавказские войска¹⁰⁴. Измученные, плохо одетые, притом привыкшие только к налетам, они оказались негодным материалом для позиционной войны, и в буквальном смысле проспали переправу красных из Таврии на Литовский выступ.

Дроздовская дивизия, на которую обрушились красные из этого пункта, едва не погибла целиком. Все «цветные» войска стали спешно отступать к Юшуню — последней позиции на перешейке.

Со стороны Чонгара двинули было на помощь донцов. Помощь запоздала. Утром 29 октября неприятель прорвал и юшуньскую позицию. Для Красной Армии открылась широкая дорога в Крым.

Неприступная твердыня пала. Крымская авантюра кончилась.

— Спасайся, кто может! — пронесся роковой клич.

Теперь уже смешалось все вместе: обозы, строевые части, гражданские беженцы. Все хлынули к портам.

Донскому корпусу для погрузки предназначалась Керчь. Нам, которые только что промаршировали поперек всего Крыма с востока на запад, снова предстоял такой же путь с запада на восток и даже более дальний, так как Керчь находится в самом отдаленном, юго-восточном углу Крыма.

30 октября все ринулось из Саракуза страшным потоком. Разумеется, под аккомпанемент пушечной музыки.

Мысли притупились. Еле-еле запечатлеваются картины скорбного пути. Погром в Карасубазаре. Все как в тумане. Ясно одно: мы мертвецы, гражданская война кончена.

— Как бы не пали лошади и как бы застать в Керчи хоть один пароход! — мелькает в голове.

— Спешите в Керчь, — сказал утром 30 октября ген. Абрамов, проезжая из Симферополя в Джанкой, чтобы оттуда направиться в Керчь поездом. — Если доберетесь в три дня — ваше счастье, иначе сядете на мель.

Всякий из нас понимал, что значило «сесть на мель».

— Вывел с честью из положения! — иронизировали вслух по адресу Врангеля.

Донской виршеплет Борис Жиров так изобразил начало и конец крымской эпопеи:

Вначале шли дела отлично,
Брыкался Врангель энергично
И, развивая в красных злобу,
Разбил в боях упорных Жлобу,
На север Таврии залез,
Но тут-то и попутал бес —
И вместо славы, вместо блеска
Вдруг получилась юмореска.
И в опасности панической
Из губернии Таврической
Мы, намазав салом пятки,
Удирали без оглядки.
Без особенной амбиции
Перекопские позиции
Сдавши красному врагу,
Крым бросали на бегу.
Провалился Кривошеин:
План его, как дым, рассеян.
Не помог земельный акт:
Крым проспали... грустный факт!
Унесли лишь еле ноги
В хаотической тревоге.
Стыд и совесть заглуша.
Грабил всякий, в порт спеша.

Я со своими двумя подводами отбилсЯ от «дежурства» на второй же день пути. Ген. Тарарии так торопился, что прибыл в Керчь на сутки раньше меня. В Старом Крыму мои лошади выбились из сил. Пришлось добывать новых.

— Заморени са кончета... Сега току че от Феодосия са заврыштали (лошади заморены... Сейчас только что вер-

нулись из Феодосии), — взмолились подводчики-болгары, которых мои писари словили среди деревни.

— Ладно! До утра дам отдых, — согласился я, и сам всю ночь сторожил их во дворе. Мои люди отсыпались в хате.

Чуть рассвет, — снова путь в гуще каких-то неведомых обозов. Снова мелькают горки, деревни и всюду телеграфные столбы.

— А ведь эти не спешат! — кричит с задней подводы Маркуша.

— Кто? Где?

— Вон справа, возле дороги.

Взор падает на группу каких-то милых людей, свернувших с пути. Они расставили столы, стулья, пьют чай из самовара. Разнокалиберное общество. Женщины. Мужчины. Точно пикник. Едут с прохладцей.

— Что за учреждение?

— Комиссия...

— Военно-судебная?

— Нет! По реализации военной добычи.

— Видим, видим!

Подводы нагружены всяким добром сверху до низу.

— А это тоже военная добыча? — кричит Маркуша, тыча в подводу с мягкой мебелью. — У какого неприятеля отбили? У васильевских молокан или мелитопольских евреев?

В Феодосии уже господствовала местная красная власть.

В этом порту грузились кубанцы Фостикова, успевшие побыть в Крыму не более двух недель. Когда я проезжал через порт, большие толпы злополучных казаков бродили по берегу, усеянному осколками взорванных снарядов, и со злобой поглядывали на морскую синеву, среди которой чернело несколько пароходов.

— Почему вы не погрузились?

— Та вин бисов сын Хвостик не велел. Нема, бачит, места. Пулеметы выставил.

— Что же вы думаете делать?

— Та в горы... зеленые примут.

Многие из этих несчастных, брошенных своими, брели по берегу, направляясь пешком в Керчь. Один подарил мне хотя и не ценную, но с красивой резьбой на меди кавказскую шапку.

— На якой вона мне бис... Я воевать больше не пийду. Навоевался.

В Керчи этот подарок у меня украли свои же штабные казаки.

Проехав верст 30 на Феодосию, мои подводы свернули с тракта на проселочную дорогу и поехали совсем пустынным берегом. Возницы-болгары так убедительно доказывали свое знакомство со здешними местами, что пришлось согласиться на их предложение пробираться в Керчь кратчайшим путем. Ночью часа четыре отдохнули в татарской лачуге. Хозяин угостил нас сыром и призывал на наши головы благословение Аллаха, когда мы утром, еще в абсолютной темноте, направились дальше, не причинив ему никакой обиды.

— Недобрый знак! — подумал я, поглядев в сторону гор и заметив там несколько беззвучных разрывов шрапнелей.

Сердце ёкнуло. Неужели не удастся пробраться в Керчь?

Чтобы не навести паники на своих подчиненных, я промолчал о своих зловещих наблюдениях.

Лошади насили волочат ноги. Мы перерезаем напрямик какой-то криж.

В большой деревне Марфовке, населенной болгарами-колонистами, веселье: справляют свадьбу. Звонят бубенцы, разливается песня, даже палят вверх для удовольствия и шума. Этим людям труда, сытым и одетым, решительно нет никакого дела до того, что кучка бездомных и голодных вояк в смертной тоске удирает через их селение от страшного врага. Их мало трогает то, что творится у Ак-Моная и в Владиславовке, где я заметил разрывы снарядов, и уж наверно они вовсе не думают о той трагедии, которая разыграется сегодня или завтра в керчинском порту.

А наивные из нашего стана еще мнили, что мы кого-то от кого-то спасаем, творим великий жертвенный подвиг...

— Какая-то конница... Неужто красные? Вон спизу, по большому трахту, — кричит зоркий Маркуша с задней подводы.

Спускаемся мелкой рысцой по прямоезжей дороге на широкий почтовый путь.

День яркий, даже теплый.

У колодца нас настигает конница. Но это свои: конвой командира донского корпуса, во главе с начальником оперативной части полк. ген. штаба Ситниковым.

— Как? Вы еще не в Керчи?

— Отстал от «дежурства» из-за лошадей.

— Гоните! Можете ведь опоздать... Сзади уже никого нет. Мы последние.

Все, что уцелело от крымской армии, так стремительно неслось в порты, что красные много отстали. Подъехав к Керчи, мы увидели два конных донских полка, которые были выставлены для ночной охраны. Погрузка предполагалась только завтра, так как неприятель не наседал.

В запруженном подводами городе я насилу добрался до ген. Абрамова, остановившегося со штабом 2-й армии в лучшей гостинице. Но прежде чем я попал к нему, на меня набросился очень изысканно одетый генерал генерального штаба:

— Где у вас погоны на пальто? Почему их нет? Безобразие... Что вы, большевик, что ли? Экая распущенность!

— Они были начерчены химическим карандашом, но стерлись в дороге. Ведь три недели непрерывного бегства...

Генерал долго не мог успокоиться и, если бы командующий армией не подошел мне на помощь, то готов был отправить меня под арест.

Белый стан погибал, но и погибая, не мог думать ни о чем другом, как только о погонах.

От ген. Абрамова я узнал только то, что «дежурство» уже погрузилось, что завтра будут грузиться строевые части и что на пароходах будет поднят французский флаг¹⁰⁵. И больше ничего!

Оперативная часть нашего штаба заняла гарнизонное собрание. Котик Д-ий, хозяин собрания, готовил ужин. Он тоже остался верен себе до конца: его подводы ломились от баранов и всякой живности, которую его сподвижники хватали, где могли, не боясь теперь никаких военно-судебных комиссий.

Погоны и грабеж. Грабеж и погоны... Кажется, в этих двух словах заключена вся сущность белого стана.

Ночь я проспал в битком набитой зале гарнизонного собрания, уместив ноги на подоконник, а туловище с головой на ломберный стол.

Наступило утро, серенькое, неприветливое. Солнце пряталось где-то в толще тяжелых облаков.

Начался парад, последний парад на родной территории. К гарнизонному собранию подошел конный полк Чапчикова. Едва на крыльце показалось корпусное началь-

ство, калединовский оркестр грянул марш.

И, наконец, — шествие на пристань. Музыка, наигрывая «Мичмана Джонсона», движется впереди полка, а сзади его — в первую голову несколько бочек с вином.

Погрузка началась скандалом.

— Вон тыловую сволочь! — орал командир платовского полка ген. Рубашкин, назначенный комендантом парохода «Екатеринодар». Когда же он узнал, что на пароход раньше его полка погрузилась ненавистная ему военно-судебная комиссия, пришел в неистовство.

— В нагайки их... Ставь пулемет!

На пристань полетели с бортов вещи злосчастных служителей Фемиды. Выбравшись с парохода, жрецы врангелевского правосудия не знали, как благодарить бога за то, что хоть остались целыми.

Не лучше обстояло дело и в 3-й донской дивизии, у ген. Гусельщикова. Когда обнаружилось, что казакам не хватает места на пароходе, он приказал выгнать всех бывших красноармейцев.

— Долой с парохода Ванькёв. На кой нам чорт сдались эти гниды!

— Ваше превосходительство! Вы же нас в строй поставили... Мы честно служили... Красные не простят нам измены...

— Не рразговаривать!.. И подохнете, не жалко!..

— Воевали, так мы нужны были, а спасаете шкуры, так нас по боку. Эх, вы!.. Раньше нас сами подохнете.

Каждый своевольничал, как ему нравилось. О планомерной погрузке не могло быть и речи.

Время шло, а от беспорядка погрузка замедлялась. От замедления же возникала паника, так как красные в любую минуту могли подойти к городу.

Я со своими людьми покорно ждал на пристани, думая, что вот-вот какой-нибудь распорядитель укажет, на какой пароход мне грузиться. Но проходили час, другой, третий. Один из моих писарей успел за это время сбежать в винный погреб, который грабили, и принес несколько бутылок «Массандры». Маркуша купил у бабы два хлеба, но не на деньги, а в обмен на несколько аршин ситца, утащенного в Геническе.

— А вы еще бранили тогда меня, что я украд! Сидели бы теперь голодом без ситца, — укоризненно заметил он мне.

Старик, по доброте своего сердца, не забыл и подвод-

чиков, отрезав им тоже аршина по три. Болгары раскрыли глаза от изумления и рассыпались в благодарности.

— Если еще раз будете в Крыму, непременно гостите к нам, — лепетали они.

Проходит еще час. На пристани дым коромыслом. Давка увеличивается. Между людскими толпами уныло бродят всеми покинутые лошади, чувствуя близкую гибель от голода и жажды.

— В баржу, братва! Ее повезут к пароходу, который стоит на рейде. Там пересадят, — проносится среди окружающей нас толпы.

В баржу так в баржу, не все ли равно?

В барже — каша. Дно ее покрыто слоем мелкого угля, который местами плавает, так как из пазов выступает вода. Чем больше набивается народу, тем больше покрывает она дно.

Вокруг меня — незнакомые лица. Только один свой — инспектор артиллерии нашего корпуса почтенный ген. А. И. Поляков. Изнемогая от усталости, он расстилает бурку на угольный бугор и садится, опустив ноги в воду. Я держусь за его плечи.

Наш Ноев ковчег, набитый только одними нечистыми (такими нас сделало бегство), начинает двигаться. Со дна не видно, кто буксирует нас. Мы видим небо и больше ничего.

А «протекция» баржи все больше и больше дает себя знать.

Скоро можно стоять только на больших кучах угля. Низины превращаются в озера. Казачья, спасаясь от потопа, лезет на борты.

— Когда же на пароход? Тут утонуть можно.

Неслыханная подлость! Наблюдатели сообщают с бортов, что нас stanовят в хвосте целой цепи таких же барж, из которых первая держится за какой-то пароход.

Недолгий ноябрьский день кончается. Не кончаются только наши мучения. Бурка ген. Полякова плавает. Ноги подкашиваются, но сесть нельзя.

Без конца длится эта мучительная ночь на воде — и в воде. За деревянной стенкой слышны легкие всплески волн. Мы еще, видно, не выбрались из Керченского пролива.

Чуть брезжит рассвет.

С бортов несутся нечеловеческие вопли.

— Оторвались! Ночью канат развязался...

— Ай... ай... пропали... мать честная!

Положение безвыходное. Легкий утренник гоноят нас по поверхности пролива. Кто схватится на пароходе об участи самой дальней баржи — восьмой по счету? До того ли? Никому не придет в голову в хаосе этого великого переселения народов разыскивать среди моря двести человек, которых унесло волнами.

— Станичники! — испуганно кричит на борту рябой, вихрастый казак. — Да ведь это Таманский берег... Тут большевики... Уж деревья на берегу видать. Ведь смерть приходит!

Сначала все замирает. Последние слова звероподобного оратора ножом режут сердце. А утренник делает свое дело. Баржа, незаметно ковыляясь, все ближе и ближе подбигается к львиной пасти.

Потом нечеловеческий вой оглашает и баржу и тот кусок молочно-туманного неба, который повис над нею. Адскую мелодию дополняет дребезжанье колокола, в который неистово дубасят на носу.

Объятые смертным ужасом, двести человек голосят себе отходную. Над нами посится дыхание смерти. Черноугольная смерть — в грязном озере между бортами, голубая смерть — в грациозных улыбках морской пучины, красная смерть — там на берегу, где подкарауливают нас те самые, от кого мы бежали с берегов Крыма.

И вдруг — якорь спасения!

С дали, точно с неба, несется глухой голос:

— Слышим, слышим... сейчас пошлем катер.

Это говорят в рупор с какого-то судна.

Четыре мучительных часа проходит, пока неведомый спаситель от слов переходит к делу.

Везут...

Чувствуется и в нашем угольном озере, что спаружи дует холодный ветер. Сильная качка, — значит, мы уже выбрались из пролива на простор Черного моря.

Не верится, что можем пересечь на пароход.

Из ямы виден нос громадного океанского чудовища. На холодном солнышке, на минуту вынырнувшем из-за тяжелых туч, ярко переливаются золотистые буквы. Их всего пять. «Мечта». Мечта наяву. Так оригинально зовется наша спасительница.

С парохода спускают веревочную лестницу.

— Берите только то, что можно прицепить к плечам, — командуют сверху.

Люди поочередно карабкаются вверх. Доходит очередь и до меня. Лестница от качки баржи колыхается. Вещевая сумка отягощает спину. Но вот борт парохода. Чьи-то руки подхватывают за плечи. Заветный Рубикон переступлен. Под ногами палуба, по сторонам живые стены. Маркушу, моих писарей человеческие волны увлекают в одну сторону, меня в другую. В одном месте удается притиснуться к борту и бросить прощальный взгляд на баржу, на море, на родину.

Баржа уже предоставлена произволу волн. На дне ее плавают мешки и другое имущество, которое не удалось втащить на пароход. Среди угольного озера на кочке стоял баран и жалобно поглядывал наверх, словно отыскивая того, кто похитил его из стада и обреч на неизбежную гибель от голода и жажды в злополучной барже. Целые сутки мы плыли с ним вместе, но только теперь я увидел впервые этого крымского пленника, которому, однако, не удалось уплыть в эмиграцию.

По инерции, следуя за другими, я спускаюсь на самое дно кормового трюма. Здесь сплошная клоака. Люди буквально ходят по людям, навалены в кучи, как товар, копошатся, как черви на трупе. Неслыханный смрад. Картина, достойная Дантова ада.

— Вы мне на ногу наступили.

— Только-то? Я думал — на голову.

— Эй, эвакуируйся отсюда! Тут моя позиция!

— Твоей нет. Тут все — твое, мое, богово.

— Ай, ай! Да не бросайтесь сверху, черти полосатые!

Ваша корзинка упала и мне нос в кровь разбила.

— Экий неженка! Тоже — барон выискался! Нечего задаваться.

— Вы нам барышню сверху бросьте. Ее примем, не заругаемся.

— Берите, пожалуйста, это барахло! Тут у Наташки нет заведующего, в Крыму остался.

Трудно примкнуться куда-нибудь. Даже постоять не позволяют, отовсюду гонят. Занято.

В одной сторонке на мешках с мукою засела дружная компания человек в 30. Узнаю донцов.

— Какая часть?

— Корпусной продовольственный магазин.

— Благодетели! Я такой-то. Можно прижаться?

— Жмитесь. Вы какой станицы?

Этот вопрос — неизбежный у донцов, когда они знакомятся.

— Вы где грузились? — продолжаю интервью.

— В Керчи.

— Какие здесь погружены части? Наши?

— Наших мало, разве отсталые или отбившиеся. Главным же образом — керченские учреждения: местное интендантство, пограничная стража, комендатура и всякий тыловой сброд.

— А куда везут? У вас на пароходе есть радио. Нет ли известий? Мы сутки просидели в барже, ничего не знаем.

— Пока никуда не везут. Вся армия погрузилась на суда, но стоит у берегов Крыма. Наша «Мечта» подле Феодосии. Врангель издал приказ, в котором сообщает, что ни одна страна не соглашается принять нас. Но он ведет переговоры.

Мы никому не нужны. Ни русскому народу, — в этом убедились мы сами в Северной Таврии, ни Европе, — об этом поведал теперь сам вождь. Первому мы приносили только вред, второй были бесполезны, как актеры, сыгравшие свою роль.

Скорбен же будет наш изгнаннический путь!

XXII. На море и на суше

Эвакуация армии Врангеля из Крыма, вопреки ожиданиям, прошла в более благоприятных условиях, нежели армии Деникина из Новороссийска.

Пароходы были заранее приготовлены в разных портах, каждый корпус заранее знал место своей погрузки. Красные не нажимали. Трудно сказать, опасались ли они какой-нибудь ловушки в Крыму, переутомились, или же просто не могли догнать белых — так поспешно последние улепетывали в порты. Бездействие противника породило даже легенду о том, что беспрепятственную эвакуацию «русской» армии вытребовала от Советской власти «благородная» Франция.

Однако повсеместно, за исключением Евпатории, в которой не грузились войсковые части, эвакуация сопровождалась спешкой и беспорядками. Своевольные строевые начальники всюду нарушали плановость погрузки и вносили дезорганизацию.

Желающих выехать из Крыма набралось такое множество, что не хватало пароходов. Врангель в момент пе-

устойки на Перекопе издал было приказ о том, что, в виду ограниченности транспортных средств, рекомендует оставаться в Крыму всем, кому не угрожает непосредственная опасность. Но это благое пожелание среди сумятицы мало кто слышал. Грузились все, — даже и те, кому вовсе не следовало бы грузиться, как, например, солдатские проститутки. Столбовые обломки старой России — бюрократы, аристократия, помещики, коммерсанты — конечно, уселись на пароходы еще до подхода войск и, разумеется, не в трюмы, а в благоустроенные каюты. В Севастополе одну старую графиню несли на пароход в мягком кресле.

— Это еще что за нетленные мощи? — раздались голоса.

— Это старый режим поехал умирать с комфортом. Генерал Май-Маевский, бывший командующий Добровольческой армией, тот самый тучный алкоголик, который так памятен Харькову своими чудовищными кутежами, умер от разрыва сердца в автомобиле, когда его везли на пристань. В Севастополе погрузили одних только генералов, служащих и не служащих, до 800 человек!

Когда, наконец, Врангель получил от Франции разрешение высадить свою армию в проливах, все его плануемое государство, Россия № 2, медленно двинулось по Черному морю на юго-запад.

Стихия на этот раз благоприветствовала белым. Все 67 судов благополучно прибыли в Константинополь, за исключением одного миноносца, который плыл на буксире и тоже оторвался, как и наша баржа! На нем везли остатки донского офицерского резерва¹⁰⁶. Этот последний, переименованный в Донской офицерский полк, не так давно двинули на фронт, где добрая половина его погибла во время нажима красных от Перекопа. Теперь морские волны прикончили остальных.

Крымское духовенство все время так жаждало чуда. Теперь оно воочию увидело его. Даже такие дырявые суда, как угольщик «Феникс», который в последнее время с большим риском ходил даже по Керченской бухте, благополучно добрался до Босфора. На него еще 2 ноября погрузилось «дежурство» во главе с ген. Тарариным, комендантская сотня штаба корпуса и другие учреждения. Вода тотчас же начала заливать его. С минуты на минуту ожидали, что он затонет. Команда в ужасе сбежала на берег, предпочитая отдаться в руки красным, нежели идти на верную гибель. Только капитан и его помощник не

изменили долгу. Офицер комендантской сотни, поручик Волков, техник по профессии, встал у машины. Престарелого генерала Ракова, председателя штабного военно-полевого суда, капитан приспособил за рулевого. «Перст божий» сказался: «Феникс» не затонул в пути, хотя все его пассажиры уже в Керчи сжились с мыслью о смерти.

«В лице России № 2 Россия настоящая выбросила за границу весь сор, всю гниль, всю заваль», — говорит Г. Н. Раковский в книге «Конец белых».

Это было правильно уже по одному тому, что навоз обычно не тонет, а плавает по поверхности воды. Борис Жиров так и расценил причину этого чудесного перехода всей врангелевской армии через Черное море:

Хоть дела могли быть плоше,
То есть утлые калоши,
Черноморья корабли,
Потопить нас всех могли,
Но уж, видно, суждено,
Что пойдет навоз на дно.

Переполнение пароходов достигало высшей точки. На нашей «Мечте» насчитывалось до 6—7 тысяч, на «Владимире», говорят, — до 12000 человек. Впоследствии, во время стоянки на цареградском рейде, ген. Абрамов, рассматривая с миноносца, кажется, «Жаркий», на котором он ехал, флотилию, определял степень нагрузки пароходов, судя по тому, заметно ли на палубе движение людей или незаметно. Если глаз различал движущиеся группы, — значит, судно еще не было нагружено до отказа.

В большинстве случаев ни о каком довольствии тысяч людей на пароходах не могло быть и речи. Кто какой имел сухарь, тот его и грыз. На «Мечте», на которой я пробыл около двух недель, дело обстояло лучше. Здесь находились довольствующие учреждения вроде керченского интендантства, вывезшего большие запасы продуктов. Хотя и с трудом, но удалось организовать ежедневную выдачу небольших порций консервов решительно всем пассажирам. Зато хлеба не хватало, хотя ехали на муке.

Более мучились от жажды. В воде ощущался страшный недостаток, невзирая на работу опреснителей. В день выдавали по небольшой кружке на человека. Но чтобы получить и эту порцию, приходилось рисковать не только ребрами, но и жизнью. Как ни наводили порядок юнкера, единственная сколько-нибудь реальная сила в руках «начальника эшелона» ген. Жигулина и его помощника

ген. Гембичева, все равно у крана с пресной водой происходили бои. Слабых затапывали. Иные пили морскую воду, зачерпнув ее в банки из-под консервов. Пришлось и мне попробовать этого убийственного напитка.

Чтобы получить лишний глоток воды, пускались во все тяжкие. Старые полковники униженно упрашивали молокососов-юнкеров разрешить им присосаться хоть на миг к их флягам. Юнкера, все вооруженные, на пароходе занимали привилегированное положение, как административный персонал. Охрана крана возлагалась на них, так что сами они набирали воды сколько хотели. Судовая команда спекулировала водой вовсю. За бутылку этой ценной влаги иные давали матросам не только смены белья, но и штаны, и френчи.

Неимущие от жажды галлюцинировали. Другие сходили с ума. Особенно туго приходилось тем, кто нагребил в Керчи корзины вина, первый день на пароходе пил мертвую и теперь страдал от изжоги. 2-я допская дивизия погрузила 6 бочек вина, заявив пароходной администрации, не допускавшей погрузки лишнего хлама, что это — запасы воды. Расплата за такое удовольствие была ужасна. На «Екатеринодаре» один казак, мучимый изжогой, вдруг вскочил на борт, перекрестился, крикнул: «Братцы, простите меня грешного» — и бросился в воду. Никому и в голову не пришло спасти его.

Борис Жиров в своей стихотворной летописи отметил и этот факт:

Кое-кто опохмелился,
В синем море очутился,
И, в расплату за вино,
Как топор, пошел на дно.

— Мы едем на муке, — еще умудрялись разглагольствовать окружавшие меня казаки, — но умираем от голода; едем по воде, но умираем от жажды.

На пашей «Мечте» были случаи родов, были случаи смертей.

Мучился в тифу, который потом свел его в могилу, быв. начальник штаба генерала Шкуро генерал Шифнер-Маркевич; скончалась древняя старушка, жена полковника, а под лестницей нашего трюма разрешилась от бремени какая-то дама. И тут же среди грязи, смрада, рева, мириад паразитов, человеческих испражнений, более или менее удобно примостившиеся на ящиках или

на нарах парочки почти открыто совершали любовные акты, влекущие зарождение новой жизни. В этом омуте погас стыд, иссякли все человеческие чувства. Все смешалось в одну гноеточивую массу, — и не разберешь: кто тут хам, кто барин, кто интеллигент, кто невежда, кто солдат, кто офицер. Одинаковые бедственные условия нивелировали всех, показывая, сколь не высока цена внешней человеческой культуры.

У всех лишь одна забота: как бы утолить властные требования желудка и не позволить паразитам заживо съесть свое обросшее грязью тело. Днем, когда через верхний люк достигает до низу свет, сотни желтых, изможденных людей сбрасывают с себя свое зловонное тряпье и ведут борьбу с «вошатвою».

Наиболее богаты паразитами в нашем трюме кубанские старики, которых во время десанта на Кубань мобилизовали с подводами, а затем при отступлении для чего-то погрузили на пароходы и привезли в Керчь. Иные из них уже четыре месяца как не сменяли белья. На них страшно смотреть. А они ведь спят в общей с нами куче, наваливаются на наши ноги, кладут головы на наши туловища, как мы ни стараемся изолироваться на своих мешках. Эти злосчастные почти весь день заняты борьбой с «танками». (Так звали этого паразита в окружавшем ген. Шкуро кружке.) Под вечер, когда пароходный муравейник несколько замирает, в трюме со стороны их группы гулко разносится треск. Это лопаются гнусные паразиты, прижатые ногтем к лобному месту — пряжке или алюминиевым флягам. До тошноты противен этот звук. «Малиновый звон сорока сороков», — иронизирует мысль.

Особенно мучительна и тягостна ночь. Спать по-настоящему почти не удается, так как нельзя ни вытянуть ног, ни облокотиться как следует. Жмут отовсюду живые presses. Часто в лицо въезжает чей-нибудь каблук. А мы еще считались счастливыми, так как притаились в стороне и имеем определенный пункт для жительства — мешки. Другие колыхались из стороны в сторону по дну трюма, как морские волны.

Но и забыться, застыть, онеметь с поджатыми под себя ногами и с навалившимися на бока соседями тоже не всегда приходилось из-за качки. В редкую ночь с палубы не раздавалась команда:

— Пересядь все на левый (или на правый) борт!

Тогда в темноте творился ад крошечный. Ввергнутые в эту бездну грешники отводили свою душу в том, что извергали дикие проклятия по адресу «обожаемого вождя».

Палубные пассажиры тоже не благоденствовали. Помимо всех прочих бед у них имелись добавочные — сильный холод по ночам и невероятная давка днем, когда трюмные обитатели выползали за водой. На палубе вместе с людьми везли четырех коров, которых время от времени тут же резали для довольствия судовой команды и для группы избранных с генералом Гембичевым во главе.

Эта компания, по преимуществу хозяйственная часть штаба 2-й армии, все свои помыслы устремила на то, чтобы обеспечить себя возможно больше валютой в Константинополе. Они везли множество всякого добра, кипы мануфактуры и съестных припасов, особенно ценных в турецкой столице. Однако им этого показалось мало. Проведав о запасах керчепского интендантства, а равно и донского продовольственного магазина, ген. Гембичев вступил в сделку с судовым начальством и начал предъявлять этим учреждениям непрерывные требования о выдаче «для нужд судовой команды» (человек 20) то 150 пудов муки, то 5 мешков сахару, то 10 пудов сала. Грабеж шел явный.

Я и донской контролер Абашкин, ехавший тут же, указал начальнику своего продовольственного магазина, чиновнику Ламзину, на незаконность таких ежеминутных требований. Его миссия в кают-компанию, где обитал ген. Гембичев, не имела успеха. Равным образом там начихали и на меня с контролером. Когда же, подстрекаемый нами, начальник магазина наотрез отказался от новой выдачи продуктов, с палубы ему погрозили немедленным преданием военно-полевому суду. Вскоре на наше дно прибыло четыре матроса и начали силою забирать наши мешки.

— Станичники! — крикнул несчастный начальник магазина сотне 18-го донского Георгиевского полка, находившейся тут же в трюме, — спасите, если хоть не меня, то наше донское имущество.

— Чорт с ним! — отвечали казаки. — Все равно нам оно не достанется.

Матросы произвели изъятие.

Предвидя новые покушения, я дал совет начальнику магазина раздать часть продуктов всем донцам, какие

только оказались в трюме, чтобы заинтересовать их в обороне донского имущества. Всю ответственность за такую меру перед командиром корпуса я взял на себя. В кают-компании, видимо, узнали, что в трюме приготовились к гражданской войне, и на время приостановили грабеж нашего магазина.

Ген. Гембичев и его кучка благодушествовала, объедаясь разными лакомыми блюдами, которые им готовили из награбленных продуктов судовые повара. А в среднем трюме в это время мой Маркуша кое-как поддерживал корками черствого хлеба существование инспектора донской артиллерии ген. А. И. Полякова, который беспомощно сидел на своих вещах среди группы калмыков, насилу отбиваясь от одолевшей его армии вшей.

Живописные берега Босфора... Фантастический вид былой столицы мира... Какое значение имела царственная красота этих мест для людей, измученных бегством и эвакуацией, отверженных от родины, окунувшихся в физическую и моральную грязь?

— Куда, сынок, говоришь, приплыли? Это что за город?

— Это, дедушка, Париж.

— Вишь, как нынче далеко завезли нас. Отродясь тут не бывал... Сподобил, господи, на старости лет.

Наша флотилия заполнила Босфор. Вековая мечта урапатриотов, казалось, сбылась. Русская армия стояла у ворот Стамбула, как во дни Олега. Только, увы! Русская — в кавычках.

Французы ожидали, что из Крыма выедет никак не свыше 10—15 тысяч. А тут на их голову свалилось вдесятеро больше. Однако им приходилось принимать гостей. «Любезность» французов начала проявляться, еще когда мы стояли в Черном море, ожидая рассвета, чтобы войти в Босфор. Их санитарное судно подошло к «Мечте» и предложило съестных принасов.

— А что можете дать?

— Консервированного молока и немного белого хлеба.

— Не надо... у нас все есть свое.

— Почему не взять? — заволновались на палубе.

— Надо показать, что мы не нищие. Больше будут питать уважения, — разъяснил с мостика «начальник эшелона» ген. Жигулин.

Низы, впрочем, отнеслись хладнокровно к молоку и белому хлебу, зная, что если бы эти продукты приняли, то они дальше кают-компании не пошли бы.

После четырех дней томительной стоянки в Босфоре «Мечта» начали разгружать. Командир нестроевой роты штаба 2-й армии поручик Хаджи-Мурат силою оттягал у нас при разгрузке чуть не 50 мешков муки. Судовая команда, взбешенная тем, что мы препятствовали ей грабить имущество донского корпуса, жестоко отомстила нам при выгрузке. Вытаскивая паровой лебедкой мешки из трюма, матросы старались разорвать их о люки. Один раз эта операция кончилась тем, что доски верхнего люка полетели вниз вместе с теми, кто сидел на них. Одного калмыка ранило смертельно, трех тяжело, — душ 10 отделались легкими ранениями. Какому-то добровольческому полковнику разбило в кровь лицо. Я успел вовремя прижаться к стене.

В порту, на пристани Серкеджи, где нас выгрузили, мы почувствовали, что нас французы расценивают не как войско, а как военнопленных. Всюду кругом — чернокожие часовые. Куда ни сделаешь шаг, — allez, allez! (проваливай). В нашей массе французы не различают ни офицеров, ни солдат. Мы для них просто панургово стадо, точно так же, как и вон эти толпы турок, которые всячески пытаются подойти к нам. Это разный портовый люд — носильщики, уличные торговцы, чистильщики сапог. Когда их живая стена очень близко продвигалась к нам, французские часовые, а то и офицеры с хлыстами устремлялись на нее, рассыпая удары направо и налево. Подхватывая на лету фески и жалобно воя, турки в панике бежали от берега.

— А ведь, пожалуй, Кемаль¹⁰⁷ выиграет дело. Затрептит Версальский мир... Как тут всем туркам не сделаться кемалистами, — заметил контролер Абашкин.

Мы, наконец, поняли, почему французы так боятся нашего сближения с турками.

Здесь, в Серкеджи, находится и железнодорожная станция. Ограждая нас от постороннего люда, французы никак не могли помешать нам разговаривать или, точнее, объясняться с железнодорожными служащими. Один из последних, молодой человек еврейского типа, отвел за вагон грушу казаков и спросил по-немецки (я был переводчиком), нет ли у кого продажного револьвера.

— Только осторожнее показывайте. Французы следят. Они боятся скупщиков оружия для армии Кемали.

Тут же возле пристани американский Красный Крест поил нашу братию какао, которое так понравилось каза-

кам, что они, тайно от хозяев, оставили себе на память об этом напитке эмалированные кружки, емкостью в пол-литра.

— Пригодятся... дюже уж хороши... а у их не убудет.

Донскому корпусу французы отвели для размещения Чатаджинский район, к северу от Константинополя. Когда приступили к разгрузке «Мечты», донской корпус уже весь уехал туда. После ночевки на берегу, продовольственный магазин тоже погрузили в вагоны, но по ошибке нас прицепили к дачному поезду, который довез только до ст. Кучук-Чекмеджи на Мраморном море, около Сан-Стефано. Здесь нам предстояло пересидеть до следующего дня.

В общей неразберихе, которая усугублялась еще и незнанием начальниками русских эшелонов ни французского, ни турецкого языков, в Кучук-Чекмеджи и помимо нас завезли немало всякого люду. Защитные шинели то и дело мелькали на перроне и между станционными постройками.

Вечером я зашел в ресторан, примостившийся на самом берегу моря. Хозяин, «греческий человек», оказался большим полиглотом. С помощью всех языков, начатки которых были мне известны, мы прекрасно объяснились с ним и даже заключили коммерческую сделку, в результате которой он понес за прилавок коробку английских консервов и 3 фунта сахара, — передо мной же вскоре появилась тарелка с сыром и бараниной.

За соседним столиком сидела компания из трех лиц: молодой поручик, красивая, хохладского типа, дамочка и молодой турецкий жандарм. Чистейший немецкий выговор турка и его весьма интеллигентная внешность приковали мое внимание к их столику.

— *Geben sie, bitte, das или die Bett für meine супруга,* — вкрадчиво просил поручик на русско-немецком диалекте. — *Ich werde sehr благодарен.* Она долго, понимаете ли, не могла *schlafen...*

Дама, как ни была утомлена, старалась не отказать себе в удовольствии пококотничать с турком, отлично понимая, что ее многообещающий взгляд скорее обеспечит благожелательный для них ответ, нежели откровенные приставания мужа. Турок прекрасно понял ее игру, но дипломатично повел разговор в том духе, что он одинок, что у него крошечная комната, что он при всем желании может приютить только одного человека. В это время в

ресторан ввалилась ватага французских солдат, которые с таким шумом и гамом начали глушить коньяк, что я ничего не слышал, что говорили за соседним столиком. Когда французы вышли, я снова стал присматриваться к соседям. У них на столе уже стояло полбутылки коньяку, сыр и другие снеди. Турок потчевал, а супружеская чета с жадностью поглощала съестное. Несколько охмелевший поручик начал хвалить турок. Жандарм, окинув взглядом ресторан и убедившись, что никого из французов нет, повел речь на политическую тему, доказывая необходимость союза России, Турции, Болгарии и Германии против Антанты. Он, видимо, уже не считал нужным опасаться своих русских companions.

— А где вы изучили немецкий язык? — спросил его поручик.

— Я окончил военную школу в Германии.

— Вы офицер?

— Да! — тихо ответил красавец. — В жандармерии же службу простым солдатом. Нас немало таких, но французы этого не знают. Наша жандармерия — готовый кадр для...

Тут он заметил, что я чересчур внимательно прислушиваюсь к их разговору. Быстро выхватив из кармана портсигар, он протянул его сначала поручику, а затем, как бы машинально, и мне.

— Wollen sie rauchen?*

— Nein, danke schön!** — ответил я.

Турок смутился. Он убедился, что я не только слушал, но и понимал его немецкую речь. Оставив своих новых друзей, он подсел ко мне и стал исподволь выяснять мое политическое сredo. Я во многом согласился с ним, и мы вышли за здоровье врага Антанты Кемаль-Наши.

— За мной зорко следят французы, — говорил он. — Приходится действовать очень осторожно. Но мы проведем их, проведем. Весь турецкий народ их ненавидит, а Кемаль считает вторым Аллахом. Недолго им у нас хозяйничать. И вам надо бы подумать о том, чтобы избавиться от опеки этих мировых хищников.

* Хотите курить?

** Нет, благодарю.

XXIII. Чилингирская жизнь

Превратившись из «спасителей отечества» в несчастную беженскую орду, из милости принятую на французские хлеба, мы, как бы в виде насмешки, на чужбине были водворены в таких пунктах, где земная поверхность еще носила на себе следы недавних великих битв и где неудачным войскам отводилась роль сторожей знаменитых исторических кладбищ.

Гордые добровольцы (или «цветные войска»), эта краса и гордость белого стана, мечтавшие о том блаженном времени, когда они будут нести почетную гарнизонную службу в царственном Кремле, пока что разместились цыганским табором на Галлипольском полуострове, в Дарданеллах, возле могил английских и французских воинов, погибших здесь в 1915 году, во время неудачного десанта с целью форсирования проливов. Здесь не было клочка земли, не орошенного человеческой кровью, и на изборожденной поверхности осколков стали валялось не многим менее, чем камней.

Кубанский корпус, т. е. повстанческие банды полк. Фостикова, произведенного Врангелем в генералы, и остатки шкуринцев водворили на остров Лемнос, в Эгейском море, в бывшую базу союзнических флотов, морского и воздушного, действовавших в проливах.

Донцам отвели Чаталджинский район, в 50—60 километрах к северу от Константинополя. В эпоху балканской войны 1912—1913 гг.¹⁰⁸ весь мир с напряженным вниманием следил за той героической борьбой, которая происходила на Чаталджинских высотах между турками и болгарской армией, стремившейся к оттоманской столице. Победоносные до того времени болгары разбили себе лоб, атакуя здешнюю позицию турок; эпидемические болезни еще более обессилили их армию.

Чаталджа оказалась турецким Верденом, не в пример Вердену Врангеля — Перекопу. Она помешала католику Фердинанду водрузить православный крест на мусульманской Айя-София.

Командир Донского корпуса вместе с оперативной частью штаба и интендантством поселился на станции Хадем-Кюйой. В двух километрах к северу от этого пункта еще в эпоху балканской войны турки построили дюжины полторы барачных для хранения изделий Круппа. Теперь на полках место пушечных снарядов кайзера заняло пу-

печное мясо Антанты. Здесь разместились 1-я и 2-я казачьи дивизии. Все остальное Донское казачество сначала отравили было в сел. Чилингир, в 7 километрах к востоку от станции. Но затем отдельную бригаду ген. Фицхеллаурова¹⁰⁹ (калмыки и 18-й донской Георгиевский полк) увели к северу, на станцию Кабакджа, где некогда стояла главная квартира болгарской армии. В Чилингире осталась 3-я донская дивизия (ген. Гусельщикова), множество учреждений и ватаги беженцев.

В этом последнем лагере были наиболее ужасные условия для жизни.

Согласно распоряжению французских властей, русским запрещалось квартировать в обитаемых турецких зданиях. Наши опекуны опасались недоразумений, могущих возникнуть из-за женщины, которых турки так тщательно оберегают от посторонних глаз. При всем своем пренебрежении к этим неудачным союзникам Вильгельма, французы не рискнули задеть их самолюбие насильственным постоем в их семьях врангелевских солдат.

Для жительства казакам в Чилингире отвели несколько громадных скотских хлевов и сараев, в которых разводятся шелковичных червей. Буржуи этого селения до балканской войны занимались шелководством, которое теперь опять стало налаживаться. По восточному скату холма, на котором расположено селение, тянутся довольно обширные плантации тутовых деревьев.

Хлевы и сараев, однако, не хватало, чтобы хоть кое-как забить под крышу злополучных вояк. Вдобавок некоторые сараи, разбитые снарядами еще 8 лет тому назад, открывали беспрепятственный доступ под свои своды и ветру, и дождю, и снегу.

Когда в ночь на 17 ноября я приехал на турецкой арбе в Чилингир из Хадем-Киоя, то с ужасом увидел, что о желаемом отдыхе нечего и думать. Тысячи людей валялись прямо на грязных улицах отвратительной восточной деревни. Кое-где горели костры. Возле них лежали или бродили измученные и истерзанные казаки и офицеры самых различных частей и учреждений.

Блуждая среди этих теней, я дошел до площади, окаймленной справа — паровой мельницей, слева — грудой каких-то каменных развалин; противоположным же концом площадь примыкала к обрыву холма, который здесь круто спускался вниз к журчавшей в овраге речке.

На развалинах копошились люди. Небольшой костер

еле-еле рассеивал гнилую мглу ноябрьской ночи.

— Батюшки! Это ты? — услышал я голос своего офицера, поручика Брусенцова, который с самого Сарабуза отбился от моих подвод. — Здесь считают, что ты не выехал из Крыма.

— Вздор. Я задержался, потому что менял лошадей. Где ты тут живешь?

— Как где? Вот на этих камнях. Уже третью ночь тут ночую. Только спать мало приходится: слишком холодно. Жгу костер. Дрова доставать трудно, наши уже растащили все деревянные части заборов. Скоро будет нечего жечь.

— А где начальники частей корпусного управления?

— Полдюжины генералов да дюжина полковников кое-как влезли вот в эту пустую сторожку на краю оврага. Но у них такая теснота, что сидят на полу на корточках. Я попробовал влезть погреться, — нет физической возможности.

Мне волей-неволей пришлось поместиться на развалинах разбитого болгарским снарядом каменного сарая. Маркуша где-то наломал еще не потерявших свежести тутовых веток, устроил логовище, обнес его громадными камнями, и мы с ним, невзирая на холод, уснули, тесно прижавшись друг к другу.

После жизни в смраде пароходного трюма началась подзаборная жизнь.

Только через три дня мне и моему помощнику удалось забраться в сторожку, предмет зависти чуть ли не всего табора. Этот домишко сторожей туговой плантации стоял особняком у самого обрыва. В нем были две светлые крошечные каморки, отделенные друг от друга маленькими сенями. Стены и пол каморок изобиловали щелями; зато не чувствовалось сырости, обычной для каменных ящиков Востока. В солнечную погоду домик основательно пригревало солнышко, в ветреную его еще основательнее продувало. Но все же здесь мы ходили по деревянному полу, а не по навозу, и в дневное время не блуждали в темноте, как несчастные обитатели турецких хлевов и сараев.

Одну каморку этого замка занимал комендант штаба корпуса полк. Греков со своими офицерами и их женами; другую — корпусный инженер ген. Манохин, инспектор тыла ген. Лобов, генералы для поручений при командире корпуса, председатель военно-судебной комиссии при

штабе корпуса ген. Додонов и т. д.

Когда первый из этого генеральского букета уехал в Константинополь, я и поручик Брусенцов кое-как втиснулись в заветный барак. Маркуша и писаря пристроились в хлев, где помещались низшее штабное офицерство и казаки комендантской сотни.

Началась кошмарная чилингирская жизнь.

Еще только пригревало солнце, а в мрачные дни едва обозначался рассвет, тысячи людей вылезали, как мыши, из смрадных нор или поднимались с грязных площадей, с развалин, с порогов турецких жилищ и, мучительно расправляя свои ноющие оконечности, отправлялись на скаты холма или на дно оврага «гонять вошатву», нынешнего главного врага армии Врангеля. Ввиду отсутствия бани и дезинфекции и убийственных условий жизни, этот паразит донимал поголовно всех. Холодное время не позволяло ни обмыться в протекавшей по дну оврага речке, ни вымыть и высушить белье, которое многие не сменяли целые месяцы.

После этого неэстетичного занятия часть людей отправлялась верст за пять от селения за кустарником, который жгли вместо дров. Консервы, которые выдавали французы, разогревали на кострах прямо на улицах.

Вот как описывает чилингирскую жизнь полк. Б. Жиров, который здесь жил вместе со мной и сочинял свои вирши, усевшись на пол на корточки и положив тетрадку на согнутые колени.

Эти бывшие все люди,
Позабыв о вкусном блюде,
Портя кровь и портя нервы,
С отвращеньем жрут консервы
Иль глотают магги-суп.
Взор бессмыслен, дик и туп,
Лица сумрачны, пестры,
А кругом везде костры.
Хоть у каждой здесь «персоны»
Понаграблены миллионы,
Но излишний все балласт:
За «хамсу» никто не даст
Даже черствого куска...
Безысходная тоска!
Здесь кричи иль волком вой —
Ближний центр Хадем-Киой.

Скоро селение до такой степени было загажено, что никакие ветры, дувшие с Балкан в этот период года, не успевали развеивать густого смрада, окутавшего Чилин-

гир. Никакие распоряжения начальства, русского и французского, ни даже угроза стрельбою, не могли заставить ступелую, безразличную ко всему орду соблюдать хотя бы самые элементарные правила гигиены. Разумеется, эпидемические заболевания не заставили себя долго ждать.

Приняв на свое иждивение всех русских беженцев, французы установили следующий ежедневный паек на долю каждого человека: 500 граммов (1 1/4 фунта) хлеба, 200 граммов (1/2 фунта) мясных консервов, 80 граммов сушеной фасоли, 20 гр. сахару, 2 гр. чаю, 20 грам. кокосового масла и 5 гр. соли. В непродолжительном времени они эти цифры уменьшили, так что паек по справедливости стали звать «полуголодным».

Но и эти крохи не достигали полностью до нашего желудка, так как чересчур уж много инстанций принимало участие в доставке продовольствия от французского интендантства к нашим ртам. Сознание безнаказанности и общая нищета побуждали заниматься казнокрадством всех, через чьи руки проходили продукты.

Более того — крали сами французские офицеры, недодавшие русским того, что полагалось. Это было зафиксировано не один раз смешанными русско-французскими комиссиями на ст. Хадем-Кюй.

В этом последнем пункте распределяли между различными лагерями все то, что донской корпус получал от французов. Для Чилингира принимал продукты интендант дивизии Гусельщикова войск. старш. Ковалев — хозяйственная крыса до мозга костей. Он окружил себя родней и друзьями, организовал «лавочку» и стал жить на станции припеваючи, отправляя в Чилингир (на французских обозных подводах) столько продуктов, сколько ему нравилось.

Казаки, сопровождавшие транспорт с продуктами, в свою очередь, крали безудержно. Хорунжий Усачев однажды утащил два мешка сахару. Банки с консервами воровали сотнями.

В Чилингире продукты, в свою очередь, проходили несколько инстанций: лагерное интендантство, хозяйственные части учреждений и т. д., где тоже кое-что прилипало к рукам. При этом не мешает заметить, что хлеб для лагерей выпекался в Константинополе и до наших желудков достигал не ранее, как через две недели после выпечки.

В общем, милостию русских довольствующих учреждений, «полуголодный» французский паек превращался в «голодный».

Результаты воровства не замедлили сказаться. Перед Рождеством в Чилингире разразился голодный бунт. Казаки откопали где-то в земле штук 50 банок с консервами, как оказалось потом — тухлыми и, решив, что это тайный склад интендантской «экономии», начали скандалить. Комендант лагеря ген. Курбатов, чтобы рассеять толпу, выстрелил вверх. Его едва не растерзали.

Казнокрадство стало спортом, тем более что ген. Абрамов, снова принявший командование корпусом, не имел решимости карать за это преступление более видных должностных лиц.

Бывший штаб 2-й армии, которую в последнее время в Крыму командовал Абрамов, тоже прибыл в Хадем-Кной для расформирования. Узнав об этом, я попросил у французского коменданта пропуск и выбрался на станцию.

Командир корпуса с небольшой группой офицеров-генштабистов занимал верхний этаж гостиницы. Врангель, опасаясь, как бы после крымского разгрома в донском корпусе не создалось такого же настроения, как после поворооссийской катастрофы, прислал в штаб корпуса для наблюдения верного человека, из пажей его величества, полковника генерального штаба А. Зайцева, который, как переводчик, одновременно служил и французским агентом.

Я подробно доложил Абрамову о грабеже дежурным генералом штаба его армии Гембичевым донских продуктов, остатки которых я с трудом сберег от хищников.

Абрамов, по своему обыкновению, только мило улыбнулся. Что выражала милая улыбка этого деревянного человека, — никто никогда не знал.

— Знаете ли что, — сказал он мне в ответ, — я назначил комиссию для приведения в известность казенного имущества, которое осталось у штаба 2-й армии и которое подлежит сдаче нам. Ну, вы понимаете, у них, конечно, нет никакой охоты выпускать из своих рук казенное добро. Поэтому не согласны ли вы, как представитель прокуратуры, принять участие в этой комиссии?

Я охотно согласился и тотчас же отправился в бывшую турецкую казарму, где разместились остатки штаба армии.

— У нас, знаете ли, уже кончено освидетельствование продуктов.

— Что же у вас осталось? — спросил я ген. Гембичева.

— Сущие пустяки.

— Как так? Я на пароходе видел у вас много продуктов. Кроме того, поручик Хаджи-Мурат при разгрузке захватил много мешков донского продовольственного магазина.

— Мы улучшали за этот счет французский паек.

На другой день предстояло освидетельствование ценностей, вывезенных казначейством г. Александровска, а также запасов обесцененных врангелевских денег. Эта работа происходила в товарном вагоне. Председателем комиссии был какой-то полковник, тоже выходявший в тираж ввиду расформирования штаба армии; членами — один грузин-поручик жуликоватого типа и представитель донского контроля — Каплан. Глаза всех жадно следили за мной, когда я начал вынимать из одних ящиков, пересчитывать и укладывать в другие вместиллица золотые часы, кольца с бриллиантами, браслеты, портсигары, серебряные ложки и т. д.

Все это добро — по преимуществу вещественные доказательства, сданные судебными властями на хранение в казначейство г. Александровска. Мы привели в известность эти ценности, упаковали, опечатали. Впоследствии их отправили в Константинополь, на пароход «Великий князь Александр Михайлович», где помещался штаб Врангеля. В феврале 1921 года в газетах появилось сообщение о том, что «неизвестные» лица похитили эти ящики с драгоценностями, оцененными в 20000 турецких лир (200000 руб. золотом).

Во время занятий комиссии в товарный вагон явился казначей бывшего штаба 2-й армии полк. Тимченко и заявил, что ему надо взять из мешков полмиллиона врангелевских денег для раздачи чинам штаба, показав при этом удостоверение за подписью ген. Гембичева. Крымские деньги, хотя и представляли простой хлам, но в Константинополе, где спекулировали решительно всем, до иностранных виз включительно, находилось немало любителей, которые скупали «хамсу», платя по лире за миллион рублей. Поэтому за большое количество этого хламу все-таки можно было кое-что выручить, и учреждения выдавали желающим недополученное в Крыму жалованье.

Полк. Тимченко стал производить выемку «хамсы» из мешка. Мы, занятые подсчетом золота, не интересовались бумагой и не обратили внимания, как казначей, закончив

работу, ушел из вагона. Во время передышки я машинально подошел к тому мешку, откуда производилось изъятие.

— Да он уже и мешок запечатал, и никого из нас не уведомил. Надо бы подсчитать, сколько там осталось денег.

Позвали полк. Тимченко.

— Ну, чего там считать «хамсу»,— сказал он.— Я запечатал мешок сам, не желая отрывать вас от работы.

— Хамса-то хамса, но и ее мы должны привести в известность.

Вскрыли мешок и не досчитали 12 миллионов — 12 увесистых пачек, в каждой по 2000 пятисоток, неофициально именуемых «хамсой».

— Право, не знаю, куда это делось. Не могу понять, как. Тут какое-то недоразумение,— заволновался полковник.

Открытие столь наглой кражи ошеломило комиссию.

— Если вы взяли, сознавайтесь лучше,— заявил Каплан.

— Я не брал... Я честный русский офицер, старый полковник... Прошу не оскорблять.

— Сейчас обыщем ваши вещи,— заявил я.

Тимченко и председатель комиссии ушли из вагона. Второй из них скоро вернулся, таща в руках громадную пошу.

— Где же нашли?

— Подле сундука Тимченки. Плачет и клянется, что не брал денег.

Прибежал ген. Гембичев.

— Я, ей-богу, тут не при чем,— кричал он, размахивая руками.

— Я этого Тимченко мало знаю. Когда его принимали, у него не было послужного списка. Точно ли он полковник,— нельзя было проверить.

Через три дня военно-полевой суд при штабе корпуса приговорил золотопогонного воришку к расстрелу. Ген. Абрамов заменил ему это наказание «разжалованием в рядовые». Прославляя врангелевское правосудие, Тимченко поспешил нырнуть в омут константинопольских трущоб, где уже давно стерлась всякая грань между солдатами и офицерами, смешавшимися в одну зловонную гущу.

Вскоре покинули Хадем-Кийой и остальные чины штаба 2-й армии, так скандально окончившего свое существование. Я видел, как везли на подводах имущество ген. Гем-

бичева и Невадовского (инспектора артиллерии 2-й армии).

— Слава богу,— сказали они мне,— что мы наконец выбрались отсюда. Довольно милой жизни среди донцов!

Генералы, видимо, были злы на Абрамова за то, что он не позволил им распорядиться «по-добровольчески» ценностями Александровского казначейства и вмешался в «ликвидацию» штабного имущества.

Лавры Тимченко не дали спать казначею нашего корпусного штаба капитану Н. М. Красса. Грек по происхождению, тыловой герой по профессии, этот офицер обладал большой способностью к имущественным операциям всякого рода. Пока хозяйственная часть штаба, во главе с братом командира корпуса полк. Абрамовым, составляла сложную и ненужную денежную отчетность за весь крымский период, Красса стал делать обороты на казенные деньги. Он скупал на «хамсу» николаевские деньги и препровождал их в Константинополь, где они котировались в пять раз выше врангелевских. Проведав об этих частных занятиях казначея, ген. Абрамов тихо и без шума уволил его в бессрочный отпуск.

— Крассу прогнали за хамсу,— острили казаки.

Казенных денег, имеющих действительную ценность, уже никому нельзя было доверить. Когда в штабе появились турецкие лиры, ген. Абрамов, сам наичестнейший человек, старался хранить их у себя на руках, доверяя раздачу только единственному человеку — своему адъютанту есаулу Головкову, такому же формалисту и деревянному человеку, как сам комкор.

Пока в лагерях одни занимались битвами с «вопатовой», а другие, сверх того, и казнокрадством, державные верхи продолжали делать большую политику. Врангель ни на минуту не хотел сознаться, что его политическая миссия кончена и что он более не Главнокомандующий, а первый беженец. Живя на яхте «Лукулл» в Босфоре, рядом с пароходом «Великий Князь Александр Михайлович», на котором помещался его штаб, он продолжал изображать из себя вождя и охранять «армию» от тлетворных влияний.

Врангель пишет вновь приказы,
В них знакомые все фразы,
От которых нам, сй-ей,
Ни теплей, ни холодней,

острил Б. Жиров.

Французский ставленник, он начал задираться с фран-

цузами, когда последние, убедившись в непригодности его воинства для выколачивания из России царских долгов, исподволь стали намекать ему, что пора бы позаботиться об обеспечении работой его солдат, так как Франции не намерена кормить их вечно. С изумительным упрямством отстаивал этот честолюбец свои позиции.

— У меня армия, а не рабочие! — гордо ответил он американскому Красному Кресту, который хотел снабдить солдат и офицеров статской одеждою.

Американцы встали в тупик. Они видели несчастных оборванных людей, умирающих от паразитов, голодных, влачивших собачье существование. Но глава этих людей заявлял, что это не беженцы, а войско, и аполитичная организация сначала не рисковала оказывать им помощь.

Когда разные предприниматели начали предлагать лагерным сидельцам работу, штаб Врангеля предложил командирам частей заключать с работодателями контракты, посылать людей на работу командами при офицерах, часть заработной платы отчислять на улучшение пищи остальных. Разумеется, никто из казаков не желал поступать на работу при таких условиях и приобретал себе свободу труда революционным способом, убегая на волю.

Чтобы как-нибудь задержать бегство из лагерей, информаторы питали массы самыми оптимистическими слухами. Прельщать новой войной, когда люди мучились от последствий старой, было полной нелепостью. Утешали надеждами на улучшение материального положения.

— Слышали, Антанта признала нас армией, а не беженцами, и дает нам средства. Теперь каждому из нас будут выдавать такой же паек, какой получают чернокожие солдаты колониальных войск.

— Пластинка!*

— Ну, вот еще! Слышите грохот орудий?

— С Босфора? Ну, так что же?

— Это салют Врангелю с союзнических судов по случаю признания.

День или полдня эту новость обсуждали. Не задумываясь о далеком будущем, хотелось верить, что хоть в ближайшем произойдет какое-нибудь улучшение. Настоящее было до того скверно, что даже практическую стрельбу союзного флота иные всерьез принимали за приветствие вождю русского сброда.

* Вздорный слух, утка.

Но проходил день сиденья во мраке чилингирских хлевов. Слух, разумеется, не подтверждался. Снова камнем лежит на сердце безысходная тоска. Сильнее сказывается недоедание, мучительней укусы паразитов.

— Слышали, начальник штаба генерал Говоров вернулся из Константинополя. Радостные вести...

— А что? Что?

— Как что... Антанты нашей армии поручает охрану проливов. Оккупационный союзнический корпус уйдет, мы его сменим.

И этот слух претерпевал ту же участь, что и предыдущий.

Любителей сенсационных слухов наконец стали высмеивать, называя их «Патэ-журналами».

Постепенно бегство из лагерей приняло эпидемический характер. Люди изверились во всяких слухах, во Врангеле, в своем ближайшем начальстве. Бездельничая в лагерях, потеряли надежду когда-нибудь вымыться и наесться досыта.

Константинополь приковывал к себе общие взоры. Всякий рассчитывал отыскать там заработок. Покинуть военные лагеря легально сначала разрешалось только тем, кто перешел на беженское положение, оставшись за штатом ввиду сокращения, т. е. только офицерам и чиновникам. Простые казаки, за исключением инвалидов и стариков, обрекались на вечное прозябание в хлевах. В каждом военном лагере образовались беженские группы, получившие название «беженских баталионов». Они считались париями. В Чилингире для них отвели сарай без крыши. На них возлагалась вся грязная работа. Их объегоривали при выдаче довольствия более прочих. Зато этим «гражданским беженцам» усердно помогал американский Красный Крест, снабжая их посудой, бельем, инструментами и т. д. Военное начальство всеми правдами и неправдами стремилось взять на себя посредничество между заморскими благодетелями и «гражданскими беженцами», жившими при военных лагерях. Наконец оно добилось этого и начало представлять фантастические сведения о числе этих беженцев, раздавая полученный на «мертвые души» избыток тем, кто числился в армии.

Не весело жилось в Чилингире. Правда, глава лагеря ген. Гусельщиков не очень роптал, получив, как и все высшие строевые начальники, лиры на «представительство». Он по-прежнему был всегда в подпитии, смеялся

или ругался, щедро рассыпая при этом свое любимое слово «гниды», изредка навещал французского коменданта лагеря «лейтенанта кавалерии спагов»¹¹⁰ Лелю, чаще же всего нарезался до положения риз в кругу своих приближенных. Один из этих последних, полк. Фолометов, в начале 1919 года во время пирушки прострелил Гусельщикову бок, едва не отправив на тот свет эту донскую знаменитость. Другой был некто полк. Шевырев, который начал у Гусельщикова службу денщиком и постепенно за «боевые отличия» дослужился до чина полковника.

Но все остальные в Чилингире мыкали горе.

Если кому из хозяйственных чинов удавалось, с помощью кражи продуктов, убагодворить свой желудок, то он все равно был подвержен тем же прочим неприятностям, как и все лагерные сидельцы, живя в общей куче, в грязи, среди паразитов. Командиры полков обитали в хлебах, лишь в лучшем случае отгородившись от прочей массы палаточными полотнищами. Во всем Чилингире только ген. Гусельщиков с приближенными жил по-человечески, заняв постоянный двор.

В нашей сторожке не было никакой мебели. Ночью не все могли лежать, так как не хватало пола для полуторы дюжины человек. Постелью нам служили шинели, локти — подушками. Однако и эту сторожку мы насилу отстояли от покушений ген. Курбатова, коменданта лагеря. Зато генералу удалось отвоевать крошечную кладовку от отца Александра, того самого попаика, которого о. Андроник вынудил уйти из корпуса в Таврии. Устроившись приходским священником в Б. Токмаке, о. Александр, однако, не рискнул отстать от армии, бежал вместе с нею в Крым, а оттуда за границу. В Чилингире он, человек семейный, ухитрился занять какой-то чуланчик в турецком доме, на который позарился и ген. Курбатов.

— Не уйду! — заявил строптивый иерей комендантскому адъютанту, который пришел его выселять.

— Вам приказал выселиться сам начальник лагеря ген. Гусельщиков, — объявил ему лично ген. Курбатов.

— Все равно не покорюсь.

— Тогда я вас арестую.

— Попробуйте... Мы тоже не святой боже.

Взбешенный генерал убежал за казаками. У последних опустили руки, когда они пришли к о. Александру. Он стоял посредине чуланчика в полном священническом

облачении, с крестом и Евангелием в руках.

— Что ж, берите, ведите через лагерь, а? Испугались креста господня... то-то!

На другой день, по жалобе Гусельщикова, ген. Абрамов вызвал буйного иерея в Хадем-Киой для объяснений и задержал его там.

Французы имели над нами только внешнее наблюдение, предоставив внутренний распорядок всецело нашим допским властям. Но они окарауливали лагерь, стараясь не допускать ухода из него. С этой целью в разных пунктах вокруг Чилингира выставлялись часовые.

Это мало помогало.

Казачья расползлась по окрестностям, как тараканы. Неугомонная казачья натура не могла мириться с бездельной жизнью в хлевах. Кто боялся окончательно порвать связь с армией, где пока еще давали паек, те бродили по соседним турецким и греческим деревушкам в поисках работ, или нищенствовали, или пытались «партизанить». Впрочем, добродушные турки к этим последним развлечениям рыцарей белого стапа относились с гораздо меньшей снисходительностью, чем русские крестьяне. Три офицера марковской дивизии, попавшие среди эвакуационной неразберихи вместо Галлиполи в Санджак-Тепэ, заплатились жизнью за свои старые добровольческие замашки.

Торговля в Чилингире царила вовсю. Образовался толчок. «Пискулянты», — так здесь звали спекулянтов, — нешком пробирались через горы на берега Мраморного моря, покупали рыбу и продавали ее в лагере своим же вдвое дороже. Астахов, бывший глава таганрогской полиции, а затем член военно-судебной комиссии, был одним из первых, пачавшим служить вместо Фемиды Меркурию.

Турецкую валюту приобретали путем распродажи своего или казенного имущества, у кого оно еще сохранилось. Обезоруженные и приниженные французами турки, готовясь к мести, охотно скупали револьверы и винтовки и не жалели на это лир. Многочисленные гастролеры из Константинополя, своя же эмигрантская братия, пробирались в Чилингир, скупали за бесценок обмундирование, белье, обувь, часы, даже и «хамсу» и уносили на спинах мимо французских часовых в столицу. Американские подарки попадали к ним в руки немедленно по выдаче. Бескорыстные янки знали это, но щедрость их не уменьшалась.

— Пусть русские продают наше добро, — говорили они. — Зато на вырученные деньги купят себе то, в чем более всего нуждаются.

Благотворители не ошибались. Загнав их подарки, беженцы покупали тот продукт, в котором нуждались, чтобы залить тоску, — коньяк и мастику (греческая водка).

26 ноября (по новому стилю 9 декабря) в Чилинги́рском лагере был устроен георгиевский парад, на котором ген. Гусельщиков старался показать лейтенанту Лелю, сколь могучи и несокрушимы «стальные ряды» врангелевских орлов. Половина людей уже не могла встать от болезней и голода; те, которые вышли, едва волочили ноги.

Желто-землистые лица, трясущиеся руки и море разноцветных тряпок с крестами. Это знамена донских частей.

Лейт. Лелю, молодой, краснощекий, блистал своей фантастической формой. Его голову украшала красная феска, с плеч свешивался такого же цвета бурнус, который развевало ветром.

— Сколько бы лампас можно нарезать... Даром добро пропадает... Шерстяной небось, к старым брюкам в пору, — шептала практичная «хозяйя», по-своему расценивая живописный костюм «лейтенанта кавалерии спагов».

Ген. Абрамов из-за непролазной грязи не мог приехать на парад «гундорей» — Гундоровского георгиевского полка, который сегодня праздновал свои именины. На Дону в гражданскую войну вошло в обычай отличать целые полки, присваивая им название «георгиевский» и украшая воротники солдатских и офицерских мундиров и рубах георгиевскими ленточками.

Неизбежный молебен, отслуженный сонмом духовенства в изодранных рясах, и церемониал парада заняли несколько часов. В это время погода резко изменилась к худшему, подул холодный ветер со снегом. Казаки окончательно промерзли. В лагере открылся повальный тиф. К нему прибавилась азиатская холера, первый случай которой обнаружился — увы! в нашей сторожке.

Рядом со мной спал, — точнее говоря, валялся на грязном полу председатель военно-полевого суда при штабе корпуса генерал Ив. Ив. Раков, человек престарелый, но крепкого здоровья. Он вместе с молодежью ходил за кустарником и преспокойно таскал на спине целые вязанки. Меня еще до георгиевского праздника сразил тиф. Вслед за мной заболел и мой офицер Брусенцов. Ген. Раков крепился. Но ночью после георгиевского праздника он

застонал. Все проснулись. Старик на расспросы ничего не мог ответить. Вдруг его начало тошнить. Своими экскрементами он залил меня, метавшегося в пароксизме. Здоровые взяли генерала на руки и увели его в так называемый лазарет, устроенный в каменном сарае, где ранее разводили шелковичных червей. Врачи распознали у него признаки азиатской холеры. К вечеру он умер.

В тот же день было еще несколько смертных случаев от той же причины.

Французы всполошились. Недалеко от Чилингира находилось озеро Деркос, которое питало водою Константинополь. Казаки ходили на это озеро ловить рыбу. Холерная зараза легко могла проникнуть в озерную воду и передаться по водопроводу в столицу.

Чтобы изолировать очаг холеры и предохранить Константинополь, оккупационные власти объявили Чилингирский лагерь в карантине и отрезали его от всего мира цепью часовых. Конные спаги, гарцуя на чистокровных арабских скакунах, патрулировали по окрестностям. Французы даже не позволили вывезти в Константинополь тяжело больных, которые в Чилингире обрекались на верную смерть. Здесь не было ни помещения, сколько-нибудь годного под лазарет, ни лекарства, ни медицинских инструментов.

Когда я стал в тягость своим товарищам по комнате, они позвали лагерных врачей Куричева и Персиянова, чтобы забрать меня в лазарет.

— Что же, вы хотите его смерти? — взмолились врачи. — Разве вы не слышали, что у нас за лечебное заведение? В сыром каменном ящике валяются сотни заживо съедаемых вшами людей. Один в корчах умирает от холеры, рядом с ним корчится в последних муках роженица. Эпилептик судорожно бьет ногами по полу, задевая распухшие оконечности ревматика, который неистово воет. Плач и скрежет зубовой. Бывает, что пятеро умирают в день.

Скряпя сердце, товарищам пришлось мириться с присутствием тифозного в своей среде.

Люди гибли и гибли. Хоронили в одной могиле всех, кто умирал за день. Кресты вначале ставили, потом перестали, так как их в первую же ночь воровали на дрова. Смерть витала над зараженным Чилингиром и никого не пугала. Больные ее желали, проклиная себя за то, что продали туркам свои браунинги. Живые завидовали мерт-

вым. Последних даже родные не оплакивали. Сын ген. Ракова не пошел даже на отпевание отца и не проронил ни одной слезы по случаю его кончины.

Известие о смерти знакомых встречали с поразительным хладнокровием. Не удивился и я, когда узнал о смерти юного Бори Медведева, сына моего друга. Мальчик на походе отбилсЯ от своего отца, попал в Чилингир и, заживо съедаемый паразитами и терзаемый лихорадкой, начал быстро гаснуть. Моя скромная помощь в виде смены белья и кой-чего съестного застала его уже на краю могилы. Только через два года мне удалось разыскать его отца и сообщить ему скорбную весть.

Карантин ничуть не уменьшил, а, скорее, увеличил «драп» из Чилингира. Стало совсем невозможно терзаться в зачумленном и отрезанном от мира селении. Уходили куда глаза глядят, лишь бы подальше от чилингирского ада.

Не сдерживали никакие караулы чернокожих, никакие разъезды спагов. Цветным солдатам Франции пришлось состязаться с искушенными в боевом деле людьми. Нередко из лагеря уходили мелкие войсковые части во главе с командирами.

Применяли такой маневр. Партия делилась на две половины, из которых большая, забрав вещи, занимала намеченный для прорыва цепи часовых пункт, меньшая устраивала ложную тревогу в противоположном конце. Чернокожие поднимали стрельбу. Соседние часовые бросали свои посты и стремились к месту тревоги на помощь товарищам, думая, что тут пробивается партия. Последняя же, пользуясь обнажением фронта неприятелем, стремительно перебегала через овраг и скрывалась за соседними высотами. К утру она успевала отойти от Чилингира верст за 20.

Спаги иногда ловили беглецов и пригоняли обратно в лагерь. Один раз им посчастливилось задержать хорошо организованный отряд войск старш. Цыганкова.

Ночные бои шли почти каждую ночь в овраге, подле нашей сторожки. В виду проницаемости стен нашего жилища мы обыкновенно при первых же выстрелах спонами валялись на пол.

КазакИ бежали, главным образом в Болгарию, проведая, что в этой стране живет родственньИ русским людям народ, добродушный, гостеприимный, и что оттуда не так далеко и до родины. Никакие лишения в пути не могли

пугать этих людей, так как в Чилингире они переносили не меньшие. Нищенство доставляло пропитание. Звезды указывали путь. Греческая полиция, которая в это время хозяйничала во Франции, не пропускала случая раздеть своих братьев-христиан, но не препятствовала последним проходить через территорию «государства эллинов».

Из-за этих побегов, а особенно из-за ночных боев, отношения с французами стали портиться, независимо от политики Врангеля.

Первоначально ни солдаты-французы, ни солдаты-арабы не позволяли себе относиться к русским так, как они поступали с турками. В отношении последних французские сержанты не употребляли слов, а при всяком удобном и неудобном случае пускали в ход кулаки. Запросит торговец-турок слишком дорого, — борьба со спекуляцией производится с помощью зуботычин. Мешает арба турка проехать французской повозке, дорогу расчищает нагайка. Мы, русские интеллигенты, привыкшие по старой привычке считать всех французов за образец галантности и джентльменства, поражались их увлечением мордобойным спортом. Впоследствии в Константинополе я не раз видел, как французские сержанты «чистили морды» своим подчиненным французам же ничуть не хуже, чем старые русские «шкуры» — сверхсрочные фельдфебеля и уштера. Республиканская армия!

Убедившись, что *les cosaques* — народ крайне строптивый и не хочет покорно умирать в зараженном Чилингире, французские солдаты начали нещадно избивать всех, кого им удавалось поймать в окрестностях деревни. Они отлично знали, что русские начальствующие лица тоже не на стороне дезертиров, и поэтому спокойно производили на месте свой скорый, но не милостивый суд. Особенно отличался по этой части ближайший помощник лейтенанта Лелю *adjutant* (подпрапорщик) Омар.

Однажды комендант штаба корпуса полк. Греков получил от командира корпуса распоряжение по телефону во что бы то ни стало препроводить на ст. Хадем-Кюй комендантскую сотню, хотя бы по одному человеку. Часть казаков удачно проскользнула через французские цепи. По поручику И. Ив. Волкову, с небольшой группой казаков, не посчастливилось. Он дошел было до круглой башни, в которой, как в цветнике, росло священное дерево, и хотел нырнуть в лощину, как вдруг откуда ни возьмись конные спаги, которые окружили партию и погнали пле-

тями во двор дома, где жил Омар. Тщетно несчастный поручик кричал Омару, что он шел на станцию во исполнение приказа своего начальства, что он тот самый виночерпий, который накачивал его вчера на пирушке у полк. Грекова.

Ничто не помогло. Разъяренный араб избил его нагайкой в кровь ничуть не меньше, чем простых казаков.

XXIV. Санджакский инцидент

В лагере Санджак-Тепэ, близ станции Хадем-Ўиой, главное ядро русских изгнанников составляли бывшие мамонтовцы.

Здесьние условия беженского прозябания были несколько благоприятнее, чем в Чилингире, так как тут всем сразу же удалось разместиться под крышей в сараях. Любители уединения, не желавшие валяться в общей куче на полках вместо артиллерийских снарядов, поспешили вырыть себе землянки, прикрыв их сверху абри-метро, выпуклыми полосами железа, специально предназначенными для позиционных сооружений. Этого добра в Санджаке валялось огромное количество со времени балканской войны. Здесьний лагерь представлял из себя настоящий русский поселок; турки тут не жили.

Беспокойные мамонтовцы так же, как и чилингирские сидельцы, не могли помириться с гниением заживо и с голодным пайком. Отсюда тоже началось бегство, и еще в большей степени, так как благополучный по холере Санджак не окружали цепи чернокожих. Будучи бессильны предпринять что-либо против этой самочинной демобилизации, Врангель и командир корпуса писали в приказах, что из лагерей уходит худший, большевистски или бандитски настроенный элемент.

Действительность показала обратное.

Чаще всего уходили из лагеря достойные и наиболее трудолюбивые казаки и офицеры, которые предпочитали зарабатывать себе пропитание своими руками и жить на воле, нежели томиться в безделье и впроголодь на положении пленных.

В этот первоначальный момент о примирении с Советской властью думали еще весьма немногие, так как еще жили под впечатлением войны. Только те казачьи политические деятели, которых судьба загнала в лагерь, за-

ставила переносить и недоедание, и холод, и паразитов, сразу же начали бить отбой. Таков был в Чилингире видный член Донского Войскового Круга, корпусный ветеринар, Павел Автономович Скачков.

Как и большинство казачьих политиков, он не имел определенного политического символа веры. В 1917 году причислял себя к эс-эрам, при Каледине занимал выборную должность окружного атамана Усть-Медведицкого округа, при Краснове сильно поправел, в Крыму преклонился перед Врангелем. Летом 1920 г. в издававшейся в г. Мелитополе казачьей газете «Сполохи» он нещадно громил Пав. Мих. Агеева, заключившего «мир» с Советской властью от лица группы членов округа в г. Тифлисе, в апреле того же года.

Теперь в Чилингире, хватив казачьего горя, он стал склоняться к мысли о покаянной казачества перед Советской властью. Вторя ему, донской генерал Астахов (ничего общего не имевший с бывшим таганрогским полицмейстером полк. Астаховым), перешедший на положение «гражданского беженца», начал пропагандировать мысль о массовом возвращении на родину. Узнав обо всем этом, Донской атаман немедленно вызвал Скачкова в Константинополь и назначил его «управляющим беженской частью донского правительства» с громадным окладом. Доморощенный усть-медведицкий эс-эр и казакоман с этого момента снова обратился на истинный путь. В 1922 году, когда на Балканах разгорелась борьба за Советскую Россию в эмиграции, Скачков, утопая в довольстве, яростно ратовал против примирения с Советской властью. Противоположный лагерь напомнил ему его чилингирское построение, напечатав в софийской газете «Вестник земледельца» злостную стихотворную сатиру «Паразит», в которой, между прочим, было такое место:

Чем больше голод мучит брюхо,
Чем гуще лезет паразит,
Тем все левее наш Павлуха,
Тем больше страстию горит
Прикинуть к Ленину в объятья,
Пославши Врангелю проклятья.

Но если казачьи политики легко бросались из стороны в сторону, ища выгоды, то сознание своей вины перед Советской властью вынуждало казаков-воинов покамест не спешить в Россию. Мамонтовцы менее всего склонялись к мысли о том, что им сейчас можно безболезненно воз-

вратиться домой. Однако и они сознавали бесцельность лагерного сиденья.

— Раз Врангелёв не может кормить братву, чего ж зря нас мучить. Нужно будет в поход, — кликните клич, мы соберемся. А теперь — довольно нам этих обезьяньих констерттов... Будет! — говорили некоторые перед уходом.

Одним из первых бежал из Санджака в Болгарию, вместе со всеми своими подчиненными, вахмистр 2-й Донской артил. бригады Илларион Васильевич Титов. Это был выдающийся старый служака, энергичный деловой казак. В Крыму он до последнего момента оставался верен боевому долгу. Когда, среди общего бегства, все думали о спасении своей шкуры и своего имущества, Титов до конца берег казенное добро, непригодное для «загона», и был единственным начальником, который довез до Керчи свои орудия. За такой редкий пример исполнения долга он получил, уже в Турции, благодарность в приказе по корпусу.

Это внимание начальника ничуть не разубедило его в том, что играть в армию на чужбине не следует. Моральный авторитет этого бравого служака был так велик, что даже некоторые офицеры покорно встали под его начальство, когда он повел партию в неведомую даль. Я познакомился с ним в 1922 году в Варне, где он работал на виноградниках вместе с теми, кого увлек за собою из-под опеки Врангеля. Вся его группа зарабатывала себе кусок хлеба горбом, но ни на один миг не раскаивалась в том, что порвала связь с армией. Когда в том же году среди казачества началось движение в пользу массового возвращения на родину для мирного труда, эти честные ребята немедленно встали под развернувшиеся тогда в эмиграции советские знамена.

Те донцы, которые использовали гражданскую войну для своего обогащения и вывезли на чужбину кой-что из награбленных драгоценностей, стремились уйти из лагерей легально, раздобывали паспорта, уезжали в Константинополь или другие места и открывали торговые предприятия. Нищие же, не имевшие за душой ни одного золотника благородного металла, сидя в Санджаке, изобретали самые невероятные способы для добывания средств. Так, некоторые храбрецы, не имевшие понятия об артиллерийском деле, начали разряжать турецкие снаряды, кое-где оставшиеся в сараях. Добытый таким путем порох продавался туркам. Затея кончилась печально.

Однажды произошел взрыв, и несколько человек поплатились жизнью за свое легкомыслие.

Между тем, пока вождь готовился до бесконечности мариновать покорных ему людей в лагерях, французы стали все более и более задумываться над тем, как бы избавиться от содержания такого громадного количества дармоедов. Выдача пайка полутораста тысячам крымских беженцев давила французский бюджет, и без того не особенно здоровый после изнурительной мировой войны. Правда, они рвали, что могли, с Врангеля. «Благодарная» Франция, «бескорыстно» помогавшая белому стану в крымский период, за границей силилась возмещать свои потери и убытки захватом русского торгового флота и вывезенного русского имущества.

Целый ряд причин побуждал французов убрать казаков из Чаталджинских лагерей. Уже в декабре они объявили, что пребывание донского корпуса в этом районе временное и что для более продолжительной стоянки ему предназначен о. Лемнос. Беженцев депикинской эвакуации, «гостей английского короля», проводивших лето 1920 г. на этом острове, теперь перевезли в Салоники или на Кипр. Англичане, обеспечившие своим гостям весьма сносное существование, хотели подальше убрать их от французских гостей, чтобы не вызывать у последних зависти и досады на своих опекунов. Из донских частей на Лемнос с самого начала попало только одно военное училище.

Основную причину, побуждавшую французов сослать донцов на Эгейское море, несомненно, следует искать в их боязни нашествия Кемалю и восстания фракийских турок. Изголодавшиеся авантюристы легко могли предложить свое оружие турецкому патриоту. Для французов не составляло тайны, что турки очень сочувственно относились к русским беженцам, видя в них таких же жертв французской алчности, как и весь турецкий народ; что мужественный анатолийский лев производит сильное впечатление на воинственных врангелевцев; что агенты Кемалю не дремлют и вербуют русских солдат, из числа природных уроженцев Кавказа, в свою армию.

Была и другая причина нашей будущей ссылки на Лемнос. Врангеля и атамана Богаевский ее угадывали нюхом. На безжизненном острове, отрезанные от мира и влияния вождей, многие казаки скорее согласятся на возвращение в Россию. Французы понимали, что среди вран-

голевцев есть немало такого элемента, который выехал из Крыма зря и которому на родине не угрожает никакая опасность. Знали они и о том, что есть такие группы, которые сами добиваются отправки в Россию. Поэтому они предполагали в январе снарядить пароход и кликнуть среди эмигрантов клич: кто на родину?

Врангель ничего так не боялся, как репатриации. Особенно беспокоила его возможность отъезда казаков, детей народа. Это наносило страшный удар белому стану, который всегда ссылался на то, что народ идет за ним, а не за большевиками. Чувствуя ложь этого утверждения, белый вождь принимал все меры к тому, чтобы не допускать как агитации за возвращение в Россию, так и опроса французами его воинов для записи желающих вернуться на родину. Боязнь конфуза перед «демократической» Европой, равно как и нежелание утратить пушечное мясо, годное на случай новых авантур, побудили Врангеля и его лакеев, казачьих атаманов, еще с декабря 1920 г. начать ту ожесточенную борьбу против возвращенческого движения, которая в 1922 году приняла характер физического истребления более активных работников по репатриации.

Вождь был слишком умен, чтобы не видеть, что в таких условиях, в которые его войска поставлены в проливах, от его армии скоро не останется и следа. Те, кого не прикончат тиф и другие болезни, все равно разбегутся сами. Чтобы хоть как-нибудь помазать людей по губам, он приказал выдать к Рождеству крошечную подачку — по одной лире на казака и по две на офицера. Высшему командному составу (строевому), начдивам, комбригам, комполкам, а равно начальникам штабов он назначил довольно приличное жалованье, командирам же корпусов (ген. Кутепов, Абрамов и Фостиков)¹¹¹ по 200 лир в месяц. От войск эти оклады скрыли.

Начальствующие лица теперь, разумеется, из кожи лезли, чтобы «сохранить армию». Для них это был шкурный вопрос, так как с распылением людей они оставались у пустого корыта. Но все их старания все равно не могли привести к чему-либо путному, если войска останутся в тех же условиях, в какие их поставили французы.

Вождь стал зондировать почву в балканских государствах.

Оставной Донской атаман Краснов еще кряду после поворооссийской катастрофы начал проповедывать о том,

что прежде чем начинать новую гражданскую войну, южнорусскую армию надо водворить в балканские государства, перевоспитать в строго монархическом духе, одеть, подкормить и лишь тогда пустить ее на «святое дело».

В то время, как французы стали подумывать о распылении «русской» армии, Врангель мечтал о таком расселении своих солдат в Сербии, Болгарии, Греции или Румынии, где они могли бы получить казенную работу, а он — правительственную поддержку для удержания их в тисках строжайшей дисциплины. Ген. Шатилов¹¹², начальник врангелевского штаба, отправился в эти страны и завел переговоры с их правительствами о тех условиях, на которых они могут дать пристанище кадрам «русской» армии. Переговоры шли медленно, а французы спешили избавиться от лишних ртов. Отправка парохода в Россию у них была очередным вопросом дня.

Заработал донской атаман, заработали информаторы. Ген. Богаевский благополучно прибыл к берегам Турции, как некогда к берегам Крыма, и, располагая не малыми средствами, обосновался в Константинополе на улице Тарла-Баши, в доме № 48. Когда Донской Круг, все еще подававший признаки жизни, попытался учредить контроль над его хозяйничаньем вывезенным казенным добром, атаман вместе с Врангелем убедили оккупационные власти в том, что это — чисто большевистское учреждение и небезопасно для порядка в Константинополе. Французы сейчас же выслали Круг в Болгарию, в глухой городишко Мессемврию.

Атаман остался полным хозяином донских ценностей, особенно — пресловутой мамонтовой добычи, на которую точили зубы не одни члены Круга. Группа донских коннозаводчиков, Кульгавовы и др., предъявила атаману иск, требуя уплаты за поставленных ими еще в 1919 году лошадей для Донской армии, и просила русский суд обезпечить их иск наложением ареста на донское казенное имущество. Суд не уважил этого ходатайства казацких Мининых. Тогда они обратились к французам. Но и тут не выгорело, хотя впоследствии оккупационные власти несколько раз производили у атамана обыск, ища ценности, только не для коннозаводчиков, а для себя.

Богаевского по-прежнему окружали «министры» вроде Скачкова, целая свита генералов и адъютантов,

но говоря уже о штате прислуги. Атаман всех их кормил и пригревал.

Как глава «демократического государства», староста казаков-землеробов, он то и дело перехватывал громадные суммы от американских и европейских благотворителей на «устройство беженцев». С ним считались. Его везде принимали даже охотнее, чем одиозного Врангеля. Но этот тупейший, бездарнейший человек по-прежнему продолжал состоять на побегушках у Врангеля, мечтать о восстановлении той России, где ему будет уготована должность генерал-адъютанта его величества, и расходовать казенные деньги на все, что угодно, только не на улучшение быта лагерных сидельцев.

По приказанию своего сюзерена он явился на Рождестве в Чаталджинские лагеря и начал вести недвусмысленную агитацию за то, чтобы казаки всячески противились отправке на Лемнос, так как там убийственные условия для жизни.

— Мы тоже боролись против этого решения французов, — говорил он казакам, — но они не хотят нас слушать. От вас самих зависит, отправляться туда или нет. Вас много, вы сила. Держитесь в единении, и тогда никакие французы ничего вам не сделают.

Информаторы в свою очередь начали распространять небывлицы про Лемнос. Там, видите ли, нет воды, там околопендры чуть ли не живьем съедают людей, там в море, подле берега, живут страшные осьминоги. Скверно здесь, а там еще ужаснее.

Казаки заволновались¹¹³. Они находились в таком возбужденном состоянии, что всякий слух, даже самый неслышимый, чувствительно задевал их по нервам. В данном случае была не «пластинка». Сам атаман нарисовал столь пещритягательную картину лемносской жизни. Здесь как никак, но жили на материке; отсюда во все стороны открывалась дорога. А оттуда не убежишь; там кругом море. Там с тобой станут делать, что захотят.

Французы в первую очередь предназначали к перевозке обитателей Сауджака. Распропагандированные атаманом, мамонтовцы нехотя начали собирать свое барахло и стягиваться в Хадем-Киой, куда подали вагоны. Те, которые должны были ехать со вторым эшелоном, тоже высыпали на станцию провожать товарищей. Команда чернокожих, расставленных в разных местах вокруг поезда, наблюдала за порядком.

Вечерело.

Приближается момент посадки. Хмуρο поглядывают казаки на вагоны.

— На погибель, братва, везут...

— Заморят на острове. Фасоли да обезьяньих констеров, чего доброго, давать не будут.

— Там осьминоги, сказывают, по палаткам ходят, людей едят.

— Показали бы мы, коли бы в Таврии. Союзнички!

Вдруг за вагоном грянул выстрел.

— Это чернокожий чорт...

— В нас, беспрерменно, в нас.

— Ах, проклятые... Мало морить голодом, еще и убивают.

В толпе рев. Капризные казаки, настроенные против поездки, рады случаю затеять скандал.

Чернокожие, чувствуя себя не в безопасности ввиду возбуждения казаков, сбегаются в кучки, с ружьями наготове.

— Братва! Да что ж они, в самом деле расстреливать нас хотят...

Вся станция гудит. Повод для скандала найден. Неуравновешенные натуры, которым столько времени приходилось сдерживаться, теперь имеют возможность проявить свою прыть.

— Ай, ай... Смотрите... Вон ихняя рать. Нас окружают.

— Братва, не сдавайся... Покажем этой сволочи удаль тихого Дона.

Со стороны французской комендатуры движется пехота. В отдалении видны конные.

Гарнизон Хадем-Кюоя встал в ружье.

У казаков тоже есть чем защититься. Еще не все винтовки проданы туркам.

— Полк в цепь! — звучит металлом голос безрукого полковника Чапчикова.

Калединцы в восторге. Они так давно не слышали этого боевого призыва. Теперь опять, как в Таврии. Загорелись казачьи сердца вздорной отвагой.

Возле станции завязывается бой. «Мирные» беженцы отгрызнулись.

Увидя перед собой не разнузданную толпу, а организованную вооруженную силу, французские войска бросились назад на дорогу, залегли в канавы и отсюда открыли огонь по калединовцам.

Заработал телеграф. В Константинополе узнали о происшествии. В Хадем-Киой немедленно были двинуты подкрепления, даже с артиллерией.

Когда настала ночь, казаки, отстреливаясь, стали отходить в Санджак, так как там на холме была удобная позиция для обороны.

Обе рати так и простояли друг против друга до утра. Французы, имевшие кой-какие потери, не рисковали переходить в наступление. У мамонтовцев тоже постепенно начал проходить военный пыл. Днем у них благоразумие окончательно взяло верх. Офицеры поняли, что зашли слишком далеко.

Начались переговоры.

Мамонтовцы заявили, что согласны погрузиться, но при том условии, если не будет никакой французской охраны. Не желая раздувать инцидента, французы согласились. 2-я дивизия благополучно прибыла в Константинополь и стала грузиться на пароход.

Здесь начальник французского оккупационного корпуса ген. Шарри произвел суд и расправу.

— Это вы скомандовали казакам «в цепь» и руководили сопротивлением?— спросил он Чапчикова.

— Да, я!— неустрашимо отвечал безрукий рыцарь белого стана.

— Зачем же вы это сделали?

— Потому что я казак, свободный человек, и не привык, чтобы меня куда-нибудь тащили силой.

После кратковременного ареста Чапчикова отпустили с миром, переведя его на беженское положение и водворив для жительства в лагерь Селимье в Скутари. Санджакским сражением закончилась боевая карьера, равно как и военная служба, этого буйного, дерзкого, но отважного казачьего предводителя.

Санджакский инцидент больше всего обрадовал турок.

— Урус якши*,— говорили они, одобрительно хлопая казаков по плечам,— Франк яман**. Урус франка бил. Урус осману кардаш***.

Они удвоили свое внимание к «кардашам». Сами нищие, иногда делились последним куском хлеба.

* Якши — хороший.

** Яман — плохой.

*** Кардаш — брат.

— Вот, поди ж ты, — недоумевали казаки, — люди не нашей веры, а ничего, — сердечные, не звери, как принято думать. Не то, что греки. С теми одна вера, один Христос. А за ведро воды, когда стояли в Константинопольском порту, лодочники-греки лиру требовали. Чудно!

XXV. В Маль-Тепэ и Серкеджи

В 20-х числах января* французы смиловались над отрезанным от мира чилингирским лагерем и разрешили вывезти в константинопольские госпитали тяжело больных. К числу последних примыкал и я.

Страшно было смотреть на страдальцев, когда их вытаскивали, как трупы, или выводили под руки из хлевов и сараев. Корчась от озноба, они кутались в легкие американские одеяла, сплошь усеянные белыми паразитами. Желтые, высохшие лица напоминали пергамент. Французские солдаты, не чернокожие, а настоящие сыны «благородной» союзницы армии Врангеля, грубо понукали этих мертвецов, недовольные тем, что они медленно влезают на обозные двуколки или турецкие арбы. Тяжело больных набралось так много, что французских подвод не хватило, и пришлось мобилизовать обывательский обоз.

В Константинополе нас привезли в загородный госпиталь Маль-Тепэ, временный, устроенный, ввиду прибытия армии Врангеля, в казармах бывшего гвардейского полка армии султана. В этом лечебном заведении распорядительная власть принадлежала французам, администрация же состояла из русских, низшая — из офицеров и солдат, высшая — из представителей русской аристократии. Белая кость и голубая кровь неукоснительно почитались республиканцами-французами.

В первую очередь — душ. Необходимая вещь, особенно для тех, кто несколько месяцев не мылся в бане и все время валялся в грязи или на навозе. Но все оказалось не по-человечески. Температура в сарае для душа царила такая же, как на улице, т. е. градуса два мороза. Никто не захотел раздеваться, а иные даже не могли. Русские санитары растерялись. На сцену выступил маленький красно-

* По новому стилю, равно как и везде далее. В Крыму официальным стилем в армии Врангеля был старый, за границей — новый.

рожий сержант, который начал неимоверно кричать и размахивать руками. Казалось, что вот-вот он лопнет от напора воздуха.

Воя от холода, пришлось раздеться. Одежду санитары уносят в дезинфекционную камеру.

Новая беда: вода нейдет!

Стон и скрежет зубовой. На себя накинуть нечего.

На сцене новый персонаж: M-g coiffeur. Двум он безнаказанно обкарнал волосы на голове и подбородке, но третий, рыжебородый дед, артачится.

— Не трожь, тебе говорю, мусью, не твоего ума дело.

— Eh quoi!... — недоумевают французы.

— Отойди от греха подальше... Смирный человек, а будешь приставать, смажу во — как.

«Дидок» — старообрядец. За бороду, как и за двуперстие, его предки шли на самую лютую казнь. Он тоже не хочет лишиться «образа и подобия божия».

Мусью уступает.

Кажется, трудно изобрести более мучительную пытку, чем эта бессмысленная дезинфекция. Когда, наконец, больные, по-прежнему исступленно воя от дрожи, встали под душ, оттуда накапало на голову несколько капель теплой воды, достаточных только для того, чтобы размазать по голове ту странную массу, которую служители-французы рубили топором и бросали нам под именем мыла.

Церемония с душем окончена. А одеться не во что, снова приходится сидеть голым на холоде.

— Камера не работает, вещи остались без дезинфекции, — вскоре сообщают нам русские санитары, раздавая брюки и гимнастерки. — Ее произведут завтра, а покамест придется ночевать в приемной. В палаты без дезинфекции нельзя.

В приемной поломан пол и выбита рама. Подле окна сугробы снега. На железных койках грязные, набитые соломой матрацы. Подушек и одеял — нет. Шинелей не вернули.

Нет силы описать, что перенесли тифозные за эту ночь. Замерзая, проклинали и Францию, и атаманов, и войну до победы. Страшная расплата за грехи вождей и свои собственные!

Я тотчас же после душа лишился сознания, потом пришел в себя, мучимый приступом возвратного тифа.

Утром объявили, что «шеф» приказал отправить нас

в палаты без дезинфекции одежды, так как камера окончательно испортилась.

— Так за каким же чортом нас ночью морозили,— чуть не плача, кричали некоторые.

Тифозные (я был в их числе) потащились длинными коридорами в верхний этаж. Из коридоров двери вели или в палаты для больных, или в комнаты медицинского и административного персонала. Как я ни был болен, но на одной двери заметил визитную карточку генеральши Кубе, заведывавшей госпитальным инвентарем. Знакомая персона. Вдова придворного генерала. Мать двух гвардейских офицеров, из которых один — адъютант бывшего великого князя Андрея Владимировича, другой состоял адъютантом при Кирилле, но утонул во время великокняжеского купанья вместе с «Петропавловском».

В палатах для больных тоже царил холод, но меньший. Здесь изредка топили крошечную железную печку. О настоящих печках в русском смысле этого слова на востоке не имеют понятия. Зато американских одеял в палате дали вволю.

— Тут плохие порядки,— рассказывали мне больные.— «Шеф» — строгий человек. Он до мировой войны был акушером, а теперь лечит от всех болезней. Если у кого день или два постоит нормальная температура, кричит: allez. Больной ему заявляет через переводчика, что ослабел и двигаться не может. Без толку. «Вы все, врангелевцы,— отвечает,— большие; вам всем нужно лечиться, но мы держим в лазаретах только тех, кто при смерти». Не врач, а живодер какой-то!

Действительно, едва только, через неделю после прибытия, у меня понизилась температура, как шеф приказал меня выписать. Я возражал, ссылаясь на то, что завтра опять может случиться приступ возвратного тифа, что я чувствую невероятную слабость во всем теле.

— Allez! Allez!

Везде оно и повсюду это allez для нас, русских эмигрантов.

— Allez! Allez! — кричит часовой-чернокожий, заматываясь ружьем.

— Allez! Allez! — твердит представитель гуманнейшей профессии, чистокровный сын «благородной» Франции, выпроваживая полуживого человека на улицу.

Горек хлеб изгнания!

1 февраля я был отвезен на санитарном автомобиле в ла-

герь Серкеджи, пересыльную часть и эвакуационный пункт армии Врангеля.

Серкеджи — низменная часть Стамбула на мысу, омываемом Босфором и Золотым Рогом. Здесь — французская морская база. Здесь поблизости товарная станция. Невдалеке и вокзал единственной железной дороги, которая связывает Константинополь с Европой.

Лагерь — восемь низких, но длинных деревянных барачков, обнесенных кругом колючей проволокой. Над одним барачком развеивается русский, над другим французский флаги. Это комендатуры. Перед барачками проходит дорога с пристани в город. По другую сторону ее — «казарма Лафайета», в которой обитают французские части. Кругом повсюду черные часовые.

— Нельзя ли меня отправить в Хадем-Киой? — обратился к русскому коменданту, высокому, весьма надменного вида, ротмистру.

— Вас отправят на Лемнос.

— Разве в Чаталдже больше нет донцов?

— Есть, как и раньше. Но французы приказали отправлять на Лемнос всех казаков, которых выписывают из госпиталей и, вообще, которые попадают к нам в лагерь. На донцов они теперь злы.

— Когда же отправка?

— С первым же транспортом, который повезет продукты.

Началась жизнь на новом месте.

В лагере Серкеджи к этому времени скопилось до 600 человек разного люда. Из-за ненастной погоды отправка на Лемнос задержалась, а народ все прибывал и прибывал из госпиталей. Здешние условия жизни во многом напоминали чилингирские. Тот же голый пол для спанья, тот же холод, как на улице, та же куча народу, та же грязь, те же паразиты. Только штаб-офицеры и генералы жили лучше. В их барачке были койки с матрацами и одеялами.

Но громадным плюсом здешнего лагеря являлось то, что не приходилось думать о кормежке. Одетые в форму французских солдат русские кашевары прямо на улице готовили в походных кухнях незамысловатые блюда из невкусных французских консервов, фасоли и кокосового масла. Кипяток давали только женщинам. Остальным приходилось пить холодную воду, ту самую, которая текла по трубам из озера Деркос, близ зараженного холерой Чилингира.

Царем и богом лагеря был М-г adjutant. Во французской армии это звание до некоторой степени равносильно нашим старым подпрапорщикам. Настоящей фамилии своего властелина лагерные сидельцы не знали, да и не интересовались ею. М-г adjutant считал себя героем мировой войны и ждал производства в офицеры колониальных войск (в иные части необразованных офицеров не допускают). Ради этого он лез из кожи, чтобы выслужиться перед своим начальством.

Он с раннего утра прибывал в лагерь, бегал, кричал, распоряжался. После обеда его некрасивое, неинтеллигентное лицо заметно багровело, а движения становились более порывистыми. Всякий, кто обращался к нему по делу в этот послеобеденный период, мог рассчитывать или на самый наилучший прием, или на пинок в спину.

Большой любитель du vin, он, как верный сын своей нации, питал слабость и к женскому полу. В объектах для любви недостатка не было. В лагере один барак занимали русские женщины, почему-либо застрявшие в Константинополе и не имевшие нигде другого пристанища. Некоторые из них обосновались тут из-за мужей, ожидая вместе с ними отправки в военные лагеря. Других избавлял от отправки в гражданские лагеря русский комендант ротмистр Александровский. Третьи, выписанные из госпиталей, продолжали болеть, как и многие мужчины, и никуда не могли двигаться дальше.

Кроме того, при лазаретном бараке жили две молодых сестры милосердия, одна по фамилии — Лютая, другая именовала себя княжной Волконской. Adjutant был на вершинах счастья, когда la princesse russe, отпрыск дома Рюрика, удостоила его, простого французского парня, своим благоволением. Его мало смущало вставное металлическое горло княжны, хриплый голос, разухабистые манеры и площадная брань, которой он, впрочем, не понимал. В простоте своего республиканского сердца он считал, что такое принужденное поведение составляет отличительную черту русских аристократок.

Счастье adjutant'a продолжалось всего две-три недели. Жестокая судьба грубо насмеялась над ним, не позволив ему произвести сильное впечатление в родной пикардийской деревне рассказами о своей близости к дому Рюрика. В один непрекрасный для его пассивности день русский комендант Александровский, рассматривая какой-то единственный документ о личности княжны, заметил в нем

грубые подчистки. Слово княжна оказалось приписанным другими чернилами и другим почерком, а фамилия Волконская была явно переделана из Вулковская. Бравый ротмистр, тоже иногда не брезгавший отпрыском дома Рюрика, несмотря на явную примесь ртути к царственной крови, стал производить расследование и с точностью установил факт самозванства.

Узнав об этом открытии, *adjutant* рвал и метал. Развешенная из княжен простая сестра милосердия не представляла для него интереса. Более того. Он сорвал на ней досаду за собственное свое легкоеверие, с которым осыпал своими грубыми солдатскими ласками простую смертную, считая ее за княжну. Злополучную авантюристку выдержали пять суток в карцере: в сыром каменном ящике при «казарме Лафайета», а затем выслали в беженский лагерь Селимье на азиатском берегу Босфора.

Исполнителем приказаний *adjutant*'а являлся ротмистр Александровский. Простые беженцы имели дело только с ним. От его доклада *adjutant*'у зависело почти все. Поэтому его страшно боялись, а это нравилось молодому человеку. Он, что называется, «тянул публику», допуская льготы лишь нашему штаб-офицерскому барачу. Не зная пределов своей власти, он перед ужином выгонял казаков на дорогу впереди барачков и заставлял петь песни. Затем устраивал поверку и справлял «зорию с церемонией» по всем правилам устава внутренней службы. В Константинополе застрял оркестр калединовского полка, так как музыканты нашли для себя более выгодным играть в цареградских кабаках, нежели трубить среди скал Лемноса. Александровский разрешил им квартировать в лагере, но обязал их в свободное время услаждать его музыкальный слух и наигрывать зорию. По правилам, весь лагерь после 10 часов вечера должен был спать. Но русский комендант сам не давал покоя публике своими почти ежедневными шумными пирушками, в которых принимали участие и музыканты, вернувшиеся с работы. Пьяные песни до утра оглашали крошечный лагерь, музыка без конца наигрывала «Боже, царя храни». *Adjutant* тоже нередко присутствовал на этих русских пирушках, напиваясь до рвоты со своей «княжной».

— Чорт знает, что за безобразие! — жаловался мне помощник Александровского гвардейский капитан Соболевский. — Хоть уходи с должности. Вечное пьянство, пьянство на виду у всех. Противно и стыдно публики.

Второй помощник, совершенный мальчишка, подпоручик Виноградов, во всем подражал своему начальнику.

Однажды у ротмистра Александровского вышел крупный скандал с лагерным священником о. Михаилом. Бедный попик, бывший настоятель собора в г. Александровске, Екатеринославской губернии, жил в Галафе, в Андреевском подворье, вместе с массою русского духовенства, выброшенного на берега Босфора. Православного константинопольского патриарха, «вселенского», ни капельки не тронули бедствия русских товарищей по ремеслу. Греческое духовенство, как и сама греческая нация, сыздавна паськвозь прониталась торгашеством и жадностью к деньгам и привыкло смотреть на всякого человека только с точки зрения коммерческой, т. е. можно ли с него что-нибудь содрать, или нет. Римский папа оказался чувствительней. Он предписал своему константинопольскому нунцию отвести для русских батюшек загородную дачу. Русское духовенство даже и тут не могло забыть вековой религиозной вражды и отклонило руку помощи.

О. Михаил приходил в лагерь Серкеджи в субботу и воскресенье служить всенощную и обедницу в штаб-офицерском бараке, получая за это такой же обед, какой готовили для русской администрации. Дамы вышили ему шелком епитрахиль; один полковник-артиллерист смастерил ему кадило из консервных банок. Этот последний материал широко применялся в беженском обиходе. Из него делали кружки, ложки и другую утварь.

Приближался великий пост. О. Михаил подготавливал свою паству к покаянию в грехах. В субботу перед мясопустным воскресеньем он явился по обычаю в наш барак, расставил иконы, облачился и хотел уже приступить к богослужению, как с улицы раздался такой концерт, что задрожали стены. Ротмистр Александровский был пьян, горланил с казаками песни и наслаждался игрой трубачей Чапчикова. Бедный попик несколько раз посылал к нему делегатов с просьбой прекратить неуместное веселье и предложить публике идти ко всенощной. Комендант делегацию обложил по-русски, христоролюбивое же воинство само предпочло слушать песни, чем завывания дьячка. О. Михаилу волей-неволей пришлось начать богослужение при ничтожном стечении молящихся и под аккомпанемент совершенно небожественных звуков.

На другой день, в воскресенье, за обедницей он сказал проповедь.

— На реках вавилонских, тамо седоном и плакахом, на вербях обесивши органы наши... Этот псалом вчера пели на всенощной. Древние евреи, попав в плен, отказывались веселиться на земле чужой, они только плакали и вздыхали, вспоминая свой родной Сион. Когда пленившие их вавилоняне просили их спеть какую-нибудь национальную песню, они отвечали: «Как нам петь родные песни на земле чужой? Мысль о нашем поруганном Сионе отравляет нам всякое веселье». И Вседержитель внял их скорби, и евреи дождались блаженного дня возвращения на родину. А что делаем мы, изгнанники? Ничуть не вешаем органов наших на вербях, а горланам под их звуки песни даже в то время, которое предназначено для богослужения. Язык наш не прилипает к гортани, а что ни час, то произносит сквернословия. Мы забыли свой Сион, не скорбим о нем, и Господь долго не возвратит нас в него.

Узнав об этой проповеди (сами чины комендатуры никогда не ходили на богослужение), комендант довольно крупно поговорил с батюшкой и посоветовал ему, во избежание худшего, не подрывать его начальнического «авторитета».

Ротмистр Александровский получал от Врангеля 30 лир в месяц; его помощники несколько меньше. В его распоряжении находилась русская команда сторожей, которым не платили жалованья, но французы выдавали им одежду и лучше кормили. Эти аргусы стоглазые, большей частью из прежних контрразведчиков или чинов полиции, зорко стерегли нас и подчас были более злы, чем чернокожие. Всем им хотелось выслужиться перед адъютантом.

Скучно проходило время за проволокой, на крошечном пространстве, забитом грязным, шившим народом. В хорошую погоду разрешалось гулять по улице, перед лагерем, в ненастную — сидели по баракам, до того дырявым, что иногда на полу наметало сугробы снега.

Южная зима не похожа на нашу. Снежный пейзаж очень непродолжителен. Стоит рассеяться тучам и засиять солнышку, как через каких-нибудь полчаса или час о снеге нет и воспоминаний. Высыхает даже грязь. В такие приятные моменты лагерные сидельцы, закупоренные в проволочный квадрат, высыпали гурьбой на переднюю линию и разгуливали по дороге, которая ведет от французской базы в город и к садам падишаха. Посторонний люд здесь не ходит, только одни новые завоеватели Царьграда. Аргусы-часовые, русские и негры, зорко следят

за тем, чтобы никто из пленников не уходил по улице далее черты барачков.

Там и сям, прямо по мостовой, сидят группы. Автомобили то и дело шмыгают из города в город. В них синееют французские шинели и кепи. Чувствуя себя хозяевами, завоеватели мчатся, как бешеные, разгоняя в стороны русскую рвань, точно стадо цыплят.

Разношерстна и непривлекательна лагерная толпа. Если судить по одежде, то очень трудно распознать русских людей. Преобладает английское обмундирование защитного цвета. Но на иных — синее французское. Это те, у которых, при выписке из госпиталей, не оказалось верхней одежды. Сердобольные французы иногда снабжали больных своими отбросами, выслужившими все сроки.

В наиболее жалком виде — неудачники, покинувшие революционным путем армию и теперь решившие вернуться в нее. Не хватило духу переносить уличную жизнь, не удалось приспособиться к существованию константинопольского Lumpen-Proletariat'a. Прожив решительно все, «загнав» последнюю смену американского белья за 50 пиастров на площади Омара, они являлись в Серкеджи в накинутых на голое тело пиджаках, подбитых ветром, каялись в своем дезертирстве и просили отправить в Галлиполи. Казаков среди таких неудачников я не замечал. Дети трудового народа, они везде умели приспособливаться и стойчески переносить подзаборную жизнь.

— Что же, не сладок показался самостоятельный кусок хлеба? — спросил я одного такого «сачка» (типа).

— Уж больно много тут нашего брата. Куда ни плюнь, везде русский. Промышляют, кто чем может. Иные даже тараканьи бега изобрели, ипподром для них устроили. А вот один «супчик» бежал из Кутепии¹¹⁴, теперь здесь здорово деньгу зашибает, служит у профессора черной и белой магии, изображает мертвеца, лежа в гробу. Лиру за сеанс получает. На днях пропивал в галатском кабаке свой заработок. «Я раньше, кричит, был ротмистром, а теперь труп». Сильно ему завидуют. Повезло парню, хорошо устроился. Не всем здесь одинаково.

— Ну, а в порту разве нет работы? Можно ведь и заняться уличной торговлей.

— Пойдешь в порт, — разве у нашего брата есть столько силы, как у грузчика-турка? Мы так ослабели, что ноги едва волочим, где тут кули таскать. Кто из нас не переболел тифом? Кто из нас по-человечески спит и вволю ест?

Торговать, — вы говорите. Но тут и так весь город торгует, спекулирует; один наживается на глупости другого. Помимо хоть пяти лир для начала (а где их взять?) — надо иметь сноровку в этом деле. Плохо нашим. Зря люди гибнут. Ночи наша публика спит все больше в кофейнях — за пять пиастров. Дни шляются по базарам, мерзнут. На днях нашли вашего казака-донца мертвого подле Святой Софии — от истощения умер.

— Кто же тут из наших живет хорошо?

— Живут... Жоржики, — они ведь по-французски болтают, — служат переводчиками во французских учреждениях. Белая кость устроилась по благотворительной части, — в разных Земгорах, Земсоюзах, Красных Крестах. Прожигают последние гроши капиталисты, а также те из наших, кто загнал здесь казенное добро или награбленное во время войны золото и бриллианты. Есть такие, что хорошо кормятся от грабежа. Одна компания ухитрилась даже банк подчистить, да как ведь ловко! Хотите, расскажу?

— Ради бога. Ведь это ж адски интересно!

— Являются однажды к французскому коменданту двое русских. Так и так, готовим кинематографические фильмы, не откажите посодествовать несчастным русским беженцам, жертвам разбойничьего коммунизма... хотим инсценировать ограбление банка, просим разрешения, а также наряд полиции, чтобы присмотреть за порядком. Кажется, даже назвались князьями или графами. Ну, француз, конечно, растаял. Так и так, *sil vous plait*, говорит, пожалуйста. На другой день — все честь-честью. Часовые отстраняют зевак от банка. Аппарат на месте. Кассир с чемоданчиком выходит изнутри на подъезд, — тут уж и автомобиль мчится. Быстро подхватывают вооруженные до зубов молодцы кассира под руки, вваливают в кузов вместе с чемоданчиком и улетают на всех парах. Фотограф смотал удочки, сказал, что пойдет готовить фильму. Публика ждет, когда вернется автомобиль, ждут и банковские служащие своего кассира. Дождались только через двое суток. Молодцы завезли его далеко-далеко, выкинули на землю, разумеется, без чемодана, где было 50 тысяч лир, а сами скрылись. Ну, не ловкая ли экспроприация?! Блеснули в мировом центре своим русским талантом... Можно сказать, прогремели.

— Не поймали?

— Куды тебе! Они закатились, может, за Адрианополь, где-нибудь в Болгарии теперь.

— А где они машину взяли?

— Тут все наши шоферы пристроились если не к французам, то к англичанам и итальянцам. Половину союзнических машин обслуживают наши ребята.

— Да, счастливицы, ловко обделали дельце! — вздыхает, прослушав этот рассказ, молодой артиллерийский полковник Волков. — Мне тоже вчера привалило было счастье, да и сорвалось. Отпросился я в город хлопотать на счет визы в Голландию, хочу заделаться голландцем. На площади Муссала турок обронил кошелек. Я, не будь дураком, — оглянулся, цап кошелек и в кусты. Свернул в переулок, иду медленно, как ни в чем не бывало. Заглянул в кошелек, не выдержал, — почти тридцать лир! Екнуло сердце. Так нет же! Вдруг — погоня. Видно, кто посторонний заметил на площади, как я поднимал находку. Пустился в «драп», ничего не вышло. Догнали. Хорошо, что не позвали полицию.

— Сильно били?

— Нет, не побили, но назвали «яманом» и что-то много по-своему ругались. Ах, как жаль! Сколько времени сижу без пиастров.

Большинство слушателей сочувственно качает головой.

— Да, ведь этакий случай... Когда теперь другого такого дождешься! Тридцать лир! Надо бы во двор куда-нибудь, на проход, или заскочить в трамвай.

Этот маленький полковник Волков (я с ним жил в одном бараке, штаб-офицерском) давно уже утратил разницу между добром и злом, нравственным и безнравственным, дозволенным и недозволенным. Вместе с тем он не был совершенно надшим человеком. При нормальных условиях он тянул бы обычную армейскую лямку и к старости украсился бы знаком за «40-летнюю беспорочную службу». Война привила ему, как и многим другим, несколько легкомысленную мораль.

«Ах, если ваше, то берите, мне чужого не надо», — с невинным видом заявляют люди его типа, когда их ловят в воровстве.

Он был просто мил в своей откровенности, с которой рассказывал о своих поступках самого сомнительного свойства.

— Какая там честь, когда нечего есть! — как бы говорил он в осуждение тем, которые, нарушая все божеские и человеческие законы, трактовали о чести офицерского

мундира под константинопольскими заборами.

Сам Врангель, глава армии отщепенцев от человеческого общества, в это время очень увлекался судами чести. Ген. Слащев, обругавший его в своей книге «Требую суда общества и гласности», был не только лишен этим судом мундира, но и разжалован в рядовые¹¹⁵. Моего случайного знакомого, матроса Федора Баткина, судом чести исключили из общества «первопоходников».

Полковник Волков забыл и думать об этих судах. До Серкеджи он больше месяца служил поваром у английского коммерсанта.

— Вот это была жизнь, так жизнь! — с восхищением вспоминал он свою поварскую карьеру. — Не осточертевшие консервы ел я тогда, как здесь, а ростбифы да птицу. Спал я один на кухне, в тепле. Иногда англичанин подносил и стопку виски. Ну, что ж, я не гордый, не заставлял себя долго упрашивать.

Полк. Волков легко сбросил с себя ветхого человека. Ему, молодому человеку, это было не трудно сделать.

— А вот на Халки*, — слышал я в лагере разговор, — живет один генерал с большими усищами и с большим капиталом. В мировую войну корпусом заворачивал. Этот платит знакомому солдату-инвалиду 50 пиастров в день, чтобы тот по утрам приходил к нему в форме и рапортовал по всем правилам устава: «Честь имею явиться, ваше высокопревосходительство! За истекшие сутки в лагере происшествий никаких не случилось».

— Этот хоть деньги платит, — вставляет свое слово высокорослый поручик Халевинский, облеченный в синюю французскую шинель и английские ботинки на босу ногу. — А вот наш генерал-от-эвакуации заставляет солдат и офицеров тянуться перед ним задаром.

— Какой генерал-от-эвакуации?

— Кутепов. Врангель произвел его в генерал от инфантерии на константинопольском рейде, во время эвакуации из Крыма. Публика взяла это на зубок. Так его и прозвали генералом-от-эвакуации. Этот сумасшедший (спятил от неограниченной власти) такого задает всем перцу, что чертям тошно. Люди живут в воронках, выбитых снарядами, ровно как троглодиты, а он каждый день гонит на ученье, чтобы драть по булыжникам и без

* Один из Принцевых островов, в Мраморном море, напротив Константинополя.

того драную обувь. Смотры, парады, молебны... «Не беженцы мы, говорит, а армия... наше еще впереди... Сам русский народ позовет нас спасти Россию... крепитесь, орлы».

В штаб-офицерском бараке жил, в ожидании парохода в Румынию, пекий Василий Корякин. Румын, божиею милостию, такой же, как полк. Волков голландец. В мировую войну он служил простым солдатом в том корпусе, который царское правительство послало во Францию. В 1917 году этот корпус разложился. Степенный и покорный властям предржащим Корякин поступил в «Иностранный легион» в Алжире.

— Законтраковался я на три года,— рассказывает он,— и был сам себе не рад. Ну, и понал в переделку. Этот «странный» легион — сборище всяких прощелыг. Туда идут все, кому тесно на свете, у кого нечистая совесть. Тот растратил чужие деньги, тот удрал с каторги. Тут всякой твари по паре, всяких мастей люди, даже ирландцы. Попадаются иногда из знати. Под чужой фамилией служил простым солдатом немецкий принц из того рода, что Вильгельм. Дисциплина здоровая. Если во взводе сержант русский, плохо живется немцам. Остыть с войны не могут. В свой черед сержанты немцы отливают русским рядовым. Русских теперь стало в легионе много, французы на вербовали врангелевцев. У всех легионеров одна заповедь: «14 дней работай на Францию, а пятнадцатый день богу-Бахусу твоему». В этот день раздают жалованье. Тут уже жители запираются в домах, как в крепости. Прежде даже в барабан били, предваряли жителей: легионеры, мол, в отпуску; смотри в оба!

— Ну, а служба?

— Служба по большей части боевая, на границе Сахары. Постоянные схватки с кочевниками пустыни. То экспедиция вглубь, то стоим на уединенных постах. Днем жара, ночью вода мерзнет. Где уж тут маяться неженкам-французам! Они щадят свою благородную кровь, недаром для этакой службы набрали «странный легион». И офицеры в этой части не буржуйчики, а вахлаки, выслужившиеся унтера, вроде здешнего *adjudant'a*. Путный образованный офицер-мусью ни за какие деньги не согласится служить в легионе. Туда идут такие шкуры, которым не привыкать рассыпать зуботычины. Но этого публика не так страшится, как дисциплинарных взысканий. Не подумайте, что там под ружье ставят. Не это. За проступки принудительно увеличивают срок службы. Нанялся

на три года, за проступки отслужишь еще столько же. Бежать не думай: поймают, так пуля в брюхо. Иные строптивые до смерти служат, пока не станут обузой. На что и вел себя исправно, и то отслужил лишнее. Выбрался наконец. Как бессарабский уроженец, румыном сделался. Попадаю в новое отечество, и боюсь. Больно уж везде ругают румынские порядки.

— Ну, а черные в Алжире служат?

— Негров нету. Оттуда им близко до родины, удрать могут. Их, ведь, знаете, как набирают? Ночью французская рота окружит негритянскую деревню, а с рассветом выгонит всех мужчин на площадь. Там вербовщики ставят мелом крест на черных спинах у тех, кто, на их взгляд, годен к военной службе. Потом под конвоем гонят в порт, а оттуда во Францию. Они, что скот, идут, куда прикажут. Француз ему в рыло, он только свои белые зубы скалит да веки, как ворота, растопыривает. А ведь это сила Франции. Теперь треть всей французской армии составляют колониальные войска.

— В Серкеджи черные жили в бараке, рядом с нами, но французы не допускали никакого общения их с русскими. Боялись, что в это покорное стадо, опору Франции и ее республиканского строя, через нас проникнет большевистская зараза. Негры, по своей дикости, иногда позволяли себе подтрунивать на своем непонятном языке над обитательницами женского барака, страшно гримасничать им вслед. Но по натуре они, видимо, не злой народ, как мы заключили из одного факта. В штаб-офицерском бараке проживал некий полк. Колесниченко, юноша лет 25. Однажды он из пьяного озорства ударил ни с того ни с сего негра-часового. Гарнизонный устав дает право часовым в случае нападения на них действовать оружием. Негр, однако, не заколол офицера, которого арестовали и водворили в чуланчик при том же бараке, где помещался чернокожий караул.

— Нельзя ли Колесниченко перевести в другое место и приставить к нему русских часовых?— обратился я к ротмистру Александровскому.— Ведь негры дики; они из мести могут ночью придушить нашего офицера.

— Ерунда. Французы их держат в черном теле и так часто лупят, что они привыкли к этому удовольствию. Будьте покойны: ничего не сделают.

Комендант оказался прав. Инцидент окончился благополучно. Колесниченко через несколько дней отправили

на плавучую тюрьму «Рион», как крайне подозрительную личность. Его полковничий чин возбуждал сомнения, равно как и его рассказы о том, что он учился в Пажеском корпусе и служил в императорском конвое.

Как ни обесценилась теперь вся эта прежняя мишура, но она служила маркой политической благонадежности, открывала двери русских учреждений и весьма помогала устраиваться на тепленькие места в разных земгорах. Да и иностранцы относились далеко не безразлично к русской знати. Особенно импонировали русские титулы. Если adjutant'у было лестно завести любовную интрижку с княжной Волконской, то и какой-нибудь английской мистрисс Смит доставляло громадное удовольствие иметь кучером графа Шереметева.

Ввиду этого в эмиграции появилось неисчислимое количество титулованных. Я знал одного Рафаиловича, который выдавал себя за князя. В Египте, среди русских беженских масс, одно время подвизался граф Коваленко. Поляки все поголовно превратились в графов.

Один раз в Серкеджи в комендантский барак явился при мне некий юноша, гражданский беженец, и предложил свои услуги в качестве переводчика.

— Ваша фамилия? — спросил его комендант.

— Князь Доливо-Добровольский, — ответил юноша, не совсем твердо произнося титул.

— Позвольте, — вмешался я. — Какой же вы князь? Князей Доливо-Добровольских нет и никогда не было.

— Мой отец киевский предводитель дворянства...

— Совершенно верно. Имел честь с ним встречаться в Киеве. Потому и утверждаю, что этот хвостик спереди вы, молодой человек, зря себе прицепили.

Adjutant'a совершенно не интересовали русские самозванцы, раз они не затрагивали его личности и не нарушали порядка. Зато всех бунпов и скандалистов он ругал на все корки и щедро рассыпал по их адресу титул «bolchevik». Мелких нарушителей порядка он выдерживал под арестом в лагере или в «казарме Лафайета», крупных ссылал на пароход «Рион», где была устроена плавучая тюрьма.

Невзирая на строгий надзор, люди уходили из лагеря. Чаще всего убегали те, которые уже вкусили прелестей вольной жизни. Как ни ужасно было жить под цареградскими заборами, но в серкеджинской клоаке, обнесенной проволокой, они чувствовали себя еще хуже.

— Жизнь в Константинополе горька, зато там своя воля, — говорили они, прожив несколько дней в лагере. — Нет, тут у вас противнее. Надо «драпать». Нечего будет есть, начнем воровать. Ну, тогда уж не обидно и в тюрьму попасть. А то ведь чины армии, спасатели отечества, а сидите на манер каторжников.

Однообразная лагерная, чисто животная жизнь изредка нарушалась каким-нибудь скандалом вроде избиения чернокожего часового.

Другой раз случилось более диковинное происшествие.

Из Франции для нужд оккупационного корпуса привезли целый пароход вина, которое выдается каждому солдату французской армии (кроме чернокожих) ежедневно по пол-литра. Для разгрузки парохода нарядили казаков. Последние стали перекатывать бочки в сарай, находившийся рядом с нашим лагерем. На ночь сарай запирали; те же бочки, которые не успевали туда вкатить до темноты, оставались снаружи, под наблюдением чернокожего часового. Присмотревшись во время работы к обстановке, казаки ухитрились ночью похитить одну бочку. Кража была совершена столь дерзко и столь ловко, что французы онемели от изумления и оставили без расследования и возмездия эту воровскую, но молодцовскую проделку.

Но один раз воры были позорно наказаны.

Настал тот час, когда всех казаков выстроили, чтобы пересчитать и посадить на пароход для отправки на Лемнос. Роздали на дорогу хлеб и консервы. В этот самый момент пришло известие, что отправка отменяется ввиду перегруженности транспорта продуктами. Розданные консервы и хлеб отобрали и понесли в лагерный цейхгауз. По дороге часть их расхитили сами же назначенные для переноски люди. Ротмистр Александровский, узнав об этом, приказал обыскать этих людей. У двух, одного донца и одного кубанца, нашли краденое.

— Казаки! — обратился Александровский к «братве», — ваши товарищи хотели обобрать вас же самих. От покраж уменьшается доля, которая приходится на каждого из вас. В этом деле заинтересованы вы сами. Нельзя потворетствовать такому безобразию. Что мне делать с виновными?

— Сечь! — все, как один, закричали казаки.

Большинство из них сами не любили оставлять без внимания то, что плохо лежало. Но здесь заговорил шкур-

пый интерес: каждый почувствовал себя обокраденным.

Провинившиеся, видя всеобщее озлобление, побледили.

— Я член Кубанской рады, меня никто не имеет права подвергать телесному наказанию,— заявил дюжий, широкоплечий «кубанец» в такой громадной бурке, что в ней можно было спрятать не пару банок, а весь лагерный цейхгауз.

— Член рады? Народный избранник! — раздалась иронические голоса. — Законодатель, а таким делом занимаешься. Все вы в раде кричали, что мы на фронте грабим, вешать нас за это требовали. А как отведали нашего здешнего житья-бытья, так сами пускаетесь грабить... Десять лишних ему за то, что член рады!

Adjutant'у объяснили, что самосуд за кражу у товарищей ископный казачий обычай. Он согласился на порку.

Все население лагеря выстроили в каре на дороге перед бараками. Французские солдаты любовались невиданным зрелищем из окон «казармы Лафайета». Офицеры держали в руках фотографические аппараты, чтобы запечатлеть эту картину. Черные сыны Судана таращили свои глаза и заливались смехом, приседая при этом до земли.

Виновных привели на середину каре. Тут же поставили и вещественные доказательства. Первым заставили раздеться и лечь на свою бурку великана-кубанца.

— Помилосердствуйте... ей-богу, не виноват!

Двое держат его за плечи.

— Братцы, да что ж это?

Добровольный палач из казаков замахивается жестким английским ремнем.

— Не позорьте звания члена демократического учреждения. Во имя вольной Кубани... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!

Народный избранник почувствовал мучительное прикосновение ремня к голому телу. Обхватив руками свою косматую голову, он все время выл зверем, пока его секли. Когда же экзекуция кончилась, встал как ни в чем не бывало. Донец перенес порку так спокойно, точно она была для него самой обычной вещью.

Таковы сценки, разыгрывавшиеся иногда на константинопольских улицах.

Мечта славянофилов исполнилась. Русская армия,— русская в кавычках, но истинная сторонница тех нацио-

нальных начал, которые провозвещали они, — наконец при-
была в Византию, родину своей культуры. «Растленный
Запад», в лице французских солдат и офицеров, с изу-
млением наблюдал исконные нравы народа-богоносца.

Немало скандалов возникло и в женском бараке.

Благодаря помощи американского Красного Креста,
женщины жили сравнительно сносно. Как и в штаб-офи-
церском бараке, у них имелись койки, матрацы, одеяла.
Им выдавали какао, консервированное молоко и т. д. Этими
дарами Америки они подкармливали своих настоящих и
походных мужей.

Бездельная жизнь на всем готовом окончательно обле-
нила даже тех из них, которые дома привыкли к труду.

Дело дошло до того, что никто из женщин не хотел
выметать сор из своего барака. Постепенно у «барынь»
образовались такие авгиевы конюшни, что грозили зара-
зой всему лагерю. Русский комендант назначил старости-
хой женского барака одну вдову казачьего генерала, пе-
отесанную «станёшницу»*, думая, что она сумеет за-
ставить «барынь» убирать из-под себя навоз.

«Барыни» забунтовали.

— Ну, вот еще, я буду подметать у койки какой-нибудь
поручицы! — язвительно заявляет одна молодая особа,
считавшая себя сунругой полковника.

С соседкой-поручицей у нее давнишние нелады.

— Подумаешь, фря какая! Знаем вас... Я в законе
живу, а ты «походная»... Много таких было у твоего пол-
ковника.

Поручица в ту же ночь горько поплатилась за эту дер-
зость.

— Староста! Староста!

— Что, в чем дело?

— Прекратите безобразие: тут мужчины.

В женском царстве тревога. Как ни холодно, но многие
поднимаются с коек. Одинокая лампочка тускло освещает
барак. Спросонок никто ничего не видит.

— Где, где мужчина?

— Вот у этой, госпожи поручицы, под одеялом.

Подозрительную койку окружает толпа самых отъяв-
ленных фурий, на которых неспособен позариться ни
один мужчина.

* Станёшница, жительница станицы. На казачьем жаргоне это
посмешильное выражение обозначает глубокую провинциалку, дере-
венщину.

— Вот вам крест святой, нету. Это она по злобе, что я ее «походной» величаю. Не верьте ей!— чуть не плача умоляет раскрасневшаяся поручица.

— Под одеялом у пей... Вишь, как пятится... В ногах ищите... Видите, какая там куча.

Злополучный поручик извлечен на свет божий. Он готов броситься в Босфор, и физиономии буденовцев в этот миг были бы ему более приятны, чем лица представительниц прекрасного пола.

После этого в женском бараке поднимается такой шум и вой, точно и на самом деле на белогвардейский лагерь напал Буденный.

Под знаменами Врангеля гнило все, и гнило заживо... А вождь все еще называл себя и своих верноподданных солью земли русской. Он все еще не изверился в свою счастливую звезду, уповая на русское — авось, небось, да как-нибудь.

— На кривую плохо надеяться... Не вывезет. Не удержались на голове, где же удержаться на хвосте!— говорили в Серкеджи, иронизируя над его бряцанием ржавым оружием.

В феврале он объехал лагеря в Галлиполи и на о. Лемносе, или, по эмигрантской терминологии, в «Кутепии» и на «Ломоносе». У него не было желания смотреть в корень вещей, узнать подлинное настроение низов и ознакомиться с их нуждой и горем. Этот честолюбец довольствовался внешней стороной, которую показывали ему его раболепные генералы. Эти последние, субсидируемые им, готовились встречать его, как коронованную особу. В Галлиполи куча денег ушла на покупку разной мишуры вроде материи национальных русских цветов. Румянами и пудрой хотели прикрыть гнойные лагерные язвы. Единоверцы-греки не пропустили случая поднять цены на ходкий товар.

— Союзники нас продали, но они скоро раскаются в этом. Не за горами тот час, когда опять потребуемся мы. Орлы! Терпеливо переносите все невзгоды. Вы ещё взмахнете своими могучими крыльями, и славен будет ваш новый полет,— истерично вопил вождь на параде.

А после парада толпы лагерных сидельцев, скорее похожих на мокрых куриц, нежели на орлов, разойдясь по своим палаткам и подземным норам, с отвращением глотали осточертевшие консервы под звуки музыки, доносившейся из богатой квартиры «Ишжир-Паши», где проис-

ходила далеко не скудная трапеза в честь «обожаемого».

«Галлиполи — монастырь с двумя уставами, военным и монастырским. И сухоядение здесь налицо, — писал в «Общем деле» Бурцева (1921 г. № 286) некий И. Сургучев, возвеличивая «Кутепию». — Церкви обслуживаются с необычайной любовью и тщательностью; службы часто проводятся по монастырскому чину; известная артистка Плевницкая выступает в качестве пономаря».

Автор этой статьи упустил из виду следующее. Оба эти суровые устава выполнялись только низшей братией; высшая не знала никаких уставов, ни сухоядения. Артистка же Плевницкая менее всего вела монашеский образ жизни, выйдя замуж за начальника корниловской дивизии, молодого генерала Скоблина¹¹⁶.

На Лемносе Врангель своим появлением окончательно деморализовал кубанцев. У последних, как всегда, происходили ссоры и плелись интриги. Легкомысленный, грубый генерал Фостиков не ладил с политическими деятелями, членами рады. Последние пожаловались Врангелю на его самоуправство, но невпопад. Напившись, вопреки обыкновению, пьяным, вождь выругал злосчастных кубанских политиков и даже пригрозил их ликвидировать, как некогда Калабухова. Затем он прошел в арестное помещение, где Фостиков гноил тех, которые откликнулись на предложение французов отправиться в Россию.

— Большевицкая сволочь! Как только я займу Кубань, вас перевешаю в первую очередь, — истушленно кричал забывшийся аристократ, не уступая на этот раз в грубости любому приставу.

Первое предложение выехать на родину французы сделали в январе, вывесив кое-где соответствующие объявления. Военное начальство категорически отказалось оповещать об этом войска. Более того, агенты начальства по ночам срывали такие объявления даже возле самых французских комендатур. Но среди перешедших на гражданское положение солдат и офицеров, живших при военных лагерях, в специальных беженских лагерях (Сан-Стефано, Халки, Селимье, Тузла и др.) и на воле, нашлось немало таких, которые решались покинуть неприветливую чужбину. Гулящих людей, которые записывались на родину в Константинополе, французы направляли в Серкеджи. Здесь, в ожидании парохода, они составили особую групу, «русскую», под главенством старого полковника, жили в отдельном бараке и держались в самом

черном теле. Ротмистр Александровский титуловал их большевиками и каждый день назначал их на уборку лагеря. Пищу этим парням раздавали в последнюю очередь.

— Вы не боитесь Совдепии?— спрашивали старика.

— А что с меня взять? Я до гражданской войны много лет был в отставке. Белые заставили меня служить. Здоров, говорят, есть сила. Я все время заведывал продовольственным магазином и только потому выехал сюда, что не привык самовольно бросать свою часть и вверенное по службе казенное имущество. Теперь у меня на руках бумажка, что я уволен в первобытное состояние, никому ничем не обязан здесь. А там у меня старуха. Будто что мне сделают, старому хрычу.

Этот «большевик» организовал церковный хор, читал Апостола за обедницей и монархию считал богоустановленной властью.

За несколько дней до отправки парохода из Франции привезли и водворили в нашем лагере человек 200 бывших солдат того корпуса, который в мировую войну сражался на фронте союзников. Теперь они попадали домой. Французы считали их настоящими большевиками, отвели им для ночлега пристройку к казарме Лафайета, не допускали общения с нами и даже выводили их на прогулку не иначе, как загнав нас в бараки.

Накануне отправки репатриантов в Серкеджи прибыли и те, кто записался в чаталджинских лагерях, по преимуществу «отцы» и «дидки», перешедшие на беженское положение. Этот хлам не мог служить пушечным мясом, и его не задерживали.

— Маркуша... Марк Пименов!— окликнул я своего бывшего вестового, заметив его в этой толпе.

— Я, господин полковник.

— На родину? Что ж ты пятишься?

— Чудно как-то. Служили вместе, а я теперь советским человеком делаюсь... Вы не сердитесь на меня. Я без вас своим умом дошел, что тут все пропало, развалилось и расклеилось. Рухнуло, и уж не поднимется. По глупости, может, своей — я думаю, что не все скоро, но все там будем, дома-то!

На другой день партия уехала.

Первая партия врангелевцев в Россию!

К великому ужасу ротмистра Александровского, на пароход незаметно проскользнул один из наших аргусов

стоглазых — держиморд-сторожей.

Не вытерпело сердце.

Рискнул.

— Кровавый перевозчик начал свою ужасную работу, — писали врангелевские газеты про пароход «Решид Паша», который потом еще не один раз выхватывал из-под знамен воинственного барона партии его бывших бойцов и отвозил их в царство Серпа и Молота.

XXVI. Нищета среди изобилия

Продажные перья из сил выбивались внушать и в орби, что в военных лагерях царит большое озлобление по адресу тех, которые у дверей константинопольских кофеен занялись продажей фиалок.

«Чувство армии в Галлиполи так сильно, как никогда», — констатировало в Париже бурцевское «Общее дело».

У читателей этой газеты возникал невольный вопрос, какая же армия была столь близка сердцу орлов, врангелевская или французская, так как в том же самом номере сообщалось, что в Галлиполи сначала записалось в «иностранный легион» 7000 человек, и лишь личная агитация Врангеля против этой записи сильно сократила эту цифру.

Из тех самых лагерей, где, по уверению парижских борзописцев, господствовало «сильное чувство армии», люди тучами устремлялись на берега Золотого Рога. Никакие лишения, безработица, холодное время года, преследование французами беспаспортных и т. д. не останавливали этого бешеного потока.

Грязные русские ручьи, вливаясь в разношерстное и не совсем чистое цареградское море, сильно изменили его поверхность. Будущий историк города Константинополя не сможет обойти молчанием этот любопытный период, напоминающий эпоху первого крестового похода, когда такая же рать оборванцев, возглавляемых тезкою Врангеля Петром Амьенским, запрудила царственный город¹¹⁷.

Не только уличная толпа приобрела особый отпечаток от добавления русского элемента. Изменился даже темп уличной жизни. Вся эта голодная русская ватага, ударившись в дела и делишки всякого сорта, до грабежей включительно, прожигала ничего не стоящую жизнь, бросая на-

право и налево лиры, независимо от того, добыты ли они легким способом или тяжелым трудом. Веселые, кутящие компании, в которых половина не знала, где, под каким забором придется ночевать после уплаты по счету, оглашали пьяными «патриотическими» песнями, стрельбой, руганью, боевым кличем, угрозами по адресу большевиков как улицы, так и бесчисленные константинопольские рестораны, бары, кофейни, притоны, как старые, так и новые, только что открытые русскими же ввиду требований момента. Концерты, кабаре, спектакли, цыганские хоры находили потребителя, еще не прожившегося в пух и прах. Этой разгульно-пьяной и в то же время босяцкой жизни предавались все уже по одному тому, что она не оставляла времени для грустных размышлений о своем далеком не заманчивом будущем.

В Константинополе, как центре балканской эмиграции, конечно, каждый день рождался миллион всяких политических слухов, всяких фантазмагорий, одна нелепее другой. Здесь также судили и рядили о том, признают или не признают врангелевцев как армию, т. е. отпустят средства на ее дальнейшие авантюры или нет. Разнообразные «пластинки» звенели и на Пере, в посольстве, и у мечети Омара, на толкучке, и на площади Муссала. Мой знакомый терец полк. Соколов, взбираясь по Галатской лестнице, шутки ради взболтнул одному встречному, что армию Врангеля решено перевезти на Дальний Восток под начальство атамана Семенова.

Когда через час он спустился с Перы по подземной железной дороге, при выходе из туннеля его встретила целая толпа знакомых, радостно кричавших:

— Ура! Спасены. Слышали? Повезут на Дальний Восток. Пришло за нами 20 океанских пароходов. А впрочем, всего вернее, что «пластинка». Но так или иначе, не зайти ли в «Киевский уголок» выпить?

Все эти слухи более забавляли публику, чем волновали, и ими интересовались ничуть не больше, чем ножкой хорошенькой встречной турчанки без чадры. Люди умерли морально и стремились всячески усыпить свое сознание, а не размышлять о завтрашнем дне. Работа, спекуляция, служба, воровство, сводничество — все это превратилось в средство не для выхода из гнойного омута, а для того, чтобы поглубже опуститься в него и подольше побыть на его дне. Ведь в Константинополе веселее подышать, чем в тифозных и холерных лагерях. В возможность лучшей

жизни на земле эти недавние христоролюбивые воины теперь верили столько же, как и в загробное райское блаженство.

В середине февраля, несколько оправившись от тифа, я выбрался в город. Отпускки, хотя и неохотно, но давались адъютантом тем лицам, к которым ротмистр Александровский относился с доверием, зная, что они вернутся назад. Прежде чем я добрался до Галатского моста, французские патрули несколько раз спросили у меня «votre passeport». Они ловили тех, кто не имел никаких документов, ни врангелевских, ни иностранных паспортов, ни удостоверений от французских властей на право жительства в Константинополе.

Наконец, я попал на площадь перед мечетью Омара, близ знаменитого константинопольского базара в Стамбуле*. Кого только ни пришлось увидеть в числе продавцов! Вот, нагромоздив на левую руку груди американского белья и несколько пар ботинок, месит грязь бывший председатель военно-судебной комиссии 2-й донской дивизии полковник Сергеев. Он уже без погон и стесняется меня. Иные почтенного возраста и чина офицеры торгуют в погонах. Кому тут до кого дело?

«Средь груди тлеющих костей кто царь, кто раб, судья кто, воин?» — вспоминается стих А. Толстого.

Вон и другой служитель Фемиды, мой бывший подчиненный, помощник военного прокурора Донского военного суда капитан К. Галкин. Перед ним стоит робкий турецкий жандарм (союзники принизили и усмирили) и торгует рубашку.

— Бери, эфенди**, дешево отдам... только для тебя сорок пиастров... Рубашка якши... Хоть под венец идти.

Для бедного турка и эта цена высока. Он отходит к другому русскому «пискулянту».

— Рубашки, носки, полотенца! Приходи, налетай, на-скакивай... Завтра в долг, сегодня на деньги! — вопит Галкин, расхаживая среди разношерстной толпы, где продавцов больше, чем настоящих покупателей.

У него уже замашки заправского торговца. Точно его основная профессия — ходить с лотком в руках, а не рыть-ся в законах.

* Стамбул — чисто турецкая часть Константинополя, на западном берегу Золотого Рога.

** Эфенди — барин, господин.

Главный предмет купли-продажи — обмундирование и белье. Английские штаны, френчи, шинели, ботинки, американские рубахи, кальсоны, фуфайки, пижамы.

Американцы неизменно щедры. Раздачей их даров кормится несчетное число русской знати, устроившейся в разные благотворительные, русские и иностранные, учреждения.

— Кто ходовой парень, тот здесь не пропадет. Надо не сидеть, а бегать, и знать, где что можно урвать! — поучают опытные панельные жители Царьграда.

«Получать» — их нынешний боевой лозунг. Сегодня в русском Красном Кресте, послезавтра у графини Бобринской, в субботу у американцев. Везде хвосты, длиннее, чем у кометы. Зато овчинка стоит выделки. Иные ухитряются «получать» не только в разных местах, но по пяти — семи раз в одном и том же учреждении, благодаря всяким искусным комбинациям, до подложных документов включительно.

У иностранцев стало модой, манией, развлечением от скуки «благотворить несчастным русским беженцам». «Благотворили» все, кто хотел, и получался такой хаос, что ловкачи жили себе припеваючи на счет благотворительности, а скромные люди не могли нигде выклянчить себя смены белья.

Одна благотворительница-американка однажды привезла в лагерь Сан-Франциско свои подарки на автомобиле и, встав на сиденье, швыряла их в беженскую толпу, любуясь возникшей из-за ее даров свалкой и побоищем.

Все эти бесчисленные дары, каким бы путем они не попадали к русским беженцам, в результате оказывались на толчке возле мечети Омара. Иные сами тащили их сюда, у других «пискулянты» скупали сразу же при выходе из благотворительных учреждений.

— А почему здесь не видно продажных французских шинелей, одни только английские? — спросил я у Галкина.

— Здесь Стамбул, французский район. Здесь французы хозяева, не позволяют торговать своим добром. А вот на той стороне, где Пера, хозяйничают англичане. Там в продаже не увидишь защитного френча или штанов.

— Ну, а американское добро?

— Тем торгуй, где угодно... Эфенди! Эй, эфенди! Ботиночки-то из слоновой кожи, век не сносить... Всего три лирочки малюсеньких.

Тут же, по обеим сторонам толчка, бесчисленные палатки, где турки продают горячие яства, грея их на мангалах. Кое-где открыли такие походные столовые и русские. Везде толпы нашего брата, в погонах и без погон. Мокро, грязно. Но этому люду некуда деться до ночи. Ночью тех, у кого есть пять пиастров, пускают переночевать в кофейни, разумеется, на столе или на голом полу. День — надо выходить.

— Русский борщ! Русский борщ! Пять пиастров порции! — выкрикивает донской «козя», высячивая грудь из-за ящика, который служит столом.

— Стой, это ты, Чернозубов?

С этим казаком я вместе прошел тяжелые мытарства в госпитале Маль-Тепэ.

— Собственной персоной! Милости просим... Очень рады. Прикажете порцию?

— У тебя, вижу, свое дело? Откуда капиталом разжился?

— Чудные чудеса, господин полковник. Оно точно, в госпитале я был беднее церковной мыши. Посчастливилось. Помер ночью мой сосед в тифозной палате, генерал один, не наш — донской. Что ж вы думаете? Пощупал я — холодный. Дай, думаю, произведу у него ревизию под подушкой. Ну, клюнуло. В бумажнике лежало до ста лир, да еще кисет с золотом. Век за него Бога буду молить. Ему, покойничку, ничего этого не нужно на том свете, а я, бедный человек, теперь встал на ноги. Абакумов! Тарелку щей господину полковнику, наш ведь.

Обед на базаре, среди толпы. Мелкий снег падает в глиняную чашку, в которой подан борщ.

— Не угодно ли перед обедом? Настоящая, николаевская! — гнусавит подозрительная фигура, распахивая полу пальто и показывая засушутую во внутренний карман бутылку с мутной влагой.

На Галатском мосту опять тьма знакомых. Вон, по той стороне краснеет мясистое лицо графа Дю-Шайла. Под мышкой у него портфель, в котором, надо полагать, лежат новые политические проекты и доклады.

— Тросточку! Тросточку! Первый сорт... ах, вы еще в форме, извиняюсь.

— Шоколад, мармелад, тянучку пожалуйте.

Казалось, Врангель привез в Турцию не войско, а армию торговцев.

— Как, и вы? — обращаюсь к долговязому продавцу

шляп, своему старому сослуживцу еще по Херсонскому полку, полк. В. Митяеву.

Когда-то он считался богатым. Имел дом в Киеве, где мы оба служили.

— Что ж делать? Торговал альбомами, — не пошло. Теперь принялся за шляпы...

— Какую прикажете? Купите, эфенди, дешево отдам.

С этими последними словами он погнался за греком, который имел неосторожность бросить взгляд на его товар.

Даже торговцами назвать эту публику — много чести. Скорее, попрошайки. Равнодушно поглядывают на них богатые турки, шагающие из Стамбула в Перу. Гордые сипаи, статные, с коричневыми лицами, в живописных индийских костюмах, не удостаивают даже взглядом эту бродячую свору. Про французов, англичан и говорить нечего. К ним русский продавец не осмеливается подойти.

На Grande rue du Péra, на «Периной улице», как говорят казаки, больше всего сказывается контраст между изобилием и нищетой. Здесь сосредоточен весь блеск, вся роскошь европейского населения оттоманской столицы. Здесь огромные, прекрасные магазины. В некоторых из них товару гораздо больше, чем у всех русских уличных торговцев, вместе взятых. В гастрономических магазинах витрины ломятся от всяких заманчивых яств и питей. Самый утонченный обжора тут найдет решительно все для услаждения своего вкуса, до беломорской семги и остэндских устриц включительно. Здесь тысячи экипажей, шикарные *esprit* шикарных женщин.

И тут же рядом копошится ужасающая интернациональная беднота. Наши среди нее побили рекорд и своим костюмом и своим поведением. Иные даже здесь торговали всякой белибердой. То тещинными языками, то раскрашенными деревянными змеями. Немного спустя французы воспретили уличную продажу этих страшных игрушек ввиду того, что одна беременная турчанка, выплыв из-за угла и натолкнувшись на змея, так перепугалась, что тут же на улице у нее начались преждевременные роды.

На Пере не только русская беднота. Тут и наши, правда, уже начавшие скисать, сливки. Это, главным образом, для них открывается и через несколько недель скандального существования прогорает великое множество всяких «Киевских» и «Крымских уголков», для них надрываются «известные» цыганские певицы Ася Шишкина и Анна

Стеновая, им преподносит свои юморески немного выдохнувшийся Аркадий Аверченко.

На Пере же, как днем, так и ночью, многочисленные русские дамы выставляют напоказ свои наряды и предлагают свою красоту по сходным ценам. Турки хорошо изучили таксу их любви. Для них теперь каждая русская женщина — М-me Лирская.

— «Presse du Soir», «Presse du Soir», — кричит газетчик, довольно правильно выговаривая французское название желтого органа, который издает С. И. Варшавский, тот самый, который вдохновлял Сидорина на знаменитом майском процессе в Севастополе.

— Дайте номер, газетчик... Господи, кого вижу!

Покупатель и продавец, к немалому изумлению прохожих, обнимаются.

— Сколько лет, сколько зим... С мировой войны не видались.

Это мой старый товарищ еще по военному училищу, полковник С. В. Вавиловский. Перед войной окончил интендантскую академию. Когда-то занимал должность корпусного интенданта. Честность, необычная в этой корпорации, довела его до константинопольской панели.

— Стой, брат, тут, кажется, на улице Венедик, № 27, есть «Кружок петербургских артистов». Сейчас свернем. Там русский дух, там Русью пахнет. Закусим и приложимся. Я сегодня богат, зашиб две лиры на иностранных журналах.

«Кружок петербургских артистов», к моему великому изумлению, содержал не кто иной, как доносчик на Сидорина, журналист Борис Ратимов. Предприимчивый осваивник кое-что вывез из Крыма, кое-где подзаял, в общем — открыл свое дело.

Дверь ресторана нам распахнул молодой мужчина в поддевке, с красивой окладистой бородой, в стиле русского боярина.

— Какое интеллигентное лицо у этого швейцара! — заметил я.

— Это князь Гагарин, гвардейский офицер.

Кельнерши оказались одна другой краше.

Ратимов сумел набрать изящный букет.

— Вот эта, видишь, в малиновой юбке, жена морского офицера Лазарева. Не правда ли, прелесть? Тут, брат, много аристократии. И не поддельной, а самой настоящей. Посмотри на лица, на манеры. Старшая судомойка здесь графиня Медем.

Едва я занялся более внимательным созерцанием выставки ратимовских красавиц, как в прихожей раздалась дикие крики.

— Не смей приставать к моей жене, подлец!

— Пошел воц, мерзавец!

Затем возня, грузное падение тела, безобразное хлопанье наружной двери и продолжение скандала на улице.

Кельперши, сидевшие, ввиду отсутствия посетителей, красивым цветником напротив нас, повскакали. Та, которую товарищ отрекомендовал мне женой морского офицера, крикнула в сторону кухни, откуда скоро выплыла величаяя фигура Бориса Ратимова.

Он сделал вид, что не узнает меня.

— Обычная вещь в русских заведениях... Не стоит идти, — сказал мне Вавиловский, видя, что я поднялся с места.

Однако я выбежал на улицу. Там уже собралась толпа.

Со стороны «Периной улицы» мчались жандармы всех национальностей и даже два итальянских офицера, в широчайших плащах и в огромных шляпах с плюмажем. Среди толпы стоял растрепанный, взволнованный князь Гагарин.

Он судорожно сжимал кулаки перед носом пизенького, угреватого, явно пьяненького офицера-морьяка, тоже без шапки, с окровавленным лицом.

— Стыдно! Это не по-княжески, — крикнул кто-то из толпы.

— В Крыму небось от фронта бегал, как чорт от ладана. А здесь храбрость показываешь.

— На «Рион» бы таких!

— Чего там на «Рион», — басит мрачного вида донец, готовый пошуметь везде и всюду, давай только повод. — По нашему, по-казацкому, таких бы в куль да в воду.

Пьяный моряк тихо плакал, мешая слезы с кровью и еще более замазывая свое лицо.

— Что у них творится? — спросил я знакомого журналиста Бориса Ведова, служившего у Ратимова «петербургским артистом».

— Из-за бабы спорят. У моряка красивая жена, кельпершей служит. Князь ухаживает. У них скандалы чуть не каждый день. Чем другим, а скандалами наш Кобленц очень богат.

На следующий день я совершил второй рейс по Константинополю.

Опять новые встречи, опять куча знакомых лиц. Вот

полковник Т., военный инженер. Пьяный. Показывает толстый бумажник с лирами. Удачно продал англичанам радиотелеграфное имущество. Вот у ворот посольства мой давнишний приятель, бывший эриванский губернатор А. Е. Стрельбицкий. Этот вечно где-нибудь служит. Служит и теперь — в беженском комитете. Через год я встретил его в Болгарии. Здесь он уже служил у союзников, в репарационной комиссии.

Наконец я в величественном храме Юстиниана, нынешней мечети Айя-София. В одной из ее пристроек — усыпальница завоевателя Византии Магомета II и его семьи — четырех «марушек» (так говорит мулла) и 18 сыновей.

Из русских в этих местах ни души. Им сейчас не до Святой Софии. Одним некогда, так как строят планы спасения России и всего мира от большевизма; другие находят не совсем удобным для снажья твердые плиты соборного двора.

Снова прошел на толчок.

Та же картина.

Один «кардаш» в феске наклонился над «кардашем» в малиновой дроздовской фуражке. Этот второй «кардаш» валяется в грязи. Турок укоризненно покачивает головой, причмокивая при этом языком по-восточному. Более никто из базарной толпы не интересуется пьяным русским. Привыкли.

Возвращаясь в лагерь от Галатского моста вдоль берега Золотого Рога, я неожиданно столкнулся с генералом Селецким. Старик тащился с вещами, попадая на маленький транспорт № 211, который отвозил продукты на о. Лемнос. Сзади генерала, подбирая грязный подол юбки, прыгала с рельсы на рельсу маленькая, со вставными зубами, женщина еврейского типа.

Поздоровались.

— На Лемнос, батенька. Приходится... Врангель приказал. Познакомьтесь, моя племянница.

Я улыбнулся.

— Могу полюбопытствовать, в качестве кого попадаете на Лемнос?

— Как кого? В качестве председателя корпусного суда вашего корпуса. Скоро вы все переберетесь туда.

При этой новости я присел от изумления и стал собираться с духом, чтобы как-нибудь поделикатнее спросить старика, считает ли он себя в безопасности, отправляясь к донцам.

По Селецкий заторопился.

— Так до скорого свидания, батенька... Опять по-служим вместе. Кстати, съездите к Ронжину: он ведь ваше начальство.

О том, что у ген.-лейт. Селецкого нет самолюбия, я хорошо знал. Но приходилось недоумевать, как мог допустить ген. Ронжин такое бестактное назначение в донской корпус, хотя в период его последнего издыхания, того, кто председательствовал на суде над Сидориным.

Через несколько дней я, действительно, посетил ген. Ронжина, который жил и работал в одном месте со штабом Врангеля на пароходе «Великий Князь Александр Михайлович».

Здесь шла вовсю канцелярская работа и царил старорежимный штабной дух. К обеду в кают-компания картина изменилась. Со столов быстро исчезли папки с бумагами и пишущие машинки. Их заменила недурная сервировка. Из кают выплыли нарядные, завитые и напудренные дамы, которые все утро посвящали только одному туалету. Офицерство потянулось «к ручке». Раздавалось щелканье шпор да чмоканье губами о пухлую, выхоленную кожу. Добрых полчаса размещались, усаживались, ждали начальника штаба. Обед с церемониями, не то что в Чилингире или Серкеджи. Вечером опять бумагомаранье и бумагомаранье, приносившее столь мало пользы лагерным сидельцам. Больше всего строчили в наградном отделении.

— Неужели еще и сейчас производите?— спросил я начальника этого отделения, своего друга, полк. В. В. Бабенчикова.

— А то как же? Управлять нечем, так хоть проявляем деятельность производствами. Нам это дешево стоит. Смотри, какие у меня горы представлений. Вашего донского политика Сисоя Бородин в генералы производим. За верную и честную службу в Крыму, а также чтобы впредь не крамольничал. Есть чудачки, которые еще добиваются ордена Николая Чудотворца. Если так дело пойдет с производствами дальше, то, бог даст, к Рождеству вся армия будет состоять из генералов и полковников.

— А знаешь, что говорят по этому поводу казаки?

— Что?

— Все, говорят, стали высоко, так все и попали далеко.

Ген. Ронжин обласкал меня.

— Немедленно спешите в Хадем-Киой. Мы напишем

французам бумагу, чтобы не задерживали вас. Генерал Абрамов без вас как без рук. У него несчастье: корпусной интендант ген. Осипов сбежал с деньгами. Он имел неосторожность доверить этому генералу 400 лир, понадеялся, что хоть Осипов, как родственник атамана Богаевского, постыдится жулить. Ничего не вышло. Богаевский не раз уже присылал к нам начальника своего штаба ген. Алексея с просьбой замять дело. Вот что там творится у вас в Хадем-Киое.

Получив документы, я отправился на Перу, к французскому коменданту Константинополя. В приемной, в затылок друг другу, стояло человек 50 офицеров, медленно продвигаясь к столу, за которым сидел русский полковник, с породистым лицом, в новенькой, с иголки, форме. Он крайне небрежно выслушивал просьбы, которые излагались самым вкрадчивым, раболепным голосом, и большинству заявлял:

— Приходите завтра.

На тех, кто начинал возмущаться завтраками, покривал. Мой независимый тон, с которым я попросил доложить обо мне коменданту, произвел на него самое скверное впечатление, и он под каким-то предлогом отклонил мою просьбу. Когда же я начал возражать, он заявил мне:

— Я с вами не хочу больше разговаривать.

У меня тоже пропала охота беседовать с заевшимся типом.

Таких множество служило у французов или переводчиками, или шпионами, чаще же всего тем и другим вместе. Впоследствии, когда французы перестали иметь в них надобность, они посвятили себя другой карьере, в духе Конради и Таборицких¹¹⁸.

Я отправился без всякого доклада в кабинет французского коменданта, был встречен очень любезно и через сутки возвратился, после шестинедельного отсутствия, в свой корпус, где меня уже давно считали покойником.

XXVII. Во дни Кронштадтского мятежа

После скандальной отправки бывших мамонтовцев на о. Лемнос жизнь в Чаталджинских лагерях невозмутимо потекла своим порядком.

Казаки и низшее офицерство жили жизнью троглодитов; высшее строевое начальство, получая жалованье,

пыталось цукать и подтягивать, о. Андроник тянул священные песнопения, информаторы — волюнку о войне до победы и о грядущем возрождении родины с помощью врангелевской армии, а интелданы урывали из казачьего желудка последний кусок.

Дезертирство, отправка гражданских беженцев в специальные лагеря (Сан-Стефано, Скутари, о. Халки), эпидемические болезни значительно разрешили казачью гущу, скученную в Чатаджде, так что жить стало несколько легче. Наконец, старая аксиома о том, что нет такого положения, к которому не привык бы человек, оправдалась и на казаках. Они освоились со своими хлевами, сараями и землянками и ждали весны, когда «наша берет». Смелые, дерзновенные, энергичные люди давно уже блуждали на воле, в поисках самостоятельного заработка. В лагерях все более и более отслаивались робкие элементы, которые страшились выхода из стада. До поры до времени они покорно шли за вожаками.

Я возвратился в донской корпус 1 марта и поселился на станции Хадем-Киой, со своими подчиненными, в поломанном товарном вагоне, устроив в нем печку. Стояло еще довольно прохладное время. С Балкан дули крайне неприятные ветры. Приходилось своим попечением заготавливать себе дрова, т. е. красть их, где придется. У местных турок к этому времени «братва» уже растащила все, что годилось в печку. Французы же очень зорко охраняли от казаков свои дровяные запасы.

Для добывания топлива оставался один источник — свалка старого турецкого хлама, находившаяся подле станции, обнесенная колючей проволокой и охраняемая неизменным чернокожим часовым. Версальский мир отдал в распоряжение союзников все военные запасы Турции. Здесь, на Чатаджинской позиции, осталось еще с 1913 года множество старых колес, поломанных повозок и оружий лафетов, бревен для блиндажей и прочих остатков балканской войны. Весь этот «военный материал» французы приказали собрать из разных пунктов позиции к ст. Хадем-Киой и взяли его под свой контроль и охрану. Этими-то остатками балканской войны теперь согревались остатки армии Врангеля.

Уже с вечера составлялись планы воровских экспедиций. Очень часто казаки разных учреждений подползали к проволоке в таком большом количестве, что перепуганный негр поднимал тревогу и начинал стрелять в

темноте, куда придется. Предприятие требовало немало ловкости и смелости и не всегда было безопасно. Мои подчиненные долгое время скрывали от меня, откуда они приносят для отопления вагона то колесо, то кусок лафета. Один раз на маслянице ночью притащили деревянные мостки.

— Это еще где взяли?

— Там, далеко, за станцией. Старые, завалищие. В стороне лежали совсем зря.

На утро распространилась по станции весть, что похищены мостки, которые были переброшены через канаву перед квартирой французского коменданта.

— Вот так старый хлам!— вскипел я.— Как же вы рискнули? Теперь французы нам всыпят. А срам-то какой!

— Обделали чисто... будьте спокойны... только сами не выдавайте нас.

В тот же день на докладе ген. Абрамов сказал мне:

— Это уж слишком. Воров надо обязательно найти. Такое ведь безобразие. Хоть уж вы, о. Андроник,— обратился комкор к находившемуся у него в комнатке батюшке,— повлияйте духовной беседой на казаков, чтобы бросили в Турции свои партизанские замашки.

Я на этот раз не проявил служебного рвения и даже покривил душой, покрыв воров. Отец же Андроник не замедлил исполнить начальническую просьбу. Он теперь тоже выбрался из Чилингера и жил на станции в маленьком сарайчике. По праздникам служил даже настоящие обедни, устраивая походную церковь в штабе, на той веранде, где обычно обедало окружавшее Абрамова штабное офицерство.

— Христолюбивые воины!— обратился о. Андроник в первое же воскресенье с поучением к пастве.— Мы несем тяжкое бремя изгнания за наши тяжкие грехи. Неуважение к чужой собственности, грабежи и кражи, были главной причиной того, что господь не допустил нас выиграть кампанию. Нам нужно исправиться, чтобы быть достойными того великого подвига, который предстоит нам,— избавления страдальцы-родины от большевистского ига. А мы еще и до сего дня не изжили наших греховных привычек. Теперь мы временно находимся на чужбине, среди неверных. Но и их обижать не следует. Они все-таки здесь хозяева, и их собственность, как и всякая другая, должна быть для нас священна. Помимо того, что

кража — тяжкий грех в глазах господ бога, но она недопустима еще и потому, что о нас пойдет дурная молва. Как бы ни была велика пужда в дровах; но надо довольствоваться тем, что можно получить легальным путем, и безропотно терпеть все лишения, ибо претерпевший до конца, тот спасен будет.

В тот же день, уже поздно вечером, чернокожий часовой у склада деревянных обломков задержал и препроводил во французскую комендатуру неизвестного казака, который пытался вытащить из-за проволоки колесо.

— Как ваша фамилия?

— Александр Хорошилов.

— Где служите?

— Вестовой корпусного священника.

Это был тот самый вороватый казак, который в начале крымской кампании служил вестовым у крайне чистоплотного и щепетильного брата командира корпуса полк. Абрамова. Последний прогнал его в комендантскую сотню, уличив его в краже часов у одного крестьянина в дер. Астраханке. Здесь, в Турции, о. Андроник взял к себе эту заблудшую овцу для наставления ее на путь истины.

— Как вы осмелились воровать казенное имущество?

— Мне приказал священник. Надо же нам чем-нибудь топить печку, не мерзнуть же в этакую холодную зиму. Дерево, — не деньги ведь.

Скандал кое-как замяли.

О. Андроник больше уже не говорил проповедей, которыми, кстати сказать, не особенно восхищался командир корпуса.

— Помилуйте; — разоткровенничался ген. Абрамов однажды в беседе со мной, — о. Андроник хочет всех нас уверить в непорочное зачатие Иисуса Христа. Увещевая свою паству начать добродетельную жизнь, он указал на пример Девы Марии, которая за свое благочестие удостоилась стать матерью бога и ухитрилась при этом сохранить свою непорочность. Ну, можно ли говорить такие вещи в штабной церкви, где присутствует столько образованных людей? Я наблюдал за офицерами, и они почти все улыбались во время разглагольствований батюшки на эту пикантную тему. Да и сам о. Андроник, как мне показалось, плохо верил в то, что говорил.

— Странно! — обратился я как-то раз к своему офицеру для поручений капитану Кошеляеву, гуляя с ним по окрестностям станции. — В Саиджаке как будто стало

еще сараев. Раньше там я насчитывал больше дюжины.

— Да, шести не стало: разнесли на дрова самым разбойническим образом. А один с разрешения французов. Вот как вышло дело. В Константинополе проведали, сколько казак разносить сараи. Заинтересовались. Кое-кто захотел полюбоваться этой работой. Понаехали даже с фотографическими аппаратами, задумали фильм изготовить. По сигналу братва бросилась сокрушать сарай. Минут через двадцать от него остались только рожки да ножки. Французы аплодировали... «Браво, говорят, молодцы казаки!» — «Есть за что хвалить, — недоумевала братва. — Мы за три года гражданской войны пол-России разгромили, вот это — была работа. А тут что?»

Для заполнения чем-нибудь досугов лагерных сидельцев и для вытравливания ноющей мысли об иной, лучшей жизни, Врангель предписал наладить в лагерях культурно-просветительную работу. У казаков это дело раньше всех стало на рельсы в Кабакдже, где стояла отдельная донская бригада ген.-лейт. А. П. Фицхелаурова. Прекрасный администратор и веселый человек, этот генерал организовал хор, создал труппу, а один длинный, иместительный хлев приспособил наполовину под театр, наполовину под церковь. В одном конце этого скотского жилища устроили алтарь, в противоположном — сцену, так что по воскресным дням публика утром стояла лицом к иконостасу и спиной к подмосткам, а вечером — наоборот. Веселую Кабакджу в шутку стали звать «Чатаджинской Флоренцией». Здесь даже издавался журнал, который печатали в трех экземплярах на пишущей машинке.

С французами Фицхелауров тоже умел ладить. Французский комендант, молоденький «пупсик», лейтенант Роман, всецело подчинился его влиянию. Умный казачий генерал сумел втереть очки и высшему французскому начальству. Хотя здешние изгнанники жили исключительно в землянках, между селением и станцией, но Фицхелауров распорядился, чтобы их вырывали правильными рядами. Улицы, образовавшиеся между землянками, содержались в поразительной чистоте.

К приезду начальника французского оккупационного корпуса ген. Шарпи Кабакджинский лагерь до такой степени пригладился, причесался, прикрасился, что экспансивный француз пришел в восторг. Обочины главной лагерьной дороги были красиво выложены разноцветными камнями, надземные части землянок декорировали зе-

ленью и флагами. Перед въездом в земляной городок генеральский автомобиль прошел под искусно отделанной аркой.

В городке генерала приветствовали звуки оркестра и песни хора, состоявшего из казаков и молоденьких беженков, которых Фицхелауров ухитрился даже нарядить в малороссийские костюмы. В хлеву, на этот раз убранном до неузнаваемости, для гостя устроили парадный спектакль, а в единственном во всем лагере доме, где жил Фицхелауров, его высокоинтеллигентная супруга встретила именитого посетителя оживленной речью на французском языке и русским обедом. Шарпи до того расчувствовался, что, вернувшись в Константинополь, послал в Кабакджу несколько бочек вина и дюжину шампанского. Кроме того, он дал ген. Фицхелаурову слово, что его бригада не будет сослана на Лемнос, и сдержал это обещание.

Успехи «Чаталджинской Флоренции» не давали спать другим лагерям. В Хадем-Кюе, уже при мне, возник театр, точнее, балаган, стараниями штабного коменданта пол. Грекова. В Санджаке в это время хозяйничал ген. Морозов, человек довольно культурный, как и Фицхелауров. Не задаваясь целями эстетического образования своих подчиненных, он взглянул просто на просветительное дело, решив обучать грамоте многочисленных «химических офицеров» и организовав для них школу грамотности.

— Ничего, дело идет успешно, — похвастался он мне, когда я, по возвращении из Константинополя, посетил Санджак. — Офицеры уже прошли четыре арифметических действия и пишут диктовки. Иные занимаются охотно. Только полковники и войсковые старшины отлынивают от ученья. Говорят, хоть мы и безграмотные, а по своему чину имеем право на большие должности.

Зато чилингирский сатрап, «стопобедный генерал» Адриан Гусельщиков руками и ногами отбрыкивался от всякой культурно-просветительной работы. Все, что не имело прямого отношения к боевым потехам и выпивке, этот стихийный человек считал величайшей бессмыслицей. Он привык «побеждать», а не учиться и учить других. Все те деньги, которые отпускались ему в виде жалованья, на представительство, на культурно-просветительную работу, он считал своим нравственным долгом немедленно пропивать вместе со своей «лавочкой».

Неудивительно, что в Чилингире скандал следовал за скандалом. Один хорунжий избил командира 40-го допского полка полк. Кривова. Дивизионный интендант, войск. старш. Ковалев, получая на ст. Хадем-Киой продукты для чилингирского лагеря, так много «экономил» в свою пользу, что вызвал общее негодование. Распорядился казенным имуществом как своим собственным, он организовал на станции коммерческое предприятие — мастерские, извлекая прибыль из работы подчиненных ему казаков. Гусельщиков покрывал все художества этого «ревнителя долга, чести и совести», как немного позже Врангель именовал оставшихся верными ему людей. Посылались доносы Абрамову.

Этот последний не обладал способностью карать людей со сколько-нибудь видным положением. В это время ему много наделала хлопот история с корпусным интендантом генералом Осиповым, родственником Богаевского. Абрамов доверил этому генералу около 400 лир, которые тот предпочел присвоить себе, нежели тратить на казенные надобности. Уехав в Константинополь, он через две недели донес рапортом, что деньги у него пропали. Абрамов назначил дознание, а ген. Богаевский перевел своего родственника на беженское положение и выдал ему пособие в несколько сот лир. Ген. Осипов открыл постоялый двор. Ввиду моего отсутствия из корпуса, ген. Абрамов отправил дело на консультацию ген. Ронжину. Последний, по ходатайству Богаевского, усмотрел в действиях ген. Осипова лишь небрежное отношение к казенным деньгам и нашел возможным ограничиться дисциплинарным взысканием. Абрамов послал Осипову вдогонку выговор.

Когда весь корпус заговорил о художествах Ковалева, корком тоже для соблюдения формы распорядился произвести дознание. Как раз в это время я вернулся в корпус. Рассмотрев ковалевское дело, я решил добиться предания виновника суду. Весь Чилингирский лагерь, за исключением Гусельщикова и его «лавочки», ждал публичной порки Ковалева. Но в это время внезапно разразились такие события, которые заставили надолго забыть всякие дела.

Еще будучи в Константинополе, я слышал от французских офицеров, что вновь назначенному Верховному Комиссару Франции на Ближнем Востоке ген. Пелле поручено своим правительством во что бы то ни стало распылить армию Врангеля. Действительно, в середине февраля он

уведомил барона, что Франция больше не может отпускать кредиты на содержание его войска и что ему пора позаботиться о расселении своих людей, чтобы дать им возможность самим зарабатывать средства к жизни. Врангель ждал ответа от Шатилова, который охаживал сербских и болгарских министров, убеждая их принять и поддержать армию Врангеля, как верную опору против большевистских выступлений, и соблазняя существенной благодарностью в будущем, когда Врангель «спасет» Россию. В это время вспыхнул бунт в Кронштадте.

— Конец Советской власти!— заголосила вся эмигрантская пресса.

— Москва в баррикадах,— сообщала из неизвестных источников «*Presse du Soir*»,— Совет Народных Комиссаров осажден в Москве. Его защищает только киргизская дивизия. Троцкий прибыл в Петроград, но восставший гарнизон принудил его запереться в Петропавловской крепости. С минуты на минуту ожидается его сдача. Повсеместно в России изгоняют комиссаров. 10 000 последних бежало к Кемаль-Паше.

Газетные сенсации на знали предела. Одни газеты ввали, другие подвирали. Брусиллов, разумеется, каждый день принимал командование над Красной Армией и провозглашал монархию или созывал Учредилку, в зависимости от того, к какому противобольшевистскому лагерю принадлежала эмигрантская газета. Буденный не преминул изменить Советской власти. Дон, Кубань и Терек во мгновение ока охватило пламя грандиозного восстания. Ген. Козловский¹¹⁹ приглашал Врангеля и его армию поспешить в Кронштадт.

Лагерный сброд ожил. В действительности кронштадтского мятежа не приходилось сомневаться. Заодно начинали верить и всей той ахинее, которую преподносили газетные борзописцы и информаторы. Толпы народа осаждали те места, где наклеивались газеты и информационные сводки штаба Главнокомандующего. Прибытие почтового поезда из Константинополя составляло важнейший момент дня. Четырехмесячное гниение в хлевах и сараях заслонило в казачьем сознании ужасы бегства из Таврии и даже мучительного переезда в Турцию.

— Что угодно, только бы скорей из лагерей. Хоть гирише, да иише. Хоть смерть, по в поле, а не в хлевах.

О какой-нибудь идейной стороне этого порыва говорить нечего. Самые тупые казаки сознавали, что новая граждан-

ская война была бы бесцельной и бессмысленной, но все-таки она лучше того убийственного положения, в которое теперь попали врангелевские войска. В этот период смертной тоски лагерную массу авторитетные люди легко могли подтолкнуть на что угодно, на новую бойню или на массовое возвращение домой под власть Советов.

Кронштадтский мятеж окрылил Врангеля. Он послал приветствие ген. Козловскому. Но в Кронштадте отнеслись отрицательно к предложенной им помощи, зная, что нет более гиблого дела, как борьба против большевиков под фирмой Врангеля.

Вождь не смутился.

Перед кронштадтским мятежом он находился в таком возбужденном состоянии, которое было близко к сумасшествию. Нота ген. Пелле и перемена курса французской политики так повлияли на него, что бедный честолюбец, уединившись на «Лукулле», то плакал над своей неудачей, то смеялся над недалекостью своих опекунов, то впадал в полное уныние, то строил самые призрачные планы, утром был готов сжечь все свои корабли, вечером предавался радужным иллюзиям. В кронштадтских событиях он увидел перст божий. Он не только хотел уверить своих подчиненных в том, что настал смертный час Советской власти, но и сам теперь искренно, экзальтированно верил в то, что божественное провидение не покинуло его в день скорби и что близок час его нового возвеличивания.

Зашевелились безработные политические деятели всех направлений. Кронштадтская канонада всколыхнула всю эмигрантскую клоаку. В Константинополе преобладали белогвардейцы чистейшей воды, то есть те, кто рассчитывал сокрушить Советскую власть путем новой гражданской войны.

Среди этой публики первую скрипку играли черносотенцы, столь приятные баронскому сердцу. Чтобы возглавить начинающееся, по их мнению, новое антибольшевистское движение как за границей, так и в России, чтобы явиться в последнюю с готовым правительственным аппаратом и захватить целиком в свои руки всю шкуру медведя, эти господа внушили Врангелю мысль о необходимости организовать «Русский Совет при Главнокомандующем».

Врангель ухватился за эту фикцию¹²⁰.

Спешно сострапали положение об этом Совете, в ко-

торый должны были входить представители от эмигрантской общественности, т. е. от сугубо черносотенного Красного Креста, Земского Союза и несколько более либерального Союза городов, от казачьих правительств и от армии; последние — по назначению Главного Командующего, который мог вообще назначать в Совет всякого, кого находил полезным для дела. Этот «внепартийный» орган должен был пока что руководить всей политикой Главного Командования.

Ген. Пелле, узнав о затее Врангеля, пришел в ярость. Барон не только не думал свертывать своих знамен, но даже хотел собрать под них всю эмиграцию.

Между тем кронштадтская вспышка угасла.

Правда, врангелевские информаторы продолжали убеждать неграмотных, что еще не все в Кронштадте погибло, что некоторые форты еще держатся, что такие же востания назревают в других местах России. Но французы, получившие информацию не от корреспондентов «*Presse du Soir*» Варшавского и «*Cause Commune*» Бурцева, видели, что контрреволюционная попытка кронштадтских моряков окончательно лопнула, что внутри России она не вызвала никакого отзвука и что нет никакой надежды на насильственное свержение Советской власти.

В середине марта Пелле уведомил Врангеля, что Франция с 1 апреля прекращает кормление его армии и что на Главного Командующего лежит долг убедить своих солдат или вернуться в Россию, или эмигрировать в Бразилию, которая обещает дать работу большому числу его солдат. Тем, кто не примет ни одного из этих решений, придется перейти на собственное иждивение.

Врангель в ответ на это разразился градом упреков. Он писал, что считает преступлением уговаривать своих солдат возвращаться в Советскую Россию теперь, когда там идут репрессии в связи с только что подавленным кронштадтским бунтом. В заключение своего письма он требовал возвратить его армии оружие и суда, захваченные французами¹²¹, и высадить его войско где-нибудь на черноморском побережье.

Убедившись, что дальнейшие разговоры с Врангелем, окончательно потерявшим самообладание, бесполезны, ген. Пелле распорядился спешно перевезти остатки донского корпуса, кроме «благонамеренной» бригады Фицхеллаура, на о. Лемнос и разослал во все лагеря уведомление о том, что отныне уничтожается всякое различие между

гражданскими и военными беженцами; что приказы русских военных начальников необязательны для их подчиненных; что каждый безбоязненно может уходить из армии Врангеля, когда ему заблагорассудится; что существование этой армии за границей противоречит международным обычаям и что Франция ни в коем случае не допустит Врангеля начать новую гражданскую войну.

Барон апеллировал к французскому правительству. Он указывал на то, что, ввиду разрешения его солдатам не слушаться своих начальников, трудно поручиться за спокойствие его войск, и просил снять с него ответственность за возможные выступления его армии, которую лишают довольствия и которую дезорганизует верховный комиссар. Французское правительство предложило барону пожаловать во Францию для разговоров и объяснений. Опасаясь западни, он потребовал гласного обещания не предпринимать в его отсутствие никаких шагов к распылению его частей и гарантировать ему возвращение в Константинополь.

В Париже замолчали. Ген. Пелле начал обсуждать вопрос об аресте неугомонного авантюриста.левой русской прессе было разрешено «ударить» по Врангелю. Кроме того, верховный комиссар составил план разговора с русскими войсками через голову их главнокомандующего.

Но и Врангель мобилизовался.

В конце марта борьба с французами за сохранение кадров «русской» армии достигла апогея.

XXVIII. Тайна Лемноса

Скоропалительный конец кронштадтского восстания, известие о замыслах французов распылить армию и спешное распоряжение выехать на Лемнос внесли страшное смущение в умы донцов.

Ген. Абрамову стоило немалого труда, чтобы успокоить своих подчиненных. Объезжая лагеря, он выступал в качестве оратора, хотя и не пламенного, сообщал сущность конфликта, возникшего между генералами Врангелем и Пелле, и уверял казаков, что нечего страшиться угроз французов, так как, если они откажутся кормить армию, то все равно ей дадут паек американцы.

— Ну что ж, — говорили легкомысленные офицеры, — американская пища более увесистая, чем французская.

Вволю поьем «какавы» и поедим бисквитов.

Генералитет, высшее офицерство, штабные белоручки не могли себе представить существования без пайка, самостоятельной жизни на свой трудовой заработок и готовы были до бесконечности «служить» в армии за фунт хлеба и полфунта консервов, кто бы ни выдавал это добро, Врангель, французы или сам сатана. Они жадно подхватывали и принимали на веру всякий слух, который благоприятствовал их стремлению растянуть на возможно долгое время паразитское прозябание в лагерях.

Но и среди простых казаков и мелкого офицерства, вышедшего из той же казачьей среды, имелся подобный элемент. Гражданская война окончательно отучила их от труда. Эти лежебоки ради «полагаемого» — так звали в донском корпусе казенное довольствие — были согласны оставаться в армии до того момента, пока их не растолкают пинками во все стороны.

За два дня до отправки на Лемнос в Хадем-Киое состоялось последнее кабаре, на котором присутствовали французы, чернокожие (негры и арабы), турецкие старейшины и русские, как офицеры, так и казаки, как мужчины, так и женщины. Казаки к этому времени уже устроили смычку с чернокожими и выучили их отборной русской брани, выдавая ее за выражение похвалы. Во время концерта дикие сыны Судана и Сенегамбии¹²² высказывали свое восхищение на русском языке, но таким странным образом, что русские дамы, давно уже отвыкшие краснеть, раздражались вместо этого неудержимым смехом.

В числе номеров этого увеселения значились «Ванька» и «Танька», которые пропели частушки, довольно метко характеризовавшие лагерный быт и настроение того времени:

«Полагаемое» дай,
Дай мне беспременно:
Я ведь беженец теперь,
Беженец военный.
 Полюбил тебя навеки
 Экую бегляночку.
 Принесу тебе в змяянку
 Я «кошцеров» баночку.
В Кабакдже танцоры есть,
Да и мы не хуже:
Зиму целую плясали
От проклятой стужи.

В «Кистиполе»* дождь идет,
 В Чилингире слизко,
 А в Совдепию-то ехать
 Много надо риска.
 В страны теплые понали:
 Коль не ветер, так мороз!
 Припасай, миляша, шубу,
 Скоро едем на Лемнос.
 У меня миленок хват —
 Вези его сейчас в Крошштадт.
 А в ответ Василию:
 Поедем-ка в Бразилию!
 Ой яблочко!
 Ароматное!
 А дорога на Лемнос
 Презабиятная
 Я увижу «Кистиполь»,
 Перу и Галату,
 Две пижамы загоною,
 Куплю шоколату.

Эта последняя мечта, — увидеть «Кистиполь», — осуществилась очень скоро. Остатки дивизии ген. Гусельщикова погрузились в Константинополь на «Решид-Пашу» 25 марта, а сутки спустя все остальные донцы, во главе со штабом корпуса, выехали на Лемнос на пароходе «Дон».

В Турции уже началась весна. Днем даже припекало. Турки засеяли поля. Тепло оживило казаков. Настало время, когда «нанча берет». Теперь хотя не воевали с большевиками, но зато ополчились против нас французы, грозя лишить «полагаемого». Весной ничто не страшило.

В Мраморном море обошлось без качки.

Перед глазами расстилается безжизненная нагота дарданелльских берегов. Вот и Галлиполи, страшная «Кутепия». Здесь грозный «Инжир-Паша» с помощью расстрелов поддерживал воинственный пыл в сердцах своих орлов и ненависть к Советской власти. Здесь, по словам галлиполийских поэтов, мечты о вольной трудовой жизни выколачивали

Плац-адъютанты —
 Пустые лбы, —
 Шинки, сержанты
 И три «губы».

Здесь идеологи белогвардейщины насаждали культ «русской армии», здесь несчастным юношам вбивали в

* Так в шутку звали Константинополь.

голову, что война есть самое почетное занятие, а труд удел кого угодно, только не галлиполийских орлов, которым уготован светлый жребий «спасателей отечества». Палочная дисциплина, муштра, парады выбивали из головы всякие мысли. Даже во время прогулок то и дело приходилось козырять и не рекомендовалось уноситься мыслями далеко от земли, чтобы не пропустить начальства:

Кто бы ни был ты,
Пусть твои мечты
Не выходит из житейских рамок,
Ибо только миг,
Ты уже постиг,
Что такое наш Шильонский замок.

«Шильонским замком» в Галлиполи звали самую ужасную гауптвахту, «губу», на пристани.

Глядя на неприступный, безжизненный полуостров, нельзя было не удивиться тому меткому названию, которое по созвучию дали ему русские изгнанники — «Голое Поле». Казаки свою будущую тюрьму тоже перекрестили в «Ломонос».

Вместе с нами на этот остров ехало два пассажира, во всем противоположных друг другу. Один молоденький, худенький, в клетчатых штанах и крылатке. Это был представитель аполитичного американского Красного Креста Мак-Нэб или, по казачьей терминологии, Мак-Небо. Другой, тоже молодой, но высокий и здоровущий, в блестящей военной форме, генерал для поручений при главнокомандующем, один из очень близких к Врангелю людей, Леонид Александрович Артифексов.

Первый вез на остров белье, ботинки, какао; второй — портрет Врангеля, с собственноручной подписью, в подарок одному из кубанских полков. Первый, не зная ни слова по-русски, то и дело шнырял среди казаков и офицеров, скрипел и свистел на своем странном языке, составлял группы и увековечивал их на фотографических пластинках. Второй, тридцатилетний генерал, не говоривший ни на одном языке, кроме русского, важно расхаживал по верхней палубе, полный петушиного величия и едва достаивая краткой беседой даже генерала Абрамова.

Вдруг он увидел меня и смутился.

Всего пять лет тому назад этот врангелевский санинник был простым казачьим сотником, служил на кавказском фронте и, во время своих приездов в Тифлис,

нередко бывал у меня. Я ценил скромного, развитого юношу и вполне одобрял его стремление к высшему военному образованию. Штабная служба в гражданскую войну приблизила его к Врангелю, и молодой казачий офицер был сопчислен к лику олимпийцев. Генеральский чин искружил ему голову, заглушил благородные молодые порывы, привил вместо того чванство, грубость, высокомерие. Я побеседовал с ним на пароходе полчаса и пришел к самым безотрадным выводам. Прежнего тактичного, вдумчивого, любознательного Лени Артифексова не стало. Передо мной стояло «его превосходительство», которое делило весь человеческий род на генералов и негенералов и только первых считало за настоящих людей. Чужое мнение его нервировало, а противоречие приводило в ярость, проявлять которую в самой грубой форме у генералитета считается признаком хорошего тона.

27 марта наш пароход подплыл к наукообразному Лемпосу, обогнул его и зашел в Мудросский залив, самый большой и глубокий из всех, какие вдаются в остров.

Бросили якорь.

Невдалеке от нас чернела громада «Решид-Паши». Там еще копошились люди в защитном обмундировании. Гусельщиков, видимо, еще не высадили.

Командир корпуса съехал на берег. Мы стали ждать выгрузки. Около полудня к «Дону» подкатил катер. На нем сидели французы, среди которых выделялся высокий, с пергаментным лицом старик, в кепи с золотыми позументами.

— Генерал Бруссо, французский комендант, — пропеслась молва. К генералу спустился полковник-генштабист П. К. Ясевич, который заменял начальника корпусного штаба Говорова, уехавшего на Лемнос еще зимой вместе со 2-й дивизией.

— Вот вам мой приказ о записи желающих вернуться в Россию, прошу сейчас же объявить на пароходе! — сказал генерал, хоть и не совсем хорошо, но владевший русским языком, так как в царское время он состоял в Петрограде при французском военном атташе.

— Если не запишется ни одного человека, то, значит, хорошая у вас армия, сознательная; а если запишутся многие, значит, невысокая ей цена, — добавил он.

Полковн. Ясевич пригласил старших начальников в каюту и прочел нам приказ ген. Бруссо от сегодняшнего, 27 марта, за № 1515. В нем объявлялось, что Франция

далее не намерена кормить армию Врангеля; что с 1 апреля выдача довольствия прекращается; что слухи о том, будто армию станут довольствовать американцы, ни на чем не основаны; что русским солдатам более не на что надеяться, так как кронштадтское восстание подавлено окончательно, Франция же не допустит ген. Врангеля открыть военные действия против Советской России; что каждому чину русской армии предоставляется на выбор — или отправляться в Россию, где первая партия репатриантов была принята хорошо, или выехать в Бразилию, которая предоставляет работу на плантациях, или перейти на собственное иждивение. При этом предписывалось составить списки тех, кто желает выехать в Россию.

Начальники стали «составлять» списки. т. е. попросту говоря, французам объявили, что желающих отправить-ся на родину нет.

На «Решид-Паше» дело обстояло иначе. Французские офицеры сами взопли на пароход и объявили казакам через переводчиков, что им нечего бояться репрессий со стороны своих начальников и что они могут совершенно свободно высказывать свою волю. Казаки, ободренные присутствием французов, сейчас же стали записываться. Некоторые офицеры и вахмистры начали было агитировать против этой записи, но французы их арестовали.

После обеда началась выгрузка. С «Дона» вышли на берег все, с «Решид-Паши» немного больше половины, так как остальные пожелали отправиться на родину.

В Кубанском корпусе, разместившемся на западном берегу Мудросского залива, ген. Фостиков не допускал никакой записи. Он вел себя крайне вызывающе в отношении французов и не стеснялся ругать их вслух.

Ген. Бруссо увидел, что для вывоза желающих ехать в Россию надо действовать не через русских начальников, заинтересованных в удержании людей, а через их головы. 29 марта он объявил, что на следующий день, в 12 часов, все русские войсковые части и учреждения должны выстроиться впереди своих палаток, офицеры отдельно от солдат; что французские начальники ознакомят казаков с содержанием приказа № 1515; что в распоряжение каждого французского офицера будет назначен конвой в 15 человек для наблюдения за порядком; что во время опроса воспещаются и будут пресекаться в корне всякие выкрики, угрозы и увещевания.

Настало 30 марта, самый ужасный из тех «скорбных

дней» борьбы за армию, о которых эмигрантские газеты потом трубили несколько месяцев.

В нашем штабе и корпусных учреждениях (интендантство, комендантская сотня, команда связи и т. д.) опрос производил капитан Николь. Он явился перед казачьим строем в сопровождении лишь одного переводчика, нашего русского офицера. Француз чувствовал себя крайне смущенно и старался никому не глядеть в глаза. Он не читал приказ № 1515, а передал через переводчика самое краткое его содержание.

— Кто желает возвратиться в Россию, выходите вперед!

Ни души. Гробовое молчание.

У начальства вырывается вздох облегчения.

Переводчик еще раз повторил предложение.

Тишина.

Внизу слышится всплеск прибоя.

Капитан Николь уже собирается уйти.

Вдруг в задних рядах послышался шорох. Почти бегом вылетают вперед двое.

— Два изменника родины, всего два! — шепчут информаторы.

Однако за первой парой еще двое из другого места. Еще пяток. Еще и еще. Посыпался горох, решето провалилось.

Капитан Николь от неожиданности глазам не верит. Добрых полтора человека из одного штаба! Чернокожие сводили их в палатки за вещами и повели на пристань.

В полках происходило то же самое. Сначала казаки не решались. Но стоило выйти одному, как за ним следовали целые толпы.

В 8-м Донском полку, когда французский офицер объявил приказ Бруссо, ген. Курбатов крикнул:

— Да здравствует наш главнокомандующий!

Никто, однако, не поддержал этого крика.

Француз попросил генерала не мешать его работе и предложил желающим ехать в Россию выступить вперед. Таких нашлось множество.

В гвардейском атаманском полку не в меру ретивые урядники бросились срывать погоны с записавшихся в Россию, когда они пришли в палатки за вещами.

— В полках никто не записывается, — утешали себя и штабное начальство всеведущие информаторы.

Едва успел родиться этот слух, как с дальних скатов,

обрамлявших залив и усеянных палатками, потянулись к пристани длинные ленты.

Иные казаки еще не успели снять погои. Вон — синие канты мамонтовцев. Вон — георгиевские нашивки «гундорей».

Пристань — в районе штабного лагеря. Тут море народу. Погрузка идет медленно. Людей увозят на пароход, версты за три, на паровой барже (балиндере).

Французы, убедившись, что русское начальство не склонно применять насилие для задержания отъезжающих, не мешают последним беседовать с остающимися. Чернокожие понаставлены в разных местах только для украшения.

— Иван Назарович, счастливо оставаться, не поминайте лихом...

— Увидите моих, Карп Максимович, кланяйтесь да опишите.

Как ни силилось начальство внушить ненависть к тем, кто держал курс под власть Советов, у остающихся все-таки нет к ним злобы. Скорее, есть зависть. Ведь рисковали, вот молодцы. Люди с дерзновением. А нам покамест страшновато. Пока еще посмотрим.

— Солнышко*, ты куда? Тебя там съедят живого, — обращаюсь в шутку к молодому калмычонку, который догоняет свою партию. Это астраханские калмыки... Донские остались в Кабакдже с Фицхелауровым.

— Мой не знает... Наши едут... Все едут... Мой тоже едет... — лепечет он, проглатывая, по калмыцкому обычаю, звуки.

Казаки, по большей части, уезжали компаниями, состоявшими из людей одного хутора или одной станицы.

— Три «хуторца» двинулись, не оставаться же мне...

— «Одностаничники» не святей меня, а едут... Мне и Бог велит.

В Кубанском лагере, на противоположном берегу залива, день 30 марта прошел более скандально.

Ген. Фостиков и его приближенные запили еще с вечера. Всю ночь в штабе гремела музыка и раздавались пьяные песни. Казаков-песенников несколько раз то отпускали спать, то снова будили по требованию его превосходительства. Кубанское начальство подбодрилось,

* Подсолнухами или солнышками-казаки зовут калмыков за их круглые, желтые лица.

чувствуя приближение последнего и решительного боя. Притом для веселья была и другая причина: приезд такого чрезвычайного врангелевского посла, как ген. Артифксов, с таким чрезвычайным подарком кубанцам, как портрет «обожаемого».

Когда начался опрос, Фостиков, совершенно пьяный, ходил по полкам с толпой телохранителей, оскорблял французов и грозил отъезжающим.

Информаторы Кубанского штаба выкинули очень интересный номер. На корпусной гауптвахте содержалось под арестом несколько «большевиков», т. е. неугодных начальству казаков и офицеров, которые вслух высказывали свое негодование по поводу творимых начальством безобразий. По просьбе Фостикова еще 29 марта эту небольшую группу, в числе которой находился некто Биндюков, французы насильственно погрузили на «Решид-Пашу». Всякий bolshevik пугал их до смерти. Попав на пароход, Биндюков страшно разволновался и начал умолять французов оставить его на острове, заявляя, что он никогда не был большевиком, кается в своих греха перед начальством и просит оставить его на острове. Французы сообщили в штаб Фостикова. Там вняли голосу Биндюкова, но предложили ему подписать воззвание, озаглавленное «Читайте правду». Перепуганный человек согласился, и его сняли с парохода.

В этом воззвании «Биндюков» сообщал, как их погрузили силою; что оставшиеся на пароходе донцы (дивизии Гусельщикова) раздумали ехать в Россию и начали просить французов вернуть их, но те заперли их в трюмы, что тогда казаки стали бросаться в воду, что и он, Биндюков, последовал их примеру.

Однако никто уже не боялся Фостикова и не верил его генеральской правде. Множество кубанцев, невзирая на то, что их, прошлогодних повстанцев, в России могла ждать справедливая кара, все-таки бесстрашно шли на пароход. Советские тюрьмы их пугали менее, чем врангелевские лагеря.

В этот день из «железных рядов русской армии» вышло около 7000 человек. Больше четверти всего состава обоих казачьих корпусов порвало навсегда связь с безыдейной, мифической Россией № 2 и отправилось в Россию действительную, в которой из-под мусора развалин и пепелищ уже пробивались ростки новой жизни.

Врангелю это лемноское «действие» нанесло страшный

удар. Европа увидела воочию, что далеко не вся его армия пропитана зоологической ненавистью к большевикам и что далеко не все ее бойцы идейно сражались против Советской власти. Массовый отъезд в Россию казаков позорил белые знамена, опустошал белый стан. «Народ» уплывал от берегов России № 2 к берегам России Советской.

Чтобы хоть как-нибудь сгладить этот скандальный случай, врангелевские газеты сообщали, что многие честные казаки, хуторцы и одностаничники уезжающих, тоже записывались из-за того, что боялись мести своим семьям со стороны большевиков, которые теперь могли узнать об их нахождении в армии Врангеля; потому-то уехало так много народу. Вождь в своем приказе оповестил войска, что с Лемноса отправился в Россию беспокойный, преступный и большевистски настроенный элемент и что теперь его армия, очистившись от вредного балласта, превратилась в стойкую и компактную массу.

Войскам нельзя было преподносить басни о насильственной отправке в Россию. Зато врангелевский штаб и «Русский Совет при Главнокомандующем» решили обмануть весь цивилизованный мир. Посыпался град обращений к правительствам и представительным учреждениям Европы и Америки с протестом против разукрашенного до неузнаваемости «лемносского действия».

Так, обращение к президенту Соединенных Штатов гласило:

«По приказанию французских властей, миноносец и вооруженные катера по очереди подводились к тем участкам берега, где происходила сортировка казаков на выезд в Совдению. Везде были наготове вооруженные караулы. Офицерам приказывали становиться спиной к казакам. До 7000 человек принудительно заставили сесть на пароход»*.

«Спасите русскую армию! — кричало бурцевское «Общее дело» (№ 268, от 4/IV). — Несчастные, темные люди, под навешенными на них жерлами пушек и пулеметов, брошенные на пустынный остров и поставленные перед призраком голодной смерти, окончательно пали духом... Под прикрытием пулеметов и судовой артиллерии офицеры были насильственно отделены от солдат. Лишенной своих руководителей солдатской массе, под угрозой

* Цитируется по газете «Общее дело».

немедленного прекращения питания и голодной смерти, приказано было сесть на пароход, чтобы ехать в Совдению. По погрузке на Лемносе некоторые казаки просили высадить их на берег обратно, но получили отказ, после чего несколько человек бежало с парохода, стоявшего в бухте, и вплавь добралось до берега. Сердце обливается кровью и кулаки сжимаются от злобы».

Другие газеты фантазировали еще более.

Берлинский монархический «Руль», посвящая описанию лемноских событий два громадных подвала, очень образно излагал, как французы ночью напали на казаков, перевязали их в палатках и затем связанных силою втащивали на пароход. В журнале «Зарницы», выходящем в Константинополе, при ближайшем участии сенатора Н. Чебышева, сообщалось о том, как казаки, проезжая по Востфору мимо яхты «Лукулл», крестили ее, кричали: «Спасите!» и бросались в воду.

«Награда за верность!» — иронизировал этот печатный орган по адресу французов, тем самым разоблачая, что врангелевская армия воевала ради интересов не русского народа, а Франции.

«Зарницы» за целый ряд злобных выпадов против французов, были закрыты. Журнал возродился, хотя и ненадолго, в Софии, болгарской столице. В Константинополе союзники конфисковали его номера, чем пользовалась редакция в качестве рекламы, отмечая жирным шрифтом на обложке «К распространению в г. Константинополе не допущен». Этот бестактный, грубо ругательный сенаторский журнал оставил по себе очень гнусную память даже в эмиграции.

На основании деклараций Врангеля и газетных сообщений можно было прийти к выводу, что на уединенном острове происходит охота за черепами, что потерявшие человеческий облик французы ловят казаков, как диких зверей, и отправляют их на съедение в Советскую Россию. Эта мрачная легенда и до сего времени никем не рассеяна в русской заграничной прессе, даже антиврангелевского направления*. Г. Н. Раковский, описы-

* В марте 1923 г. автор этой книги написал статью, озаглавленную, как и XXVIII глава, «Тайна Лемноса», и сдал ее в московское отделение берлинской еменовеховской газеты «Накануне». Статья была принята к печати, даже автору был выплачен гонорар, но по неизвестной причине так и осталась непо помещенной.

вая в своей книге «Конец белых» лемносские события, всецело следует версии, созданной штабом Врангеля. То, что извинительно Бурцеву, состоявшему на жалованьи у барона, может быть поставлено в большой упрек эс-эровскому журналисту. Читателю книги Раковского кажется странным, как это те самые казаки, которые в Хадем-Киое, по описанию того же самого автора, не постеснялись чуть не с голыми руками броситься на французов, отправлявших их на Лемнос, по прибытии на этот остров вдруг стали такими кроткими овечками, что не оказали никакого сопротивления при отправке в Советскую Россию.

О физическом принуждении смешно говорить уже по одному тому, что в распоряжении ген. Бруссо на всем о. Лемносе находился всего один батальон чернокожих на 25 тысяч русских, в числе которых одних только вооруженных и дисциплинированных юнкеров насчитывалось до 500 человек. Странно говорить о психическом принуждении. Тот, кто пугался голодной смерти, мог записаться в Бразилию, а не отправляться обязательно в Россию.

Видавшие виды казаки, дети трудового народа, менее всего боялись голодной смерти. Наконец, всякий понимал, что французы не могли быть столь бесчеловечны, чтобы привезти тысячи людей на остров и уморить их здесь голодом, предав вместе с тем на поток и разграбление 30 греческих деревень, на которые в первую голову обрушится казачья орда в поисках пищи. Три четверти русских обитателей Лемноса ничуть не испугались угрозы лишиться их пайка и преспокойно остались на острове.

Когда к нам стали приходиться газеты, где описывались события 28—30 марта, мы хохотали до упаду над газетной брехней.

Однако информаторы все-таки расклеивали «Общее дело» по стенам бараков и на особых щитах среди казачьих палаток.

Ген. Бруссо, которого травил все эмигрантские газеты, сейчас же официально запросил ген. Абрамова, которого Врангель назначил начальником всех «русских войск» на о. Лемносе, кто из казаков, погруженных на пароходе, бросился в море и приплыл к берегу. Таких пловцов не оказалось. Тогда он приказал расклеить по лагерям свое обращение к казакам такого содержания:

«Казаки! Я всегда говорил и буду говорить вам правду. Вы были очевидцами всего происшедшего и видите теперь,

сколько лживы сообщения «Общего дела» о якобы насильственной отправке в Россию ваших товарищей. Я просил ген. Абрамова указать мне казаков, которые были силой погружены на пароход, а затем спрыгнули в море и приплыли на берег. Но ответа не последовало. Правда та, что по просьбе кубанского начальства было погружено несколько человек, сидевших до этого времени под арестом за бесчиние. Один из них, Биндюков, раскаялся, его простили и заставили подписать тенденциозную декларацию «Читайте Правду». Вы теперь видите всю ее ложь. Я всегда помогал и буду помогать казакам выйти на самостоятельную дорогу, добиваясь того, чтобы вы могли свободно высказывать свою волю, стремлюсь оградить вас от тех, которые посягают на вашу свободу. Генерал Фостиков пытался помешать французским властям производить опрос, и он больше не вернется на остров.

Ген. Фостиков выехал в Константинополь тотчас же после отправки казаков в Россию для участия в заседаниях «Русского Совета», который начал свою бессмысленную болтовню 5 апреля.

В конце этого месяца он прислал на остров свой приказ за № 003 (!), в котором сообщал, что французы преследуют его за то, что он «удерживал казаков от поездки в Россию». Информаторы расклеили этот приказ, с портретом автора, по лагерям.

Во всей этой истории самое замечательное то, что в обращении «объединенного совета Дона, Кубани и Терека» к верховному комиссару Франции по поводу отправки казаков в Россию ни слова не говорится о насилии, и лишь высказывается принципиальный взгляд на содействие к отъезду казаков в Совдепию, как на явление, противоречащее началам гуманности, так как, по мнению атаманов, казаков на родине ждет тяжелая кара.

XXIX. Островитяне

Остров Лемнос вынырнул из бездны Эгейского моря невдалеке от устья Дарданелл. К северу с его высот видна «святая» Афонская гора на Халкидонском полуострове. К востоку за белой хмарой скрывается малоазиатский берег с развалинами древней Трои.

Греческая мифология отдала этот сгусток лавы во владение богу кузнечного ремесла Гефесту. Если верить

Гомеру и Гезиоду, постоянные здешние ветры создают гигантские мехи, которые раздувает на самой большой горе острова, Термосе, хромой бог кузнец.

Сохранились здесь благочестивые предания и из первых времен христианства. Здесь томился святой Николай Чудотворец, «правило веры и образ кротости», отправленный сюда в ссылку в 325 году за скандальное поведение и за драку с еретиком Арием на Никейском соборе. Врангель, в самом начале крымской эпопеи, избрал этого буйного святого официальным покровителем своей буйной рати. Французы, точно в насмешку, заперли казак для укрощения строптивого нрава туда же, где смирял себя их небесный патрон.

Хотя на острове преобладает греческое население, но до 1913 г. он принадлежал туркам. В мировую войну союзники превратили его в базу своих морского и воздушного флотов, действовавших в Дарданеллах. Глубокая и вместительная Мудросская бухта, в которую с моря ведет узкий проход, доставляла спокойное убежище транспортным судам. Впрочем, однажды германская подводная лодка, проникнув в залив, устроила такой дебош, что еще и в то время, когда мы там жили, в 1921 году, на острове существовала акционерная компания, во главе с местным буржуем г. Пневматикос, для извлечения потопленных судов и их тоннажа.

Следы мировой войны здесь повсюду. Берега завалены аэропланными бомбами, банками из-под консервов и бензина, всяким металлическим хламом. Разумеется, есть и братское кладбище. Кое-где сохранились бетонированные площадки, на которых сыны Альбиона развлекались в свободные часы игрой в футбол.

Ввиду недостатка питьевой воды на западном берегу Мудросского залива соорудили опреснитель. Казаки прозвали его «фабрикой воды». Внутри наукообразного острова, длиною не свыше 25 верст, влаги все-таки хватает для того, чтобы напоить и накормить немногочисленное население.

Последнее занимается или земледелием, или морскими промыслами, в том числе и ловлей осьминогов. Лошадей на острове почти нет; их заменяют волы или ослы. Шутники объясняли нелюбовь местных греков к лошадям тем, что они — потомки бежавших на остров троянцев, напуганных деревянным конем Одиссея.

Благодаря гористой местности и каменистой почве

хлеб здесь родится плохо, маслина и виноград еще хуже, так что население до мировой войны жило в бедности. Потом оно начало богатеть, наживаясь от пришельцев. Едва ушли с острова французские и английские войска, как добрый божеенька послал им «гостей английского короля» — русских беженцев денкинской эвакуации¹²³. На смену этим прибыли незваные гости французского президента — казаки. Оборотливые аборигены поживились от русских изгнанников еще более, чем от союзнических солдат. Почти все американское добро, розданное русским, пошло за бесценюк грекам, которые перепродавали его с большой лихвой на соседние острова. Отвратительный коньяк и не менее противное местное вино, в свою очередь, давали немалую прибыль.

Привыкнув обирать братьев по вере, лемносцы не постеснялись по инерции грабить таким же способом и своих братьев по крови, малоазиатских греков, которые, спасаясь от грозного Кемаля, в июле 1921 года сменили русских изгнанников.

Международное положение острова в этом году было самое нелепое. Он составлял часть владений государства эллинов и в то же время состоял в аренде у англичан. Но и французы, опять появившиеся на острове в связи с нашим пребыванием, чувствовали себя здесь хозяевами. Мы, по крайней мере, не имели никакого касательства к английскому губернатору, тихо и скромно жившему в крошечном городке Кастро.

Один казачий поэт так описывает водворение казаков на Лемносе и, кстати, легенду о происхождении здешних ветров:

Окаянные французы
Наложили цепко узы
На российских па вояк:
Пропадай совсем казак!
Чуть немного потеплело,
Под угрозю расстрела
Водворили казаков
На Лемнос без лишних слов.
 Это остров был унылый,
 Велл холодом могилы,
 Взор повсюду встретит мог
 Только камни да песок.
Как-то в древности чудесной,
Бог Гефест, кузнец известный,
Насмоктавшись доньяна
Олимпийского вина,

Полетел на Кипр стрелою,
Чтоб с Венерой молодою
Провести украдкой ночь,
Отгнавши Зевса прочь.
Но, по лавочке по пьяной,
Он на остров окаянный,
На погибельный Лемнос,
Тучный корпус свой принес.
Растянулся меж горами
И, забыв о милой даме,
Сладко раза два зевнул
И на целый день заснул.

О попытке Дон-Жуана
Зевс проведаль утром рано
И пришел в ужасный гнев,
Как стрелой пробитый лев.
Чтоб отбить у всех манеру
Покушаться на Венеру,
Он обрек для образца
Ловеласа-кузнеца
За его характер пылкий
На Лемносе вечной ссылкой.
И Гефест от этих пор
Поселился здесь меж гор,
Занимаясь со рвеньем
Медных чаш изготовленьем
Для продажи их богам,
Чтоб курить в них фимиам.

День и ночь кузнец незримый,
Будь то весны, будь то зимы,
В искушение греха
Раздувал свои меха.
От работы исполнил
Сотрясается долина,
Воздух ежится, дрожит,
Ураган кругом родит.
Оттого-то беспрепятно
Ветер подлый, окаянный
К довершенью прочих бед
Дует здесь с давнишних лет.
Вот на острове на этом,
Позабитая всем светом,
Водворилась казачья,
Жизнь противную кляня.
Было скверно, стало хуже;
Брюхо сделалось уже,
Нежель в стойдах Чатаджи,
Уж не скажешь: «чох якши!»*

* Чох якши — очень хорошо; обычное восклицание турок, перенятое от них казаками.

Кубанский корпус расположился на низменном западном берегу Мудросского залива, донцы — на высоком восточном. Штаб нашего корпуса занял несколько барачков возле пристани, у самого городишка Мудроса. Войсковые части разместились по палаткам на высотах, в версте от штаба. В иных полках нашлись такие любители, которые соорудили себе недурные бараки из плитняка и бидонов из-под бензина, крышу же из абри-метро. Этим материалом было усеяно все побережье залива.

Ну и весело живем мы,
Разудалые донцы:
Из холста у нас палаты.
Из жестяночек дворцы,—

целось в казачьей частушке.

Главными врагами изгнанников являлись ветры, крысы и сколопендры, не говоря уже о чернокожих-часовых. Ветры более всего досаждали осенью, зимой и весной. Летом бог Гефест делал передышку. Случалось, что ветер уносил в море и самые палатки. Часто на его проделки ссылались неосновательно, чтобы замаскировать «загон» казенного добра. Особенно любил он «уносить в море» казенное белье, которое вывешивали для просушки юнкера Атаманского военного училища. Юноши один раз, во время концерта, чистосердечно покаялись, что «на ветер только слава», пропев и объяснив такую свою песенку, крайне незамысловатую, как и вся поэзия концентрационных лагерей и проволочных заграждений:

Эй ты, ветер, дуй скорее,
Дуй скорее, дуй сильнее,
Чтоб мы жили, не тужили,
Чтоб мы драхмы* зашибили.

Крысы изводили обитателей барачков, а громадные сколопендры кусали всех, к кому они ухитрялись заползти во время сна на голое тело.

Довольствие по-прежнему доставляли французы, невзирая на свои постоянные угрозы прекратить выдачу его. Хуже обстояло дело с топливом. На острове не росло лесу. Как аборигены, так и пришельцы, отправлялись в горы за «колюшкой», низкорослым колючим кустарником. Греки нагружали этими неприятными ношами своих осликов,

* Драхма — греческая денежная единица, в довоенное время равная франку.

русские — свои спины. Казаки-донцы, попавшие на Лемнос зимою, разумеется, использовали весь подручный материал, какой годился для топки. Разнесли несколько пустых хуторков близ Мургоса, порубили все чахлые фруктовые деревья и до того увлеклись этим любимым спортом, что заодно прирезали и до 60 баранов. В мае, по жалобам населения, ген. Бруссо назначил смешанную русско-греко-французскую комиссию для выяснения убытков, понесенных обывателями от произвола войск. Я фигурировал в этой комиссии, как представитель прокуратуры. Мы признали подлежащими удовлетворению претензии на сумму до 2000 драхм. Ген. Абрамов положил резолюцию на составленном мною докладе: «Уплатить, когда будем уезжать с острова», что в переводе с канцелярского языка на общежитийский означало «после дождика в четверг».

На Лемносе, с наступлением весны, казаки обогрелись, вымылись наконец, но не наелись.

Чистым бельем снабдил Мак-Нэб, маленький человек, но имевший в своем распоряжении большие склады. Его не сердило то, что большинство его подарков перепало к грекам за «драхмоны», что казачье начальство при официальных торжествах нередко позабывало про него, что не раз по ночам любители «поартизанить» вторгались в его владения и экспроприировали в свою пользу целые тюки имущества. Флегматичный янки щедрой рукой сыпал добро на казаков, то через начальство, то через учреждения Земского Союза, то и непосредственно.

Земской Союз организовал за счет американцев разные мастерские, питательные пункты, где подкармливались слабые, театры, курсы французского языка и т. д. Высшее военное начальство ненавидело эту самодовлеющую организацию, завидуя ее хозяйственным операциям, которые она перехватывала у него. Вырывала лакомый кусок изо рта. Развернувшись в период гражданской войны, не чувствуя над собой никакого контроля и не боясь никакой ответственности, военные хозяйственники знали, как надо вести при теперешних условиях хозяйственные операции.

— Самая первая теперь у нас забота та, чтобы не умереть с голоду. Для этого надо подкармливаться. Чтобы подкармливаться, надо воровать.

Такую программную речь сказал своим подчиненным интендант донского корпуса полковник Чекин, вступая

и эту должность после того, как его предшественник ген. Гаврилов, подобно своему предшественнику ген. Осипову, сбежал в Константинополь с казенными турецкими лирами.

О мудром наставлении полк. Чекина своим подчиненным меня информировал один из последних, старый чиновник Павлов.

Особенно успешно шла фабрикация «мертвых душ». Списочный состав войсковых частей повсюду превосходил действительную наличность. Командиры полков и начальники учреждений выписывали на несуществующих солдат и офицеров не только продукты от французов, но и лиры от Врангеля. Главнокомандующий теперь почти ежемесячно снабжал каждого казака одной лирой, простого офицера — двумя.

Еще до нашего приезда на Лемнос ген. Говоров, заменявший здесь командира корпуса, по настоянию французов и врангелевского штаба распорядился произвести фактическую проверку наличного состава людей.

В частях заполошились.

Стали прибегать к разным фокусам, один из которых живописует полк. Б. Жиров.

Чтоб в Мудросе жить с комфортом,
Кос-кто занялся спортом,
Совесть повсе заглушив,
Сдавши Гоголя в архив,
Говоря: «Отбросим страх мы
И легко получим драхмы,
В именной полка состав
Души мертвые вписав».
Чичиковы новой эры,
Без стеснения и без меры
Фабрикация мертвых душ,
В свой карман изрядный куш
В три приема положили,
Сытно ели, много пили,
И французский рацион
Чуждым был для сих персон.
Но о подленьких аферах
Вдруг узнали в высших сферах
И назначили контроль —
«Предъявить людей изволь!»
Много грязи, много сора
Тут открыли контролеры.
А в славейшем из полков
Случай вышел раз таков.
Генерал, ряды считая,
Узнает (беда какая!).

Что немало тут гостей:
Люди из других частей,
Выступают, как статисты:
Подневольные артисты!
Хуже злого реприманда
Поразила всех команда:
«Шу-ка, Н-цы, шаг вперед!»
Казачи такой народ —
Слепо следуют приказу, —
И чужие люди сразу,
Выходи на первый план,
Обнаружили обман.

Ревизия показала, что в некоторых полках «мертвые души» (этот термин до того вошел в жизнь, что фигурировал в приказах и официальной переписке) составляли почти 25% всего списка. Получился грандиозный скандал. Ген. Говоров растерялся. Сам человек не кристальной честности, он ограничился тем, что временно отрешил от должности командиров полков 2-й донской дивизии, в том числе и генерала Рубашкина, окончательную же расправу отложил до прибытия ген. Абрамова. Последний, конечно, в первую же голову аннулировал все распоряжения Говорова, дело же для проформы передал военному следователю, т. е. прекратил его, так как работа судебных органов уже атрофировалась.

Корпусные суды существовали в умиравших корпусах, но приговоры их были пустым звуком. Французы на Лемносе не мешали врангелевским властям арестовывать и судить своих подчиненных. Но первое же заявление арестованного или осужденного о желании уехать с острова и перейти на собственное иждивение избавляло его от всякой дальнейшей кары.

Председателем донского корпусного суда сначала был ген. Селецкий, военным прокурором ген. А. В. Попов, тот самый, которого в Токмаке будто бы выдали большевикам еврей, я — его помощником, а военным следователем — полк. В. В. Городынский, оправдавший графа Дю-Шайла. Однако ген. Селецкий сам считал за лучшее поменяться должностью с председателем кубанского корпусного суда ген. Лазаревым.

Как ни фиктивны были теперь судебные приговоры, высшие военные начальники старались избавиться от них всех сколько-нибудь видных лиц, невзирая на самые вредные последствия их преступлений для врангелевского же дела. В этот последний момент белая военная власть показала свое полное пренебрежение к закону, плевала в

лицо тем, кого на бумаге звала блюстителем правосудия. Порою нам, судейским, с ужасом приходилось думать, какой же правовой строй могли насадить эти вожди, позволившие беззаконие в культ и свой начальнический произвол в доблесть. Кто-то в гражданскую войну острил, что лучшее средство заставить военное начальство поступать по закону, это — предписать ему беззаконие, так как оно все делает наоборот.

Даже фиктивные обвинительные приговоры в этот период нам удавалось выносить с великим трудом. Только людей поменьше, которые не имели «заручки» или с которыми начальство было не в ладах, мы могли не только судить, но и рассчитывать, что их будут держать под арестом до тех пор, пока не освободят французы. Так нам удалось судить, точнее, инсценировать суд над доктором Антеповичем, не казаком и потому человеком, чуждым донскому начальству. Этот представитель гуманнейшей профессии зимою ведал на Лемносе организацией дезинфекционных пунктов, в которых так нуждались изгнанники. Однако их страдания мало тронули Антеповича. Он предпочел с помощью казенных 450 лир облегчить страдания своего и женина желудка от голода, нежели казачьи тапталовы муки от паразитов. Мы осудили его на 8 лет каторжных работ; французы дали ему разрешение с миром выехать на материк. Он отделался тем, что просидел до суда под арестом месяца полтора.

Зато в тех случаях, когда надо было инсценировать суд над «своим» человеком, мы патыкались на непреодолимые препятствия. Возник вопрос о ликвидации дела об интенданте дивизии ген. Гусельщикова войск. старш. Ковалева. Ген. Абрамов уперся руками и ногами, желая спасти жулика. Но мы встали на дыбы и высекли публично этого вора, обиравшего казачьи желудки. В ответ на мою двухчасовую обвинительную речь, Ковалев махнул рукой и вызывающе заявил:

— Я служил и работал всю гражданскую войну с генералом Гусельщиковым, теперь работаю и впредь буду работать.

Временные члены суда, командир гвардейского атаманского полка генерал Хрипунов и артиллерийский полковник Тарасов, возмущенные проделками обвиняемого, хотели назначить ему самое высокое наказание, какое указывала статья уголовного закона.

— Что вы, что вы, — разъяснил им председатель су-

да. — Нам важно морально занять человека обвинительным приговором. Но если мы присудим его к каторге, тогда приговор должен пойти на утверждение ген. Абрамова, который помилует его вчистую. Лучше назначим меньшее наказание, без лишения прав. Тогда приговор не пойдет на конфирмацию, командир корпуса волей-неволей должен будет объявить его в приказе и хоть это запятнает казнокрада.

Ковалеву назначили тюремное заключение на 1 год и 4 месяца. Ген. Абрамов перехитрил суд. Будучи бесплен сам амнистировать Ковалева, он обратился к Врангелю. Последний не замедлил осуществить свое «монаршее право».

Мы чувствовали, что мы лишние; что даже наши инсценировки суда раздражают высшее военное начальство. Штаб не скрывал своего взгляда на суд как на ненужную обузу. Ген. Абрамов перед Пасхой даже ударил суд по желудку. Он к этому времени уже менее всего походил на главу военной силы, скорее изображая мелочного самодура-администратора вроде своего отца, бывшего окружного атамана Донецкого округа. Однажды ему не понравился чересчур высокий голос дьякона Туренко, и он запретил ему священнодействовать в штабной церкви.

Суд более всего возбудил его неудовольствие тем, что довольствовался при штабном собрании, где французский рацион улучшали теми продуктами, которые я с таким трудом отстоял на пароходе «Мечта» от разных хищников. Чтобы для штаба на более долгое время хватило этого добра, он приказал списать нас с довольствия. Взбешенный генерал Нонов, военный прокурор, во время последнего обеда в собрании обругал штабных хозяйственников грабителями в присутствии прибывших из Константинополя врангелевских ревизоров-генералов. В этот период подобные слова в белом стане перестали считаться оскорбительными. Ген. Абрамов не только никак не реагировал на прокурорскую выходку, но даже пригласил весь суд на Пасху на торжественное разговенье в штабное собрание. Мы все демонстративно отказались.

В полках казаки умирали от тоски, безделья и полуголодного пайка. Верхи кради и пьянствовали. И у всех вместе все духовные и физические силы напрягались на то, чтобы как-нибудь раздобыть заветную сумму — 4 драхмы — стоимость бутылки местного коньяку. По словам Б. Жирова, —

Чтобы кое-как пожить,
Здесь, отбросив страх, мы
Душу можем заложить
За четыре драхмы.

Случалось, что начальство устраивало парады. От скуки казаки соглашались и парадировать, но от строевых занятий открепивались. Офицеры от печего делать женились, если удавалось разыскать свободную женщину. О пропитании семьи заботиться не приходилось: французы всем выдавали одинаковый паек, американцы же снабжали женщин подарками больше, чем мужчин. По статистике, здесь на 80 штанов приходилась одна юбка. Поэтому лемноским пленникам было труднее добыть себе невесту, чем первым обитателям Рима. Благоденствовали только врачи «санитарного городка», как описывала лемносская сатира:

К общей зависти великой,
Каждый врач здесь был владыкой
Двух сестер и, как наша,
Жил, не тратя ни гроша.
Только раненым подарки
Забирали их сударки,
Только порции больных
Шли в нутро сударок их,
Только тратя для потехи
Спирт казенный из аптеки
И дареное вино...
Так уж там заведено!

На почве недостатка женщины возникали скандалы, доходившие до разбирательства командира корпуса. Так, один зауряд-врач¹²⁴, или, как их звали, «навряд-врач», по фамилии Яновский, съездив в Константинополь за медикаментами, по возвращении не нашел своего семейного очага. В его отсутствие его супруга вышла за другого самым настоящим церковным браком.

Оскорбленный в лучших чувствах, эскулап подал по начальству рапорт, требуя наказания дерзкой изменницы. Произвели дознание, которое выяснило, что Яновский не был женат, а только сожительствовал с женщиной, которая теперь обзавелась настоящим мужем. Ген. Абрамов арестовал его на 5 суток за «ложное именованье в официальной бумаге посторонней женщины своей законной супругой».

Случалось, что свадьбы справляли на паях. В один день венчались две-три пары и ради экономии брачное пиршество устраивали сообща. Все эти лемносские браки оканчивались весьма непрочно.

Скучно и серо текла мопотонная жизнь на острове. Только Пасха внесла некоторое оживление, тем более что к этому дню выдали по лишней лире. Донской атаман, который ни разу не навещал своих лемносских подданных, прислал к Пасхе две бочки спирту, чтобы согреть и оживить их любовь к своему выборному вождю. Ген. Абрамов, такой же убежденный враг алкоголя, как и большевиков, приказал, к великому неудовольствию казаков, одну бочку вернуть назад в Константинополь, а другую передать в распоряжение корпусного врача для медицинских надобностей. Спустя месяца два корпусный врач Говоров, брат начальника штаба, продавал этот спирт, обращая деньги на неизвестную надобность.

Вечером, в страстную пятницу, мы имели удовольствие наблюдать религиозные обычаи греков. Французы в эти священные дни разрешили нам беспрепятственно ходить по городишку Мудросу, куда в обычное время нам преграждал дорогу чернокожий караул.

«Погребение Христа» у греков самый торжественный обряд, даже важнее пасхальной заутрени. Поэтому в пятницу вечером все мудросское население стеклось в церковь. Высокий сундук, на котором лежала плащаница, сверху прикрывался еще деревянным навесом, так что все это, вместе взятое, представляло довольно громоздкое сооружение. Васильки, зелень и бумажные флажки всех наций, какие у нас в прежнее время развешивали на рождественских елках, украшали греческую плащаницу.

В храмах православного востока и помину нет о русском благолепии. Здешние священники во время богослужения нередко хохочут, ругаются с дьяконами, сыплют подзатыльники прислужникам. Публика сплошь и рядом в шапках, спиной к иконам, шумит, галдит, закуривает от лампадок.

Так было и на этот раз. Торжественный обряд «погребения Христа» носил характер какого-то «комедийного действия». Когда плащаницу, вместе с сундуком и навесом, понесли вокруг городка, дети начали в храме игры, без всякого стеснения заходя в алтарь через «царские» врата и обегая престол, женщины уселись на амвон и зашудачили, а один почтенный старичок пачал забавляться

тем, что ловил молоденькую учительницу Клеопатру и каждый раз, поймав ее, пощипывал за щечку или подбородок.

Когда крестный ход вернулся к храму и плащаницу внесли в притвор, публика, стоявшая снаружи, бросилась к ней, стараясь сорвать с нее цветы и зелень, которые, по местному поверью, теперь имеют волшебную силу. Произошла невообразимая свалка. Плащаница полетела, пологом разбило стекло в двери. 12 тщедушных, плюгавых городских ринулись отгонять народ от злосчастной реликвии, которую, наконец, с шумом втащили в церковь. Но здесь ее яростно атаковали те, которые не ходили кругом города. Подогреваемые религиозным пылом, они бесстрашно шли на приступ и сбивали с ног полицию. Городовые, разгорячившись, с руганью, начали лупить кого придется. Я в ужасе прижался к колонне; мои офицеры залезли на митрополичье место*. Мимо моего носа то и дело мелькали кулаки. Священные завывания, конечно, прекратились; их заменили стоны и звериный рев. Священники, тоже помятые в общей свалке, кое-как пробрались в алтарь, закурили папиросы и с олимпийским спокойствием ждали, когда кончится кутерьма.

В результате этого торжественного обычая многие городские обыватели в «праздников праздник» ходили с перевязанными щеками.

— Уж очень усердно у вас погребают Христа! К дню его воскресения почти полгода ходят с фонарями,— говорили мы тем грекам-торговцам, которые кое-как понимали по-русски или по-французски.

— Нынче еще обошлось благополучно,— отвечали они.— В другие года бывает хуже. Местное население смотрит на эту традиционную свалку в церкви как на забаву, как на спорт, как на узаконенное состязание в физической борьбе с полицейскими.

— Если этакое благолепие царило в греческих храмах и в X веке, то надо удивляться послам нашего князя Владимира, которых так умиляло греческое богослужение,— сказал я корпусному священнику, имевшему теперь случай наблюдать церковные нравы на родине русского православия.

У о. Андроника никак не налаживалась смычка с гре-

* Такое имеется в каждой греческой церкви. На о. Лемнос — своя особая митрополия; резиденция митрополита — г. Кастро.

ческим духовенством, от которого он рассчитывал получить хоть какую-нибудь материальную поддержку. Корыстолюбивые «папазы» (попы), как и их паства, в своих единоверцах русских видели только выгодных контрагентов для купли-продажи и вступали в ними только в коммерческие сношения. Один мудросский иерей не мудрствуя лукаво открыл ларек в районе нашего штаба, подле того шатра, где жил о. Андроник. К великому смущению последнего, рясофорный торгош, потрясая своей камилавкой, отвешивал сыр, маслины, хлеб или, усевшись возле ларька на плиты, меланхолично тянул папиросу в ожидании покупателя.

Зато сам о. Андроник пока еще сохранял достоинство своего сана. Греческие власти отвели ему старую городскую церковь, в которой он служил так чинно и благолепно, что греки, хоть и не понимали ничего, но толпами стремились к нему и даже остерегались чересчур бесчинствовать в храме. Он до того растягивал церковные службы, что ген. Абрамов просил его хоть для Пасхи несколько сократить церковный ритуал.

На второй день праздника на остров прибыл с Афона «архипастырь христоролюбивого воинства» Вениамин. Он отслужил торжественное молебствие в соборной церкви и сказал нам проповедь:

— Когда Христос умер и его погребли, казалось, цель его врагов была достигнута. Не стало того, кто ратовал против первосвященников и фарисеев. Однако были ли они спокойны? Нет! Они предчувствовали его воскресение и волновались. вспомните, как они ходили к Пилату, просили запечатать гроб, просили даже стражу для охраны гроба. Они чего-то ждали, чего-то страшного для себя. Так и наши враги. Мы покинули Россию, мы вдали от нее, нас как бы в живых нет. Но спокойны ли большевики? Тоже нет, как и враги Христовы. Они мечутся, они заявляют протесты против пребывания нашей армии в проливах. Они, как старейшины европейские, хотели бы вбить в наше тело осиновый кол. Ибо мы и теперь страшны им. Ибо они предчувствуют, что мы воскреснем для России, как воскрес Христос для всего человечества.

— Только-то и всего! — разочарованно говорили офицеры, ожидавшие услышать от столь близкого к Врагелю человека какие-нибудь новости, касающиеся дальнейших судеб остатков армии.

На Пасхе мы развлекались не только религиозными

церемониями. К этому времени и на Лемносе стали устраиваться театральные зрелища. В штабе корпуса праздничный концерт, в присутствии французских властей, прошел очень торжественно, но не без скандалов. Умиравший военный быт старой царской России пел свою лебединую песнь, не отступая ни на одну йоту от своих вековых традиций. Места в театре (длинном портовом бараче) были распределены поименно, строго по чинам. Первые четыре ряда предназначались исключительно для генералов, далее сидели полковники с более почтенным служебным положением и т. д.

Жены занимали места соответственно рангу мужей, из-за чего возникло много мелких дрызг и ссор. Простые офицеры, а тем более казаки, не допускались даже и близко к этой ярмарке дешевого тщеславия. Когда в «театр» вошла, разумеется, позже всех, — этого требовал тон, — жена начальника штаба, М-ме Говорова, напускавшая на себя павлинье величие, ее встретили шиканьем. Даже цвет корпуса уже не стеснялся вслух высказывать свои чувства!

— Картинка! — пронеслось по рядам.

Так звали эту надутую гусыню за то, что она была не только разодета, как кукла, но и разрисована.

Едва начался концерт, как на крышу «театра» посыпался каменный дождь. Это протестовали низы против верхов, которые и при теперешних обстоятельствах корчили из себя существ высшего порядка. Концерт прошел под неприятный аккомпанемент этого протеста.

Исполнители предполагали включить в программу парадного вечера несколько интересных номеров, вроде песенок на злободневные темы, шаржей на французов, но ген. Говоров вычеркнул всю эту, как он выразился, «погромную поэзию». Зато в дивизиях, особенно на кубанской стороне, очень зло высмеивали и ген. Шарпи, и ген. Бруссо, и «благородную» Францию.

Вскоре после Пасхи состоялось открытие выставки. Ее организовал уполномоченный Всероссийского Земского Союза на о. Лемносе М. П. Шаповаленко, человек дельный и распорядительный. Среди беженской массы нашлись искусные кустари, художники-любители, декораторы, собиратели коллекций и т. д. Живые силы, ввиду неблагоприятных условий, замерли временно, как озимое зерно, но не умерли окончательно. Надо чуточку солнышка, чтобы они стали давать ростки. Прозвучал призыв к производителю-

ному труду со стороны культурного человека, были даны материальные средства, необходимые для работы, — жизнеспособные элементы остатков армии выползли на свет божий с продуктами своего труда из-под пластов гнили и навоза.

Для выставки Шаповаленко предназначил вместительный шатер в расположении учреждений Земского Союза на донской стороне залива. Когда собралась публика на открытие выставки, вдруг к шатру прилетел один из «фокстерьеров», — так звали личных адъютантов, — молоденький, но необычайно чванный есаул И. Д. Батыкин, при шашке, в служебной форме. Вызвав Шаповаленко, он заявил ему официально:

— О вашей выставке штабу корпуса ничего неизвестно. Вы не уведомили генерала Говорова, и он не разрешает вам ее открыть.

Шаповаленко развел руками.

— Так они всегда делают... Все хотят взять под свою фирму и под свою опеку, всякое культурное начинание.

Представителю общественности, однако, пришлось подчиниться представителям грубой силы. Выставка была перенесена в штабной театр, заведывание ею поручено бывшему таганрогскому коменданту, «африканскому» генералу Н. Зубову, состав экспонатов пополнен многочисленными работами информационных отделений, вроде листовок, плакатов, гимнов Врангелю и т. д.

Кубанские информаторы прислали для раздачи посетителям целый ворох прокламаций, изображавших Врангеля с крестом, на котором красовалась надпись «сим победиши», и с трехцветным флагом в руках. В этом художественно-литературном произведении христолюбивого вождя противопоставляли не только безбожным большевикам, но и Савинкову, Милюкову, Чернову и Керенскому, которые «наполовину отстали от креста, но не пристали полностью и к еврейской звезде».

— Только он, наш вождь, у которого меч в руках, а крест в сердце, выведет нас из беды и спасет Россию от разорения, а не те, у которых эмблемой служат метла, «волчья голова» и т. д.

«Волчья голова» была эмблемой ген. Шкуро и его знаменитых волков¹²⁵. Я сначала не понял, к чему тут припели ее.

— Что же вы нам шлете черносотенные проклама-

ции, — сказал я в тот же день полковнику генерального штаба Туган-Барановскому, командовавшему кубанским корпусом за отсутствием ген. Фостикова. — Савинков ведь все время делает реверансы Врангелю и шлет ему приветственные письма. Милюков, — вы разве не помните, как он стремился водрузить крест на св. Софии в Цареграде. А вы их объявляете врагами веры христовой.

— Это еще что! — услышал я в ответ. — Наши ребята сначала включили в то же число вашего Сидорица и нашего Шкуро, но я вычеркнул из черновика.

Знаменитый партизан, пьянствуя в это время в мон-мартрских кабаках, даже и не подозревал, что его, священнического внука (по матери), на Лемносе сопричислили к сонму врагов креста Господня.

Шаповаленко ясно видел, что корпусной и дивизионные театры служат только для верхов, простая же казачья лишена даже и этого примитивного развлечения. Выискивая подходящее местечко в лощине, в стыке двух дивизий, он устроил открытую сцену. Сюда мог приходиться всякий желающий и смотреть незамысловатый спектакль или слушать концерт.

— Чорт знает, что такое, — возмущенно заявил он однажды, зайдя ко мне в барак. — Вот смотрите.

Я взял у него клочок бумаги, на котором знакомым мне почерком ген. Говорова было наспех набросано:

«До моего сведения дошло, что Вы устроили какой-то театр возле бассейна и собираетесь давать представления. Считаю неудобным выбранное место, а также и то, что вы не спросили моего согласия. Поэтому прошу воздержаться от спектаклей впредь до особого распоряжения».

Для казаков в конце концов оставалось только одно развлечение — делить хлеб. Это занятие доставляло много смеху, порой вызывало и скандалы. Французы выдавали ежедневно на пятерых человек два хлеба, по килограмму каждый. Пятки уже сами делили хлеб. Надо было немалое искусство, чтобы вырезать пять равных частей. От одуряющей лагерной жизни, от отсутствия физического и умственного труда, люди сделались мелочными, придирчивыми, раздражительными. Все до тошноты падоели друг другу, и споры возникали из-за пустяков. Чтобы устранить их при дележке хлеба, поступали следующим образом. Когда кончилось выкрикивание пяти равных долей (по 400 гр. — 1 фун. каждая), кто-нибудь становился лицом в поле, а другой брал поочередно порции и спрашивал:

- Кому?
- Ковылину!— отвечал первый.
- Кому?
- Тобе.
- Кому?
- Взводному.

И так далее.

Утром, после раздачи хлеба в части, это бесконечное «кому» висело в воздухе вместе с матом.

— Делить!— было боевым лозунгом солдат умиравшей царской армии в 1917—1918 гг.

Тогда делили денежные ящики, обмундирование, продовольственные склады.

Солдаты умиравшей белой армии тоже «делили», но только один французский паек, так как все остальное делило их начальство.

Бродить по острову казакам тоже не разрешалось. Хотя лагеря не были обнесены проволокой, но в разных пунктах стояли наши вечные аргусы — чернокожие, которые никого не выпускали за определенную черту. Да и нечего было делать в греческих деревнях, разве загонять вещи. Тех, которые шатались за лагерями, не имея пропусков, задерживала греческая полиция, а еще чаще раздевала. Как-то раз мы, судейские, отправились на северо-восточную оконечность Лемноса, на развалины древней Эфестиады. Верстах в пяти от лагеря встретили двух казаков.

- Что там за селение?
- Кадыпула... Такая чудная название*.
- А почему вы, станичники, босые?
- Разула ихняя полиция. Снимай, показывают нам руками, ботинки и чулки, нет ли у вас патронов. Мы разулись, а они все себе забрали, эвакуировали нас за деревню, дали по загривку и иди с богом.
- Прошла ваша боевая слава!
- Да, кабы в Таврии, так показали бы...

На месте Эфестиады мы ничего не нашли, кроме усеянного череницей поля. Весь мрамор с развалин храма в честь лемносского бога Гефеста частью еще в древности вывезли с острова, частью местные греки растащили для домашних нужд.

* В казачьем говоре (донском) имена прилагательные не имеют окончания среднего рода, заменяют его окончанием женского рода.

В ближайшем же хуторе мы заметили сарай для навоза, сложенный из святого мрамора Эллады. К вкопанному в землю перистиллю привязывали ослов.

Две чахлые женщины, совсем не похожие на Лаис, Фрин и Аспазий, предложили нам купить старинных, безносых Меркурия и Афродиту из терракотты, запросив за каждую статуэтку по тысяче драхм. Генерал Попов, знавший древнегреческий язык, стал было объясняться с ними. Увы! Язык Платона и Софокла оказался совсем непонятным выродившимся потомкам древних эллинов.

— Папаз! (поп), — уверенно сказала одна из них, указывая соседке глазами на генерала.

— Папаз! — поддакнула и та.

— Вас за попа приняли. Довоевались! Генералы стали похожи на попов, — пошутил полк. Городьеский.

Летом, когда пришло известие об энергичном наступлении Кемаль-Паши на греческую армию в Малой Азии¹²⁶, греки еще более стали коситься на казаков. Для них не составляло тайны, что немало врангелевцев, из числа кавказских горцев, служили в войсках турецкого патриота.

— Казак не кало (не хорош)... Казак и осман грека бум-бум... — объясняли, как могли, лемносцы, взволнованные недобрými вестями из Малой Азии.

Зато островные турки, изредка приезжавшие в лагерь для продажи фруктов и овощей, всячески старались высказать свое восхищение казаками.

— Урус якши... Урус малядэц... Урус экмэк* ёк**, урус поёт... Осман экмэк ёк, осман плачет.

Лев Турции сокрушал фундамент Версальского мира и плевал в лицо союзникам. Лемносские турки видели, что русским солдатам это доставляло удовольствие.

XXX. Распыление

Вслед за отправкой 7000 казаков в Россию, французы снарядили пароход в Бразилию.

Желающих отправиться в неведомую даль выискалось небольшое количество, всего несколько сотен.

Какая участь постигла «бразильцев», небезынтересно привести выдержку из статьи «Как нас хотели сделать

* Экмэк — хлеб.

** Ёк — пет.

рабами», помещенной в № 1595 газеты «Беднота» (от 21 августа 1923 года).

«Насказали нам дорогой друзья-французы про эту Бразилию — умирать не надо, поработаете там год-другой, и сами помещиками станете. Три месяца блуждали мы по разным морям. Наконец увидели американский берег. Радости не было конца. Иные уже с парохода отмеряли участки на берегу моря. Высадили нас, пересчитали, заперли в скотские вагоны и повезли в город Сан-Паоло. Там нагрянули к нам бразильские власти, объяснили, — так и так, — вас привезли для работы на кофейных плантациях, заключайте контракты с хозяевами.

Наши, хоть и в чужой стране, но уже разведали, что работа на кофейных плантациях та же каторга, сроком до смерти. Плантатор закабалает батрака задатком, выдачей в долг орудий для работы, продажей в кредит пищевых продуктов и т. д. Расплачиваться за все за это рабочий может только своим горбом. Заработную плату батракам определяет правительство республики, которое состоит из тех же богачей-землевладельцев. В среднем, батрак зарабатывает в год столько, сколько городской плотник за месяц. Каждая плантация — та же крепость, обнесена рвом и колючей проволокой. За работой наблюдают вооруженные негры с собаками. Чуть не послушаешься, могут в расход вывести за милую душу. Жаловаться на плантаторов и ихних приказчиков нет смысла — судьи и всякие власти для них свои люди. То кум, то сват, то брат. Одно слово, демократическая республика, какую хотел преподнести России г. Керенский.

— Не пойдем на плантации! — решила «братва». — Везли — обещали золотые горы, а привезли на каторгу. Таких условий работы нет нигде и в Турции, на что она слывет дикой страной. Не в пример хвалепой Америке. Раз нас надули, вези назад.

Господа плантаторы переполошились. Жалко было упускать большую партию белых рабов. По их наущению правительство мешало нам поступать на городские работы. Кой-кто из плантаторов стал вступать в переговоры с отдельными казаками; думали по одиночке всех сманить.

Не тут-то было! «Братва» заупрямилась и шумела:

— Не расходишь, ребята, поодиночке; держись в куче. Кучу не осилят. Кучу не загонят на плантации. Раньше мы воевали с коммунистами, теперь будем сами посту-

пать так, как они учат. Сила в единении! Пролетарии, соединяйтесь. Не сдадимся бразильским помещикам.

— Это не те рабочие, которые приезжали к нам из Европы до войны,— разочарованно говорили плантаторы.— Те были робки, покорны, безропотно шли на все наши условия. А эти — авангард Ленина.

Номер французов не прошел. Партию живого товара продать не удалось свободным америкацам. С зубным скрежетом повезли нас из Сан-Паоло, к морю. Когда мы ехали поездом, бразильские рабочие, узнав о нашем сопротивлении акулам-плантаторам, шумно приветствовали нас на станциях.

— Буэнос-рюс... рюс большевик,— что значит по-ихнему: «хорошие русские, русские большевики»,— кричали нам.

Мы, казаки, не пожелавшие отдаться в рабство, были героями дня. Ихние батраки, оказывается, и думать не смеют, чтобы сопротивляться хищникам-плантаторам, как это сделали мы. Потому-то и согласилось нас отпустить бразильское правительство, невзирая на сделанные расходы, чтобы мы не заражали их свободный воздух. От них, говорили они про нас, идет бунтарский дух. Мы к этому не привыкли».

Такую же участь, видимо, готовили казакам французы и на о. Мадагаскаре, куда тоже производилась запись. Одновременно появилось объявление о том, что требуются разные ремесленники, батраки и пастухи на юг Франции. Вскоре оба эти предложения были сняты: побоялись, что с Лемноса, из врангелевских лагерей, на Мадагаскар и во Францию проникнет большевистский дух!

Зато, что ни день, то на столбах появлялись новые объявления о записи в материковую Грецию и на острова. То требовалось 400 человек рабочих для постройки мола в г. Мителене (на о. Лесбосе), то звали туда же собирать маслины, то приглашали разных спецов в Афины и Патрас. Ввиду напряженной борьбы с Кемаль-Пашой в Греции ощущался недостаток в рабочих руках.

Ген. Бруссо,— донцы его звали «ген. Брусков», кубанцы — «ген. Бруссак»,— сначала брал с тех, кто уезжал в Грецию, по 10 драхм за переезд, а потом, чтобы ускорить избавление французской казны от кормления излишних ртов, стал сам выдавать денежное пособие.

— Казаки!— писал он в одной широковещательной прокламации.— Франция, невзирая на истощение от миро-

вой войны, оказала всем крымским беженцам материальную помощь, приняв вас на свое иждивение, и уже 8 месяцев кормит вас. Затраченные ею на ваше пропитание суммы только частично могут быть возмещены вывезенным из России казенным имуществом и пароходами. В силу необходимости, рано ли, поздно ли, Франция должна будет прекратить вам выдачу пайка. Я предпринимаю все меры к тому, чтобы обеспечить вам заработок, а вас заставляет долг чести подумать о том, чтобы поскорее начать зарабатывать себе хлеб своим трудом.

Казаки, даже самые покорные и робкие, теперь видели, что пора самим подумать о себе. Полагаться на начальство было бессмысленно. Оно, менее всего заботясь о благе подчиненных, стремилось продлить существование «армии», возможно дольше мариновать людей в лагерях, чтобы лишнюю пару месяцев пожить вольготной жизнью на получаемое от Врангеля содержание. Свое благополучие оно строило на казачьих горбах.

Утечка с острова в Грецию все продолжалась и продолжалась. Корпуса таяли. Начали уезжать даже младшие, «химические», офицеры. Угар распыления все более заражал лемносский воздух. Распыление стало единственной темой для разговоров и, конечно, для творчества лемносских поэтов. Так, в этот период появились такие частушки:

Ой, яблочко,
Сбоку плоское!
Ну и жизнь у нас пошла,
Жизнь лемносская!
 Что ни день, день-деньской,
 Развлеченьице:
 На Цейлон, Мадагаскар
 Приглашеньице.
Чайка в море плывет,
Кольхается:
Скоро запись на луну
Ожидается.

После отправки казаков в Россию между русским начальником лагерей ген. Абрамовым и французским комендантом ген. Бруссо установились довольно рогатые отношения. Но до открытого разрыва дело не доходило. Так или иначе французы являлись здесь хозяевами и кормили остатки корпусов. Всячески противодействуя распылению, ген. Абрамов и другие военные начальники должны были

полей-неволей соблюдать desougar приличия в своих отношениях с французскими властями.

Зато информаторы и лагерные поэты беспощадно издевались над ними. Всякое новое французское предложение об отправке в ту или иную страну сейчас же бралось на зубок и разделявалось под орех, иногда не без основания. В стенных газетах то и дело мелькали шаржи и карикатуры на французов. В «Вестнике Донского штаба» один раз появилось стихотворение под заглавием «Кунсткамера»:

Для вас коллекция моя
Открыта целый день, друзья.
Смотрите: номер первый тут,
Его Бразилией зовут.
Ну, что за дивная страна!
Богатством славится славна.
Там нет художеств и наук,
Зато есть кофе и бамбук,
Растет и рис, растет табак,
Работу там отыщет всяк.
Жара там — семьдесят в тени,
Бывают даже жарче дни.
Рабочий каждый там холоп
И лихорадки гонят в гроб.
Извольте, вот Мадагаскар...
Не правда ль, славный экземпляр?
Чудесный остров, лучше всех;
Отказываться — просто грех.
Народ там беспросветно дик,
Зато свинцовый есть рудник,
В котором двести человек
Работать могут весь свой век.
Вот Аргентина, — что за край!
Там не житье, а прямо рай.
Какие степи, — что твой Доп!
Селись, кто нахarem рожден.
Налог пустынный там берут:
Тебе полнуда, власти нуд.
Что? не угодно? Mille pardons...
Вот Тонга, Фиджи, вот Цейлон,
Извольте, вот вам Занзибар...
Ужель не правится товар?...
Борнео, Ява, — просто шик,
Ну, не угодно ль Мартиник?
Извольте остров вам любой,
Скорее только с плеч долой.

Из других перлов лемносской сатиры на французов вообще, и в частности на главного распылителя армии Врангеля ген. Пелле, следует упомянуть несколько неуклюжую басню «Звери», которая вошла в рукописный «Лемносский сборник», составленный стараниями уполномоченного Земского союза на острове М. П. Шаповаленко:

На матушке Руси, весенним ярким днем,
В лесу случился бой звериный.
Таков уж век, в котором мы живем:
Везде погром,
Деревня будь, хоть остров, город будь старинный.
Два волка и медведь повоевали власть,
Немало мелюзги попалося им в пасть,
Но сила вражья их одолевает,
И неудачников лишь бег спасает,
Чтоб не достаться злобному врагу.
Из лесу выбежав, в деревню своротили.
И к мужику
Ростовщику
Во двор зашли, приюта попросили.
Мужик тот Пантелей,
Хоть испугались этаких гостей,
Но и смекнул (он парень был неглупый),
Что ежели гостей во хлев замкнуть,
Да силушки лишить их как-нибудь,
Так можно спекулировать:
На всех на трех прекрасные тулузы...:
— Добро пожаловать!— сказал им парасев
И запер в хлев.
Прошла неделя, вот идет вторая.
Дает гостям мужик все хуже корм,
Держась по рм
И граммами их пойло измеряя.
Томятся гости в тягостном плепу.
Тоска им сердце гложет,
Работы нет в хлеву и быть ее не может.
— Добро бы снова на войну,—
Так нет же! Пантелей их не пускает.
— Зачем вам воевать,— он рассуждает,—
Еще меня вы втянете в беду,
А воевать я нынче не пойду.
Еще неделя. Корм все хуже, хуже,
И брюхо у зверей все делается уже.
Смекнув, что звери, отощав
И умирив свой буйный нрав,
Ему не страшны боле,
Мужик тот Пантелей
О вешнем о Николе
Дарит такую милостью гостей:
— А пу-ка, милье, снимай тулузы с туши,
Чтоб возместить убыток мой!
Довольно вам сидеть и бить баклуши.
Подпяли звери вой.
— Помилуй, говорят, да чем мы виноваты,
Что без труда сидим в хлеву?
Во сне и наяву
Мы помним, что не только мы солдаты,
Но и рабочий люд. Вот волк —
Не только в бой водить умеет полк,
Кузнец искусный он к тому же.
Ну, а медведь? Хоть чином генерал,

Косить умеет он тебя не хуже,
Тебя, бродяга и нахал.
В плену нас держишь да корить дерзашь,
Да в дармоедстве укоряешь,
Ну, а попробуй дверь открыть:
Тебе свою покажем пруть.

Не правда ль, на Лемносе мы имеем
Знакомство с таким же Пантелеем.

Французов очень мало трогало это зубоскальство. Рассматривая врангелевское начальство лишь как полицию, необходимую для водворения порядка в лагерях, они продолжали свое дело.

Ген. Врангель знал, что каждый, кто уходил из армейской организации, потерянный человек для белого стана.

Физический труд, который ждал казаков на воле,— лучший агитатор за власть Советов. Свободная жизнь избавляла казака от начальнического влияния и заставляла позабыть о «войне до победы», а работа напоминала ему о том, что он такой же сын трудового народа, как и все русское крестьянство.

Глава южнорусской контрреволюции более всего боялся пробуждения этого голоса в казаке. Нахождение под его знаменами казаков давало ему основание заявлять, что русский землевладельческий класс тяготеет к белому стану. Поэтому надо было всячески мешать осознанию казаками ошибочности того пути, по которому вели его атамань, осознанию своей общности с тем трудовым русским крестьянством, которое в это время созидало совместно с рабочим классом новый порядок на развалинах низвергнутого помещичье-капиталистического строя.

Об удержании казаков на Лемносе не могло быть и речи. Приходилось думать о предоставлении казакам такой работы в чужих странах, чтобы не нарушалась войсковая организация.

Ген. Шатилов, орудуя в Сербии, наконец, договорился с Пашичем, который дал согласие на въезд в эту страну 5000 бывших врангелевцев, в организованном виде, для работы на шоссежных дорогах, и тысячи человек для службы в качестве солдат пограничной стражи¹²⁷.

Чтобы поднять настроение лемноских пленников, был пущен слух о том, что Сербия принимает всю армию Врангеля, которая будет существовать там в скрытом виде. Ген. Абрамов даже издал секретную инструкцию, где ука-

зывались те меры, какие надо принимать на работах для сохранения целостности армии и связи между ее частями.

Так как, за избытком в «русской» армии офицеров, в Сербии не всякий мог рассчитывать на командную должность, избавляющую от физического труда, то от офицеров во всех частях отобрали подписку в том, что они желают оставаться в армии, будут подчиняться распоряжениям начальства и согласны, в случае надобности, служить и за рядовых, т. е. простых рабочих. Всех, кто не соглашался дать такую подписку, предписывалось переводить на беженское положение.

«Беженский батальон» существовал на о. Лемносе, играя роль дисциплинарной части. Всякий, кто пытался открыто протестовать против вопиющих беззаконий начальства, немедленно исключался из «армии» и уплывал «к берегам беженских селений». Эти парии жили отдельно на кубанской стороне залива, не получали денежного «пособия», чистили отхожие места и т. д. Ген. Абрамов воспретил им даже появляться в лагере, где квартировали войсковые части. Должность командира этого батальона занимал старый выжига, полков. Араканцев, тянувший и обиравший беженцев. Однако все его художества по обыкновению покрывались генералом Абрамовым.

Грядущий крепостнический строй в Сербии очень окрылил верхи и удручающе подействовал на низы.

— Значит, мы там будем работать, а начальство заделается нашими старостами? Мы обливаемся потом, а они папироски покуривают за наш счет... Работа кончилась, строем домой. Рабский труд? Работать на начальство? Не бывать тому... Только бы вывезли, а там все равно разбежимся. Станем работать сами, сами за себя будем наниматься, без офицера!

Офицеры, которые предчувствовали, что в Сербии им не придется занимать командных должностей, а предстоит тяжелый физический труд наравне с простыми казаками, тоже волновались. В пограничную же стражу сербы принимали русских исключительно на должности простых рядовых, подчиняя их сербскому комсоставу.

Офицеров боевых,
Кадровых, отличных,
Превращают в рядовых
Сербских пограничных,—

отозвался по этому поводу в своей стихотворной Лемносской летописи полк. Б. Жиров.

Зато командиры частей, предполагая, что в Сербии упрочится дисциплина, захорохорились. Недалекий «Ген-Гус», генерал Гусельщиков, теперь не жалел бранных слов по адресу непослушных заштатных офицеров, которых он свел в особую офицерскую сотню. Комендант штаба корпуса полк. Греков начал цукать штабную комендантскую сотню:

— Вот подождите, подтяну вас в Сербии. Там не то будет.

На другой день сотня вся перешла на беженское положение, а затем уехала в Россию.

В то время, как ген. Шатилов имел некоторый успех в Сербии, в Болгарию проникли из Константинополя казачьи демократические деятели П. Р. Дудаков и Л. В. Белашов, стоявшие во главе «Общеказачьего сельскохозяйственного союза»¹²⁸.

Эта организация имела целью извлекать казаков из-под влияния Врангеля, увозить их из лагерей и расселять в балканских странах, как свободных граждан. Земледельческое правительство Стамболийского дало свое согласие на прием тысячи человек, тоже для разных общественных и государственных работ¹²⁹. Французы, спешившие избавиться от гостей, взялись перевезти эту партию. Генерал Абрамов вместо беженцев, вышедших из армии, — таких только и хотел вывозить союз, — подсунил Гундоровский полк, в который свели все, что уцелело от дивизии Гусельщикова. Французам было безразлично, какая тысяча ртов списывалась с их довольствия, числящихся или не числящихся в армии Врангеля. Болгары, принимая артель рабочих, тоже мало интересовались ее внутренней структурой.

Затея сельскохозяйственного союза лопнула. Вместо того, чтобы отвлечь от Врангеля возможно больше казаков, союз, совершенно неожиданно для себя, помог Главпокомандующему в его плане расселения войсковых частей по Балкапам.

Одновременно с остатками 3-й донской дивизии, направившимися в Болгарию, увезли в Сербию 5777 кубанцев и небольшое число донцов (малочисленные полки гвардейский и технический).

Врангель и его штаб больше всего боялись, конечно, возвращения казаков в Россию. Чтобы не повторилось мартовских событий, оставшихся старались запугать теми ужасами, которые творятся в России и которые ожидают

там всех вернувшихся из-за границы. Кубанцев, для поддержания их духа, все время утешали слухами о том, что они и так скоро вернуться в Россию, так как предстоит «де-сант». Будто и французы согласились, и штаб десантного отряда сформирован, и ген. Шкуро назначен начальником десанта. Врангель еще в Крыму изгнал из своей армии этого генерала, но его именем пользовались в тех случаях, когда хотели обнадежить скорой «работой» казаков с грабительскими замашками.

О России на Лемносе можно было говорить все что угодно, и говорили не стесняясь. Информационные сводки штаба Главнокомандующего изопрямались вовсю и ввали до отвала. Источник этих сведений был всегда один и тот же: мифические беглецы из России, прибывавшие в Константинополь. Информаторам давно уже перестали верить. Когда один из них, чиновник Н., выступил с докладом о положении в России в штабном театре перед спектаклем, его высмеяли. К его беседам на эту тему относились до того несерьезно, что офицеры пугали своих вестовых тем, что в наказание отправят их на две или на три лекции чиновника Н.

Вдруг, в начале июня, французы вывесили возле г. Мудроса, на особом щите, объявление о том, что в Константинополь прибыл «директор бакинских нефтяных промыслов» г. Серебровский и предлагает казакам и солдатам (но отнюдь не офицерам) отправиться в г. Баку на работы. Невзирая на французский караул, информаторы ухитрились сорвать объявление со щита. Однако через сутки таинственные агитаторы, не иначе, как из числа русских, развесили его по лагерям в рукописном виде.

«Решид-Паша» снова стремился к берегам Лемноса, чтобы еще раз вырвать из «стальных рядов» белого стана несколько тысяч пушечного мяса.

— Он, как осьминог, насосется нашего брата на острове и уплывет. Выходитесь долго ли, коротко ли, опростается где-то вдалеке и опять плывет сюда, подавайте еще порцию! — описывали казаки работу этого парохода, столь ненавистного Врангелю.

— Кровавый перевозчик! — шипели информаторы.

— «Решид» все решит! Всю армию изрешетит! — отвечали им низы.

— А ведь нет такого преступления, которое не осталось бы без наказания, — сказал мне однажды о. Андроник.

— Что случилось?

— «Решид-Паша» затонул. Не слух, а правда.

Чтобы несколько охладить радость штабного начальства, генерал Бруссо вывесил объявление о том, что «Решид-Паша» не затонул, а сел на мель возле берегов Лемноса; что из Константинополя вызваны буксирные пароходы и что дня через три удастся стащить его; если же он будет поврежден при этом, то вместо него на остров приплывут другое судно.

Через несколько дней целый и невредимый «Решид-Паша» уже чернел в синеве Мудросского залива.

— В Баку холера. Ехать туда — на верную смерть! — сообщал «Вестник Донского штаба».

— В связи с предстоящим приездом партии казаков, из Одессы в Батум спешно вызван страшный палач Саджая, — писали константинопольские газеты.

Казаки шушукались между собой.

— На убой, знамо дело, везут. Не иначе, как погибать! — вторил в тон информаторам накануне новой отправки в Россию «дидок» Василий, разливая штабным офицерам «какаву» на питательном пункте Земского союза.

— До свидания... Решился... Бог с ним, с этим Ломосом! — кричал он им на следующий день, вытянувшись во весь рост на носу паровой баржи, которая перевозила казаков с пристани на пароход.

— И этот уехал! Какие кряжи сдвинулись! — с изумлением говорили в штабе, где многие знали услужливого «дидка», всегда распинавшегося в верности белому стану.

Мой вестовой Алексей Кравцов, преемник Маркуши, давно поговаривал о возвращении в Россию. В день посадки он встал очень рано, вычистил мои ботинки, согрел чай, разбудил меня и заявил:

— Тоже решился! Дальше оставаться бессмысленно... Конец этой лавочке... Иной надо искать путь в Россию, только не гражданская война.

Я вполне одобрил его намерение, и мы с ним братски расцеловались.

На работы в Баку с Лемноса уехало более 2 1/2 тысяч.

А в Грецию и на соседние острова утка шла своим чередом.

К июлю ген. Бруссо закончил свою миссию на острове Лемносе.

Он распылил казацьи корпуса и получил новое назначение на должность инспектора артиллерии колониальных войск в Алжире. Ген. Абрамов стесня сердце почтил его прощальным обедом и парадным спектаклем.

На смену распылившимся казакам на Лемнос уже везли новых беженцев, малоазиатских греков. Судьба уже седьмой год неизменно покровительствовала коренным лемносцам, преподнося им все новые и новые объекты для обирания.

Мак-Нэб немедленно начал одаривать новых пришельцев.

Все, что осталось от двух корпусов, около 4 тысяч, французы сосредоточили в один лагерь на западном берегу залива. На восточном, возле г. Мудроса, поселились жертвы великодержавнической политики Венизелоса.

Главную массу оставшихся доицов составляли два свободных полка, Каледино-Назаровский и Платовский, и военное училище.

В полках только какая-нибудь четверть годилась для строя, остальная же часть состояла из влитых в эти полки остатков от разных тыловых учреждений, из заштатных генералов и офицеров и т. д.

— Тут братвы мало... Тут самоё офицерё! — заявляли мамонтовские ветераны.

Неугомонный «Общеказачий сельскохозяйственный союз», надутый ген. Абрамовым, не успокоился. Его заправили снова начали энергично хлопотать перед болгарским правительством о разрешении ввезти в Болгарию с Лемноса еще тысячу беженцев. Стамболийский согласился.

Слух о предстоящей отправке новой партии в страну братушек пропик на Лемнос. Б. Жиров писал в своей летописи:

Слышим вдруг со всех сторон
Весть весьма коварну:
Надо тысячу персон
На работы в Варну.
И дебаты вновь идут
Страстные, лихие:
Беженцы ль туда пойдут
Или строевые.

Представитель «Сельскохозяйственного Союза» поздал прибыть на Лемнос, и ген. Абрамов повторил прежний маневр, погрузив Платовский полк. На этот раз

шулерскую проделку «Союзу» удалось заметить и ликвидировать своевременно. Как только полк доехал до Константинополя, французы его там задержали, пересадили на переехавший из России «Решид-Пашу» и вернули на Лемнос. Ген. Абрамов изловчился передать на пароход приказание, чтобы полк не выгружался. Тогда французский комендант пригрозил открыть огонь по пароходу. После этого началась высадка платовцев.

Французы объявили, что в Болгарию нужна артель, а не войсковая часть. Представители союза Г. Ф. Фальчиков и Л. В. Белашов, под прикрытием французских часовых, стали производить запись. Измучившись на неприветливом острове и утратив веру в армию, записывались все, — и офицеры, и врачи, и чиновники, и женщины, и простые казаки, как числившиеся в полках, так и состоявшие в беженском батальоне. Всякому хотелось поскорее вырваться на свет божий из мрака врангелевского лагеря и зажечь новой, осмысленной, самостоятельной жизнью.

9 июля состоялась отправка.

К французской комендатуре с утра то и дело тащатся люди, закинув на спины мешки со своим барахлом и дарами Америки. Тут нет знамен, нет барабанов, сняты погоны, не слышно начальнического окрика. Л. В. Белашов объясняет собравшимся цели «Сельскохозяйственного Союза».

— Мы хотим избавить вас от того морального гнета, в котором вы находитесь здесь, на острове, избавить вас от главенства тех лиц, которые хотят до бесконечности играть в солдатики. Если кто-либо из вас, про приезде в Болгарию, устроится самостоятельно, помимо «союза», то мы будем только рады, так как тогда наша цель будет достигнута.

— Белые рабы! — шинели информаторы по адресу тех, кто хотел покинуть Лемнос, отречься от своего вольного или невольного белого прошлого, разорвать всякую связь с врангелевщиной и заняться мирным трудом в стране братушек.

— Грабьте до конца и воюйте до победы, — отвечали им отъезжающие.

Я был в их числе.

— Кому, кому, а вам-то за измену долгу и родине намыленная веревка в первую очередь, — слышал я по своему адресу угрозы со стороны «спасателей отечества»,

когда шел в толпе на пристань. — Главнокомандующий в Сербии и Болгарии опять соберет под свои знамена всех бывших подчиненных. Вам тогда несдобровать! Не ждите прощения.

Я махнул рукой.

— Посмотрим, как ему удастся собрать... Довольно с него и крымской авантюры... Хватит!

Когда паровая баржа подвезла нас к пароходу, мой взгляд невольно упал на его черную стену, на которой неведомая рука намазала мелом: «Решид-Судьба».

— Решит судьба! — подумал я и начал подниматься по трапу.

Спустя полгода Врангель, действительно, сделал попытку собрать все свое рассеявшееся по Балканам стадо, зажать его в тиски суровой военной дисциплины, подогреть в нем ненависть к Советской власти и держать его наготове для новых кровавых авантур.

Но он натолкнулся на такое страшное сопротивление своих бывших воинов, перековавших мечи на плуги, осознавших правду и скорбь трудовой жизни и уже стремившихся безболезненно вернуться под власть Серпа и Молота, что в эмиграции возникла настоящая гражданская война.

В период ее я находился в том стане, который сокрушал знамена Врангеля.

Крымский неудачник проиграл и эту войну*.

Намыленная веревка осталась без употребления.

* Описание этой борьбы и дальнейших судеб остатков армии Врангеля на Балканах изложены в книге того же автора «В стране братушек», изд. кооперат. т-ва «Московский рабочий», 1923 г.

¹ Генерал-лейтенант Деникин Антон Иванович (1872—1947) — главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России с 26 декабря 1918 г. (8 января 1919 г.) по 22 марта (4 апреля) 1920 г. В начале 1920 г. в состав ВСЮР входили Добровольческий корпус (бывшая армия), Донская армия, Кавказская (с февраля — Кубанская) армия и группа войск Новороссии и Крыма. После поражений на Дону и Кубани Добровольческий корпус (около 30 тыс. бойцов) и меньшая часть Донской армии (около 15 тыс. казаков из 38 тыс.) 12—14 (25—27) марта 1920 г. были эвакуированы из Новороссийска в Крым.

² Генерал-лейтенант Слащов (Слащев) Яков Александрович (1885—1929) — командир 3-го армейского (Крымского) корпуса с декабря 1919 г. В декабре отвел корпус из-под Екатеринослава в Крым и занял позиции на перешейках для защиты полуострова с севера. С апреля по август 1920 г. — командир 2-го армейского корпуса.

³ Чайковский Николай Васильевич (1850—1926) — член ЦК партии народных социалистов, с сентября 1918 г. по январь 1919 г. — председатель «Временного правительства Северной области» (Архангельск), в феврале — марте 1920 г. — член «Южнорусского правительства».

⁴ Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — активный участник создания Добровольческой армии, редактировал издававшуюся в Ростове (до января 1920 г.), а затем в Севастополе (с марта по ноябрь 1920 г.) газету «Великая Россия», официоз белого движения на юге.

⁵ Крымским ханством, феодальным государством монголо-татар, обособившимся от Золотой Орды в 1443 г. и просуществовавшим до присоединения Крыма к России в 1783 г., правили ханы династии Гиреев.

⁶ Махно Нестор Иванович (1889—1934) — из бедных крестьян с Гуляй-Поле Александровского уезда Екатеринославской губернии. В юности сблизился с анархистами, участвовал в террористических актах и «экспроприациях», в 1909 г. был приговорен к 10 годам каторги, которую отбывал в Бутырской тюрьме в Москве. После Февральской революции вернулся в Гуляй-Поле, создал вооруженный отряд и начал борьбу против австро-германских оккупантов и гетманских войск. Смелая и беспощадная борьба против оккупантов и помещиков завоевала ему симпатии украинского крестьянства, удостоившего его наименования «батько». Прикрываясь анархистскими лозунгами «безвластия», вел борьбу против буржуазно-помещичьих режимов и пролетарского государства, вступая по временные соглашения то с одной стороны, то с другой. В 1919 г. вел борьбу против Красной Армии, петлюровцев и денкинцев. Осенью «Революционная повстанческая армия Украины имени Батьки Махно», насчитывавшая 30—35 тыс. бойцов, совершила рейд по денкинским тылам, захватив обширные районы Екатеринославщины и Северной Таврии. Зимой 1920 г. в связи с изгнанием денкинцев с Украины, слиянием некоторых отрядов с Красной Армией и эпидемией тифа махновское движение резко пошло на убыль. Сам Н. И. Махно, объявленный изменником за отказ подчиниться командованию Красной Армии, скрывался в Александровском уезде. Весной

1920 г. растущее недовольство крестьян продразверсткой привело к активизации движения.

⁷ Рыбовол Николай Степанович (1883—1919) — пакауне и во время 1-й мировой войны занимал пост председателя правления Черноморско-Кубанской железной дороги, с декабря 1917 г. — председатель Кубанской краевой рады, один из лидеров «черноморцев», борющихся за автономию Кубани и ее вхождение в «освобожденную от большевиков» Россию на федеративных началах. Активно выступал с критикой реставраторской политики Добровольческой армии. 13 (26) июня 1919 г. был убит в Ростове в гостинице «Палас-отель» у своего номера (№ 72) неустановленными лицами в военной форме. По косвенным данным, убийство было совершено чинами Отряда особого назначения Кавказской армии генерала П. Н. Врангеля.

⁸ Генерал-лейтенант Врангель Петр Николаевич (1878—1928) — барон, из дворян Петербургской губернии, обрусевших псковцев. В 1901 г. окончил Горный институт и вступил в Лейб-гвардии Конный полк рядовым-вольногоопределяющимся, в 1902 г. сдал экзамен на офицерский чин при Николаевском кавалерийском училище, был произведен в корнеты и зачислен в запас гвардейской кавалерии. В феврале 1904 г. добровольно пошел на Русско-японскую войну, в которой участвовал в частях Забайкальского казачьего войска. После войны поступил в Николаевскую академию Генштаба, которую закончил в 1910 г., в 1911 г. прошел курс в Офицерской кавалерийской школе. С мая 1912 г. — командир эскадрона Лейб-гвардии Конного полка. Участвовал в 1-й мировой войне; с сентября 1914 г. — начальник штаба Сводно-Кавалерийской дивизии, затем — помощник командира полка по строевой части; в декабре за боевые отличия был произведен в полковники и назначен флигель-адъютантом; с октября 1915 г. — командир 1-го Нерчинского полка, с декабря 1916 г. — командир 2-й бригады Уссурийской конной дивизии; в январе 1917 г. был произведен в генерал-майоры и назначен командующим Уссурийской конной дивизией, с июля — командующий Сводным конным корпусом. 9 сентября был назначен командиром 3-го конного корпуса, но от должности отказался. После Октябрьской революции уехал в Крым, затем на Дон, где в августе 1918 г. вступил в Добровольческую армию. С августа 1918 г. — начальник 1-й конной дивизии, в ноябре был произведен в генерал-лейтенанты и назначен командиром 1-го конного корпуса, с января 1919 г. — командующий Кавказской Добровольческой армией, с 22 ноября (5 декабря) по 21 декабря (3 января 1920 г.) — командующий Добровольческой армией. С 22 марта (4 апреля) 1920 г. — Главнокомандующий ВСЮР. Во главе остатков армии эвакуировался из Крыма в Турцию в ноябре 1920 г. В 1921—1927 гг., оставаясь Главнокомандующим, жил в г. Сремски Карловци (Сербия), где написал записки о гражданской войне на юге России. В 1924 г. создал «Русский общевосточный союз», занимавшийся сохранением офицерских кадров и разведывательно-диверсионной деятельностью против СССР, состоял его главнокомандующим. Умер в Брюсселе 25 апреля 1928 г.

⁹ Генерал-лейтенант Покровский Виктор Леонидович (1889—1922) — окончил Одесский кадетский корпус в 1906 г., Павловское военное училище в 1908 г. и Севастопольскую авиационную школу в 1914 г. Участвовал в 1-й мировой войне; служил во 2-м корпусном Сибирском авиаотряде, с января 1906 г. — командир 12-го армейского авиаотряда. В январе 1918 г. в чине капитана сформировал на Кубани добровольческий отряд, действовавший против революционных войск в районе Екатеринодара. 24 января (6 февраля) был произведен войсковым атаманом Кубанского казачьего войска

генералом А. П. Филимоновым в полковники и назначен командующим войсками Кубанского края, в марте был произведен в генерал-майоры. С июня — командир Кубанской конной бригады, затем — начальник Кубанской конной дивизии, с января 1919 г. — командир 1-го конного корпуса, с февраля по август — командир 1-го Кубанского конного корпуса, был произведен в генерал-лейтенанты. С декабря 1919 г. по февраль 1920 г. — командующий Кавказской армией ВСЮР. В мае 1920 г., не получив командной должности в Русской армии генерала П. Н. Врангеля, эмигрировал. Жил в Париже, Берлине и Софии, активно боролся против Советской России и демократических кругов казачьей эмиграции. Убит 9 ноября в Болгарии в стычке с полицией.

¹⁰ 7 (20) ноября 1919 г. по приказу командующего Кавказской армией генерала П. Н. Врангеля в Екатеринодаре генералом В. Л. Покровским был повешен член Кубанской рады А. И. Калабухов, входивший в делегацию рады, подписавшей в Париже договор с делегацией «Республики горских народов Кавказа», которым устанавливалась «полная политическая независимость» Кубани. 11 других лидеров «черноморцев» были высланы за границу.

¹¹ «Южнорусское правительство» было сформировано в начале февраля (старого стиля) в Екатеринодаре на основании соглашения А. И. Деникина с Верховным кругом Дона, Кубани и Терека, которым А. И. Деникин пытался укрепить союз с казачествами. Добровольческое офицерство отнеслось к этому правительству с озлоблением, чиновничий аппарат саботировал его решения. В результате правительство оказалось недееспособным и было упразднено А. И. Деникиным 17 (30) марта в Феодосии.

¹² Генерал-лейтенант Кельчевский Анатолий Киприанович (1869—1923) — окончил Псковский кадетский корпус, 2-е военное Константиновское училище в 1891 г. и Николаевскую академию Генштаба в 1900 г. С июля 1904 г. — старший адъютант штаба Виленского военного округа, в декабре 1908 г. был произведен в полковники, с января 1909 г. — заведующий обучающимися офицерами в Николаевской военной академии, с июня 1914 г. — экстраординарный профессор Николаевской военной академии. Участвовал в 1-й мировой войне; в июле 1915 г. был произведен в генерал-майоры, с ноября — генерал-квартирмейстер штаба 9-й армии. Весной 1918 г. вступил в Донскую армию, с мая — начальник штаба Восточного (Царицынского) фронта, с февраля 1919 г. — начальник штаба Донской армии (с марта 1920 г. — корпуса). 5 (18) апреля вместе с командиром корпуса генералом В. И. Сидоринным был снят П. Н. Врангелем с должности и отдан под суд. В мае выехал из Крыма, до 1923 г. жил в Берлине, где редактировал военнопольный журнал «Война и мир».

¹³ Хвалебные высказывания И. М. Калинина в адрес С. М. Буденного объясняются прежде всего тем, что бывший урядник, затем командующий 1-й Конной армией, пользовался немалым уважением белых казаков паряду с вахмистром Б. М. Думенко, командиром Конно-Сводного корпуса, и войсковым старшиной Ф. К. Мироновым, командующим 2-й Конной армией. Однако уже в то время, когда И. М. Калинин писал свои воспоминания, начал складываться культ С. М. Буденного и наметилась тенденция приписывания ему боевых заслуг Б. М. Думенко и Ф. К. Миронова, репрессированных, соответственно, в 1920 и 1921 гг. на основании клеветнических обвинений.

¹⁴ «Первопоходники» — неофициальное наименование чинов Добровольческой армии, участвовавших в 1-м Кубанском («Ледянном») походе с 9 (22) февраля по 30 апреля (13 мая) 1918 г. из Ростова-на-Дону

до Екатеринодара и обратно в район станиц Мечетинская, Егорлыкская и с. Гулий-Борисовка.

¹⁵ Имеются в виду дивизии Добровольческой армии — Корниловская, Дроздовская, Марковская — и Алексеевская бригада.

¹⁶ Генерал от инфантерии Кутепов Александр Павлович (1882—1930) — из дворян, окончил гимназию в Архангельске и С.-Петербургское пехотное юнкерское училище в 1904 г. Участвовал в Русско-японской войне в рядах 85-го Выборгского полка. В 1907 г. за боевые отличия был переведен в Лейб-гвардии Преображенский полк, в котором он начал 1-ю мировую войну в чине штабс-капитана. В сентябре 1916 г. был произведен в полковники, с 1917 г. — командир Лейб-гвардии Преображенского полка. В декабре 1917 г. он расформировал полк и уехал на Дон, где вступил в Добровольческую армию. Сначала командовал ротой, затем 1-м и 3-м Офицерскими батальонами; 30 марта (12 апреля) 1918 г. был назначен командиром Корниловского ударного полка. С июня — начальник 1-й пехотной дивизии, с августа — Черноморский военный губернатор, в ноябре был произведен в генерал-майоры. С января 1919 г. — командир 1-го армейского корпуса, в июле был произведен в генерал-лейтенанты. 21 декабря (3 января 1920 г.) Добровольческая армия была сведена в Добровольческий корпус под командованием А. П. Кутепова. В составе Русской армии генерала П. Н. Врангеля командовал: с апреля — 1-м армейским корпусом, с сентября — 1-й армией. В ноябре 1920 г. с остатками Русской армии эвакуировался в Турцию (оттуда в 1921 г. переехал в Болгарию), где командовал 1-м армейским корпусом до высылки из Болгарии за антиправительственную деятельность в мае 1922 г. В «Русском общевоинском союзе» руководил разведывательно-диверсионной деятельностью против СССР. После смерти генерала П. Н. Врангеля в апреле 1928 г. стал председателем РОВС. 26 января 1930 г. был похищен в Париже агентами ОГПУ СССР и умер от сердечного приступа на борту советского теплохода во время переправки из Марселя в Новороссийск.

¹⁷ После поражений ВСЮР на Кубани в марте 1920 г. Кубанская (бывшая Кавказская) армия и часть Донской армии отступили в район Туансе. С 29 марта (11 апреля) по 6 (19) апреля в Крым из района Туансе с помощью английского флота было перевезено около 12 тыс. донских и кубанских казаков и 3 тыс. беженцев, а также небольшое количество лошадей. Не пожелавшие ехать в Крым кубанские казаки отступили в район Сочи, а затем к границе Грузии, где в середине мая сдались Красной Армии. Всего было зарегистрировано 34 тыс. сдавшихся казаков.

¹⁸ В июне на Кубани на почве недовольства продрозверсткой вспыхнули мятежи, в которых приняли участие помилованные казаки бывшей Кубанской армии. В июле из повстанческих отрядов была сформирована «Армия возрождения России» во главе с генералом (у И. М. Калинина ошибочно — полковник) М. А. Фостиковым (в середине августа — более 3 тыс. пугыков и 2,4 тыс. сабель), действовавшая в горных отделах — Баталпаинском, Лабинском и Майкопском.

¹⁹ Генерал-лейтенант Шкуро (настоящая фамилия — Шкура) Андрей Григорьевич (1886—1947) — казак ст. Пашковской Кубанской области, из семьи офицера, окончил 3-й Московский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище в 1907 г. Служил в 1-м Уманском, а с 1908 г. — в 2-м Екатеринодарском полках. Участвовал в 1-й мировой войне; с августа 1914 г. служил в 3-м Хоперском полку, в декабре 1915 г. сформировал партизанский отряд (Кубанский конный отряд особого назначения), во главе которого оперировал в тылу австро-германских войск. После февральской революции отряд был переброшен

и экспедиционный корпус генерала Баратова, действовавший в Персии против турецкой армии. В июне 1918 г. в чине полковника сформировал из казаков Баталнашинского отдела Кубанскую партизанскую отдельную бригаду, во главе которой боролся против Красной Армии в Минералодском районе; с сентября командовал сформированной им 1-й Кавказской дивизией; с мая 1919 г. — командир 3-го Кубанского конного корпуса, вошедшего в состав Добровольческой армии. В ноябре по состоянию здоровья оставил корпус и выехал на Кубань, где в январе 1920 г. приступил к формированию Кубанской армии, которой командовал до февраля. В мае 1920 г., не получив командной должности в Русской армии генерала П. Н. Врангеля, эмигрировал. Жил в Париже, в 1939—1945 гг. сотрудничал с гитлеровцами, занимая должность начальника казачьего конного резерва «Казачьего стана» генерала П. Н. Краснова. В 1945 г. был взят в плен англичанами в Австрии и выдан советскому командованию. 17 января 1947 г. казнен в Москве по приговору Верховного Суда СССР вместе с генералом П. Н. Красновым.

²⁰ Генерал-лейтенант Богасевский Африкан Петрович (1872—1934) — казак ст. Каменской, из семьи офицера, окончил Донской кадетский корпус в 1890 г., Николаевское кавалерийское училище в 1892 г. и Николаевскую академию Генштаба в 1900 г. В 1904—1908 гг. служил в штабе Петербургского военного округа; в декабре 1908 г. был произведен в полковники и в январе 1909 г. назначен начальником штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, в рядах которой начал 1-ю мировую войну. С октября 1914 г. — командир 4-го гусарского Мариупольского полка, с января 1915 г. — командир Лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка, в марте был произведен в генерал-майоры и в сентябре зачислен в Свиту Е. В., с октября — начальник штаба Походного атамана всех казачьих войск великого князя Бориса Владимировича, с апреля 1917 г. — начальник Забайкальской казачьей дивизии и с августа — 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. В декабре по вызову А. М. Каледина уехал на Дон; с 5 (18) января по 9 (22) февраля 1918 г. — командующий войсками Ростовского района. Участвовал в «Ледяном» походе Добровольческой армии; с 12 (25) февраля — командир Партизанского пешего казачьего полка, с 17 (30) марта — командир 2-й бригады. С мая 1918 г. — управляющий Отделом иностранных дел и председатель Совета управляющих отделами на Дону, в августе был произведен атаманом Всевеликого Войска Донского генералом П. Н. Красновым в генерал-лейтенанты. 6 (19) февраля 1919 г. после ухода генерала П. Н. Краснова Войсковым кругом был избран атаманом Всевеликого Войска Донского. В ноябре 1920 г. эвакуировался из Крыма вместе с остатками Русской армии генерала П. Н. Врангеля. До ноября 1921 г. жил в Константинополе, затем в Софии, с октября 1922 г. в Белграде, с ноября 1923 г. — в Париже. До своей смерти оставался на посту Донского атамана, являлся председателем Объединенного совета Дона, Кубани и Терка (с декабря 1920 г.) и почетным председателем Казачьего союза.

²¹ Имеется в виду рейд 4-го Донского конного корпуса под командованием генерала К. К. Мамантова по тылам Южного фронта (Тамбовской и Воронежской губерниям) 10 августа — 19 сентября 1919 г.

²² Генерал-лейтенант Мамантов (Мамонтов) Константин Константинович (1869—1920) — казак ст. Нижне-Чирской, из семьи казачьего офицера, окончил Николаевский кадетский корпус в Петербурге и Николаевское кавалерийское училище в 1890 г., откуда был выпущен в Лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк. Участвовал в Русско-японской войне в рядах конного отряда генерала П. И. Мищенко, по окончании войны был приписан к Донскому казачьему войску, служил

в 1-м Донском казачьем полку, в 1912 г. был произведен в полковники. Участвовал в 1-й мировой войне; с апреля 1915 г. — командир 6-го Донского казачьего полка. В начале 1918 г. сформировал отряд из казаков 2-го Донского округа, в феврале — мае во главе отряда участвовал в «Степном» походе генерала П. Х. Попова по Сальским степям, с апреля командовал сборными отрядами 2-го Донского округа, затем — группой войск, формировавшейся в Донской армии. С мая 1918 г. по февраль 1919 г. — командующий Восточным (Царицынским) фронтом, затем — командир 4-го Донского конного корпуса. В декабре за поражения и разложение корпуса был отстранен от командования. 1 (14) февраля умер от тифа в Екатеринодаре.

²³ 4-й Донской конный корпус в составе конной группы генерала А. А. Павлова (он же — комкор 4-го Донского с декабря 1919 г.) 25 февраля 1920 г. у Средне-Егорлыкского потерпел поражение в бою против 1-й Конной армии, пытаясь остановить ее продвижение на Тихорецкую. Егорлыкскому сражению предшествовала переброска конной группы 3—7 (16—20) февраля от хут. Веселого до ст. Торговой; во время движения по незаселенному левому берегу р. Маныч на сильном ветру и морозе 25° группа численностью около 11 тыс. пашек потеряла половину состава замерзшими и обмороженными.

²⁴ Донское военное училище — было организовано в 1919 г. и окончательно сформировано в апреле 1920 г. в Евлатории. В июле было частью слито с Атаманским военным училищем, частью пересформировано в Донской пластунский юнкерский полк.

²⁵ «Зелеными» назывались скрывавшиеся в лесах партизаны, в основном крестьяне — дезертиры и уклоняющиеся от службы в белой армии. Находясь большей частью под влиянием эсеров, отряды «зеленых» в Причерноморье вели вооруженную борьбу против денкинцев.

²⁶ Атаманское военное училище — бывшее Новочеркасское казачье юнкерское училище (основано в 1869 г.). После Октябрьской революции прекратило существование, и чины его, вокруг которых группировались белоказачьи партизанские отряды, выступили в составе отряда походного атамана генерала П. Х. Попова в «Степной» поход (с 12 (25) февраля по 5 (18) мая 1918 г.). С июня 1918 г. училище приступило к занятиям в Новочеркасске, 8 (21) ноября 1919 г. было переименовано в Атаманское военное училище. В составе Русской армии генерала П. Н. Врангеля принимало участие в боевых действиях в Северной Таврии и на Кубани. С ноября 1920 г. находилось на о. Лемнос, после переезда в Болгарию прекратило существование в 1923 г.

²⁷ Генерал-лейтенант Сидорин Владимир Ильич (1882—1939) — из потомственных дворян, казак ст. Есауловской Области войска Донского, окончил Донской кадетский корпус в 1900 г., Николаевское инженерное училище в 1902 г. и Николаевскую военную академию в 1910 г. Участвовал в Русско-японской войне; в 1904—1905 гг. служил во 2-м Восточно-Сибирском саперном батальоне, Владивостокской крепостной роте, 4-м Заамурском железнодорожном батальоне. В 1913 г. был прикомандирован в качестве летчика-наблюдателя к Офицерской воздушной школе, где получил летную подготовку. Участвовал в 1-й мировой войне; с июля 1915 г. — начальник штаба 102-й пехотной дивизии, в 1917 г. был произведен в полковники. В декабре 1917 — январе 1918 гг. — начальник штаба командующего войсками Северного фронта (воронежское направление) походного атамана Донского казачьего войска генерала А. М. Пазарова, с 12 (25) февраля — начальник штаба отряда походного атамана генерала П. Х. Попова, с 12 (25) апреля — началь-

ник штаба Донской армии, был произведен в генерал-майоры. 5 (18) мая, не пожелав служить под началом генерала П. Н. Краснова, избранного атаманом Всевеликого Войска Донского, вышел в отставку. 2 (15) февраля 1919 г. назначен А. И. Деникиным командующим Донской армией, был произведен в генерал-лейтенанты. В марте 1920 г. был назначен командиром Донского корпуса, сформировавшегося в Евпатории из остатков эвакуированной из Новороссийска Донской армии. 5 (18) апреля смещен со своего поста генералом Н. Н. Врангелем и вместе с начальником штаба корпуса генералом А. К. Кельчевским отдан под суд. В мае 1920 г. выехал за границу, жил в Праге.

²⁸ Тютюнник Юрий Осипович — прапорщик царской армии, в 1918 г. — начальник штаба «Украинской народной армии» С. В. Петлюры, в мае — июле 1919 г. — начальник штаба войск атамана Н. А. Григорьева.

²⁹ Генерал-лейтенант Скоропадский Павел Петрович (1873—1945) — в период австро-германской оккупации (апрель — декабрь 1918 г.) являлся гетманом Украины.

³⁰ Осваг — Осведомительное агентство при председателе Особого совещания. Было организовано в сентябре 1918 г., ведало печатной и устной пропагандой, одновременно выполнял функции контрразведки и территориального контроля за настроениями населения. В феврале 1919 г. было реорганизовано в Отдел пропаганды, просуществовавший до марта 1920 г., однако название «Осваг» (как и определение «осважениый») применительно к органам пропаганды и прессе продолжало бытовать на территории ВСЮР, став нарицательным.

³¹ Особое совещание при главкоме ВСЮР — законосовещательный и исполнительный орган. Существовало с августа 1918 г. по декабрь 1919 г., состояло из начальников ведомств и управлений, находилось в Екатеринодаре, с августа 1919 г. — в Ростове.

³² 29 марта (11 апреля).

³³ Созванный А. И. Деникиным для выборов нового главкома Военный совет командного состава ВСЮР заседал в Севастополе в Большом дворце командующего Черноморским флотом 21—22 марта (3—4 апреля). Прибывший из Константинополя генерал П. Н. Врангель ознакомил участников с нотой правительства Великобритании, которое в ультимативной форме потребовало прекратить вооруженную борьбу и заключить перемирие с Советской Россией, угрожая в противном случае прекратить материальную помощь.

³⁴ На новочеркасском направлении наступал и 25 декабря 1919 г. (7 января 1920 г.) овладел городом Конно-Сводный корпус Б. М. Думенко. 1-я Конная армия С. М. Буденного наступала на ростовском направлении и овладела городом 26 декабря (8 января).

³⁵ К началу 1920 г. боевой элемент Донской армии, по данным штаба главкома ВСЮР, не превышал 19 тыс. пистолетов и 19 тыс. сабель. Тыловые учреждения и части армии насчитывали более 60 тыс. чинов.

³⁶ Генерал-майор Секретев Александр Степанович — казак ст. Нижне-Чирской, участвовал в 1-й мировой войне в рядах 24-го Донского казачьего полка, в 1919 г. командовал дивизией, входившей в состав 4-го Донского конного корпуса генерала К. К. Мамантова, в конце февраля 1920 г. по решению совещания командиров частей, входивших в конную группу генерала А. А. Павлова, заменил последнего и командовал группой до эвакуации Новороссийска. В Русской армии генерала П. Н. Врангеля командной должности не получил. В ноябре 1920 г. эвакуировался вместе с остатками армии в Турцию, в 1921 г. переехал в Болгарию, в конце 1922 г. возвратился в Советскую Россию.

³⁷ Генерал от кавалерии Краснов Петр Николаевич (1869—1947) — казак ст. Вешенской, с мая 1918 г. по февраль 1919 г. атаман Всевеликого Войска Донского.

³⁸ 26 декабря 1918 г. (8 января 1919 г.) на станции Торговая состоялась встреча Главнокомандующего Добровольческой армией генерала А. И. Деникина и атамана Всевеликого Войска Донского генерала П. Н. Краснова. В результате встречи было достигнуто соглашение об оперативном подчинении Донской армии А. И. Деникину. В тот же день А. И. Деникин издал приказ № 1 о своем вступлении, на основании соглашения с атаманами Донского и Кубанского войск, в главное командование объединенными Вооруженными Силами на Юге России. В приказе П. Н. Краснова от 26 декабря указывалось, что этим соглашением Конституция Войска Донского, утвержденная Большим Войсковым кругом 15 (28) сентября 1918 г., нарушена не будет, а также не будут затронуты «достоинные донских казаков, их земли и недра земельные, условия быта и службы».

³⁹ Генерал от кавалерии Каледин Алексей Максимович (1861—1918) — казак ст. Усть-Хоперской, атаман Донского казачьего войска с 17 (30) июня 1918 г. по 29 января (11 февраля) 1918 г.

⁴⁰ Имеется в виду Венесуэльский восстание, начавшееся 11 марта 1919 г.

⁴¹ Генерал от кавалерии Попов Петр Харитонович (1867—1960) — казак ст. Новочеркасской, походный атаман Донского казачьего войска с 30 января (12 февраля) 1918 г. по февраль 1919 г.

⁴² Генерал-лейтенант Денисов Святослав Варламович (1878—1957) — казак ст. Луганской, с мая 1918 г. по февраль 1919 г. — управляющий Военным и Морским отделом Всевеликого Войска Донского и командующий Донской армией.

⁴³ В декабре 1919 г. 1-я Конная армия С. М. Буденного наступала от Воронежа через Донбасс на Таганрог — Ростов, сдерживаемая главным образом частями Добровольческой армии. Переброшенный с царичинского направления на богучарское, Конно-Сводный корпус Б. М. Думяко наступал на Миллерово — Новочеркасск, сдерживаемый основными силами Донской армии.

⁴⁴ Неофициальное название «цветные» укрепилось во ВСЮР за именными, т. е. шефскими, полками, батареями, бригадами и дивизиями (Корниловскими, Марковскими, Дроздовскими и Алексеевскими) из-за присутствия каждой части определенных цветов фуражек, погон, нарукавных знаков и шевронов. Для формы одежды всех «цветных» частей характерен напшитый у всех чинов на левом рукаве шинелей, кителей, френчей и гимнастеров шеврон цветов русского национального флага (бело-сине-красный) углом вниз.

⁴⁵ 21 декабря 1919 г. (3 января 1920 г.) А. И. Деникин подчинил в оперативном отношении Добровольческий корпус генерала А. П. Кутепова командующему Донской армией генералу В. И. Сидорину. 2 (15) марта по причине нарастающего конфликта между штабом армии и штабом корпуса А. И. Деникин подчинил корпус непосредственно себе.

⁴⁶ Имеется в виду выпущенная в 1920 г. в Константинополе книга Г. Н. Раковского «В стане белых. От Орла до Новороссийска».

⁴⁷ Чернов В. М. (1876—1952) — один из лидеров и теоретиков партии эсеров, в 1920 г. нелегально выехал из Советской России, организовал в Праге выпуск центральных органов партии — еженедельника «Воля России» и журнала «Революционная Россия».

⁴⁸ Генерал-лейтенант Романовский Иван Павлович (1877—1920) — с февраля 1918 г. занимал должность начальника штаба Добровольческой армии, с января 1919 г. по март 1920 г. — начальник штаба Главкома ВСЮР. 5 апреля 1920 г. вместе с А. И. Деникиным он прибыл из

Феодосии в Константинополь, где в здании русского посольства был убит русским офицером, которому удалось скрыться. Розыск, проведенный английской полицией, не дал результатов. 9 февраля 1936 г. в газете «Последние новости», издаваемой в Париже П. Н. Миллюковом, была опубликована статья Романа Гуля «Кто убил генерала Романовского?». Автор привел убедительные данные, свидетельствующие о том, что убийство организовала тайная черносотенно-монархическая офицерская организация, группировавшаяся вокруг русского консульства, считавшая, как и все монархическое добровольческое офицерство, И. П. Романовского «жидомасоном» и главным виновником поражений ВСЮР. Убийцей был член этой организации, сотрудник Константинопольского отделения Освага поручик М. А. Харузин, спустя несколько месяцев погибший при выполнении разведывательного задания в Турции.

⁴⁹ И. М. Калинин ошибается. 11 (24) декабря 1919 г. на ст. Ясиноватая встретились командующий Добровольческой армией генерал П. Н. Врангель и командующий Донской армией генерал В. И. Сидорин. По предложению П. Н. Врангеля было решено собрать 17 (30) декабря в Ростове совещание командармов (включая и командующего Кавказской армией генерала В. Л. Покровского, с которым П. Н. Врангель договорился отдельно) для решения вопроса о смене главнокомандующего ВСЮР. А. И. Деникин, узнав о намерениях П. Н. Врангеля, разослал командармам телеграмму с запрещением такого совещания. Описывая в дальнейшем процесс по делу В. И. Сидорина и А. К. Кельчевского, И. М. Калинин ошибочно трактует события так, будто В. Л. Покровский присутствовал 11 (24) декабря в Ясиноватой.

⁵⁰ И. М. Калинин, как и большинство офицеров, не располагал достоверной информацией. П. Н. Врангель прибыл в Севастополь утром 22 марта (4 апреля) и выступил в совете, в тот же день его кандидатура была одобрена советом и предложена А. И. Деникину для назначения на пост главнокомандующего ВСЮР. Вечером А. И. Деникин, оставшийся в Феодосии, подписал соответствующий приказ.

⁵¹ Генерал-лейтенант Писарев Петр Константинович (1875—1967) — окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище в 1898 г., служил в частях Донского казачьего войска. Участвовал в 1-й мировой войне; в 1917 г. — полковник, командир 42-го Донского казачьего полка. В декабре 1917 г. вступил в Добровольческую армию, участвовал в «Ледяном» походе; с февраля 1918 г. — помощник командира Партизанского пешего казачьего полка, с лета — командир этого полка, в ноябре был произведен в генерал-майоры и назначен командиром бригады 2-й дивизии. С февраля 1919 г. — командир бригады 4-й дивизии, с июля — начальник 6-й пехотной дивизии, с августа — командир 1-го Кубанского конного корпуса. В марте 1920 г. командовал группой войск из остатков Кубанской армии, 4-го Донского конного корпуса, Терско-Астраханской бригады и других мелких частей, отступившей в район Туапсе. Вместе с частью этой группы был эвакуирован в Крым и в апреле назначен начальником гарнизона и комендантом крепости Севастополь. С мая — командир Сводного корпуса, после расформирования которого в июле был назначен комендантом крепости Севастополь, с августа — командир 1-го армейского корпуса. В ноябре 1920 г. эвакуировался в Турцию.

⁵² Генерал-лейтенант Абрамов Федор Федорович (1870—1963) — казак ст. Митякинской, из семьи донского генерала, окончил Петровско-Полтавский кадетский корпус. 3-е военное Александровское и Николаевское инженерное училища в 1891 г. и Николаевскую академию Генштаба в 1898 г. Участвовал в Русско-японской войне; в 1904—

1905 гг.— штаб-офицер для поручений при полевом дорожном управлении Маньчжурской армии. С сентября 1905 г.— начальник штаба 4-й Донской казачьей дивизии, в декабре 1906 г. был произведен в генерал-майоры, с мая 1907 г.— начальник штаба 13-й кавалерийской дивизии, с июля 1912 г.— командир 1-го уланского Санкт-Петербургского полка, в январе 1914 г. был произведен в генерал-майоры и назначен начальником Тверского кавалерийского училища. Участвовал в 1-й мировой войне; с сентября 1915 г.— командующий 15-й кавалерийской дивизией, с ноября 1916 г.— начальник войскового штаба Донского казачьего войска. В январе 1918 г. возвратился на Дон; сначала командовал Северной группой партизанских отрядов, с мая — дивизией в Молодой Донской армии, в 1919 г.— командир гвардейской казачьей бригады, с ноября 1919 г. по март 1920 г.— инспектор донской конницы. 5 (18) мая был назначен П. Н. Врангелем командиром Донского корпуса, в октябре — командующим 2-й армией. В ноябре 1920 г. эвакуировался из Крыма вместе с остатками Русской армии, в Турции в 1920—1921 гг. командовал Донским корпусом. С 1924 г. руководил 2-м отделом «Русского общевоинского союза» в Болгарии и Сербии. После 2-й мировой войны эмигрировал в США.

⁵³ Раковский Г. Н. Конец белых. От Днепра до Босфора (Вырождение, агония и ликвидация).— Прага, 1921.

⁵⁴ И. М. Калинин излагает далее не приказ, а заявление П. Н. Врангеля представителям печати, сделанное между 5 и 9 (18 и 22) апреля.

⁵⁵ Приказ главкома ВСЮР о земле был обнародован 25 мая (7 июня) в день перехода армии в наступление.

⁵⁶ Кривошеин Александр Васильевич (1857—1921) — статс-секретарь, с 1908 по 1915 гг. — главноуправляющий землеустройством и земледелием, член Государственного Совета и Совета Министров, ближайший помощник П. А. Столыпина в проведении аграрной реформы. С июня по ноябрь 1920 г. — помощник главкома ВСЮР по гражданской части, председатель «Правительства Юга России».

⁵⁷ Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — член ЦК партии кадетов в период с 1905 по 1915 гг., с апреля по ноябрь 1920 г. — начальник Управления иностранных сношений.

⁵⁸ Приказ о переименовании армии в «Русскую» был отдан П. Н. Врангелем 28 апреля (11 мая).

⁵⁹ «Корниловцами» именовались чины войсковых частей, получивших именованное шествие генерала от инфантерии Л. Г. Корнилова (1870—1918). Первой такой частью стал Корниловский ударный полк, сформированный из контрреволюционно настроенных офицеров и солдат в августе 1917 г. по приказу Л. Г. Корнилова, командовавшего тогда 8-й армией. В конце декабря 1917 г. при формировании Добровольческой армии в Новочеркасске полк был восстановлен. В сентябре 1919 г. 1-й, 2-й и 3-й Корниловские ударные полки были сведены в бригаду, которая в октябре была переформирована в Корниловскую ударную дивизию. С апреля по ноябрь 1920 г. Корниловская дивизия входила в состав Русской армии.

⁶⁰ «Дроздовцами» именовались чины войсковых частей, получивших именованное шествие генерал-майора М. Г. Дроздовского (1881—1919). Первой такой частью после его смерти стал в январе 1919 г. 2-й стрелковый генерала Дроздовского полк, бывший ядром отряда, приведенного им весной 1918 г. из Ясс на Дон. В июле полк был преобразован в бригаду, которая в августе была развернута в трехполковую Стрелковую генерала Дроздовского дивизию. С апреля по ноябрь 1920 г. Дроздовская дивизия входила в состав Русской армии.

⁶¹ «Марковцами» именовались чины войсковых частей, получивших именное шефство генерал-лейтенанта С. Л. Маркова (1878—1918). Первой такой частью после его смерти стал в июне 1918 г. 1-й Офицерский генерала Маркова полк. В ноябре 1919 г. 1-й, 2-й и 3-й Офицерские генерала Маркова полки были сведены в Офицерскую генерала Маркова дивизию. С апреля по ноябрь 1920 г. Марковская дивизия входила в состав Русской армии.

⁶² «Алексеевцами» именовались чины войсковых частей, получивших именное шефство генерала от инфантерии М. В. Алексева (1857—1918). Первой такой частью после его смерти стал в сентябре 1918 г. Партизанский генерала Алексева пехотный полк. В июне 1919 г. из 1-го и 2-го полков была сформирована Алексеевская пехотная бригада, которая так и не была развернута в дивизию. В апреле 1920 г. остатки алексеевцев были сведены в 1-й Партизанский генерала Алексева пехотный полк, входивший в состав Русской армии до ноября 1920 г.

⁶³ В Добровольческой армии офицеры награждались не орденами бывшей Российской империи, а досрочным присвоением очередных чинов и знаками отличий, учрежденными в 1918—1919 гг. В Донской и Кубанской армиях офицеры награждались всеми орденами бывшей Российской империи и знаками отличий 1918—1919 гг.

⁶⁴ Чины русской армии награждались орденом «Святителя Николая Чудотворца», учрежденным приказом П. Н. Врангеля 30 апреля (13 мая) 1920 г. Орден представлял собой темный железный крест с изображением Св. Николая и надписью «Верой спасется Россия»; шился на трехцветной национальной ленте. Всего было награждено 337 человек.

⁶⁵ Босвой элемент Русской армии (1-й и 2-й армейские, Донской и Сводный корпуса) к началу наступления в Северную Таврию насчитывал до 25 тыс. штыков и сабель. В штабах, тыловых учреждениях и частях насчитывалось более 100 тыс. чинов.

⁶⁶ Бывший командир Конно-Сводного корпуса Б. М. Думенко, арестованный 23 февраля по обвинению в контрреволюции, находился в ростовской тюрьме с середины марта до почти 11 мая; на рассвете этого дня он был расстрелян вместе со своими ближайшими помощниками по приговору выездной сессии Реввоентрибунала Республики. Приписывая во внимание условия его содержания (камера-одиночка и одностенный изолятор тюремной больницы), а также характер, взгляды и тогдашние настроения оклеветанного комкора, встреча и беседа с В. Севским (литературный псевдоним Вениамина Алексеевича Красушкина) представляются невероятными и являются, по всей видимости, вымыслом журналиста.

⁶⁷ Генерал-лейтенант Лукомский Александр Сергеевич (1868—1939) — один из организаторов Добровольческой армии, с октября 1918 г. — начальник Военного управления и помощник главнокомандующего ВСЮР, с сентября по декабрь 1919 г. — председатель Особого совещания, с апреля по ноябрь 1920 г. — военный представитель главнокомандующего ВСЮР при союзном командовании в Константинополе.

⁶⁸ Генерал-лейтенант Гусельщиков Адриан Константинович (1871—1936) — казак ст. Гундоровской, из бедной дворянской семьи. Окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище, участвовал в 1-й мировой войне, в 1917 г. — войсковой старшина, с апреля 1918 г. командовал Гундоровским полком Донской армии, в 1919 г. — начальник 8-й Донской казачьей дивизии, с декабря 1919 г. — командир 3-го Донского конного корпуса, с апреля до ноября 1920 г. — начальник 3-й Донской ка-

зачей дивизии. После эвакуации Русской армии из Крыма командовал Гундоровским полком в Турции и Болгарии, умер во Франции.

⁶⁹ Генерал А. П. Кутенов представил Б. Ратимова П. Н. Врангелю 6 (19) апреля на вокзале в Симферополе, где последний остановился на несколько часов проездом с фронта в Севастополь.

⁷⁰ В Севастополе генералы В. И. Сидорин и А. К. Кельчевский жили на вокзале, в вагоне № 530.

⁷¹ Генерал от кавалерии Драгомиров Абрам Михайлович (1868—?) — с октября 1918 г. являлся председателем Особого совещания, с сентября по декабрь 1919 г. — главноначальствующий и командующий войсками Киевской области.

⁷² Генерал-майор В. П. Никольский временно исполнял должность начальника Военного управления вместо генерал-лейтенанта В. Е. Вязьмитинова в мае — августе 1920 г.

⁷³ 17 (30) мая.

⁷⁴ Фактически был сформирован один Астраханский корпус, включенный приказом П. Н. Краснова 11 (24) октября 1918 г. в состав Южной армии, формирующейся на северной границе Области Войска Донского монархическим союзом «Наша Родина». Корпус формировался прикваторством Астраханского казачьего войска во главе с полковником князем Тундутовым из «казаков и граждан» (имелись в виду калмыки) Астраханской губернии. Осенью 1918 г. — зимой 1919 г. корпус, насчитывавший около 3 тыс. пехоты и 1 тыс. конницы, под командованием генерала Чумакова, действовал к востоку от р. Маныч и под Царицыном, где понес тяжелые потери. В марте 1919 г. А. П. Богаевский передал остатки корпуса в состав 1-го и 2-го армейских корпусов Добровольческой армии.

⁷⁵ Имется в виду 2-я Ставропольская кавалерийская дивизия имени М. Ф. Блинова — первого начдива, погибшего 22 ноября 1919 г. С 4 февраля по 28 июня 1920 г. дивизией командовал И. А. Рожков (1893—1920).

⁷⁶ Генерал-майор Бабиев Николай Гаврилович (1887—1920) — родился в ст. Михайловской Кубанской области в семье казачьего генерала, окончил Николаевское кавалерийское училище в 1909 г. Участвовал в 1-й мировой войне на Кавказском фронте; в 1917 г. — войсковой старшина, командир 1-го Черноморского полка Кубанского казачьего войска. В январе 1918 г. привел свой полк на Кубань и распустил. Участвовал в «Ледяном» походе, был произведен в полковники. С октября 1918 г. — командир Корниловского конного полка, в январе 1919 г. был произведен в генерал-майоры, с августа — командующий конной группой Кавказской армии. В апреле 1920 г. с остатками Кубанской армии эвакуировался с Кавказского побережья в Крым, где был назначен начальником Кубанской казачьей дивизии. 16 (29) июля был назначен командующим конной группой в составе Кубанской казачьей дивизии, 1-й и 2-й конных дивизий. 30 сентября (13 октября) погиб в бою против 2-й Конной армии Ф. К. Миронова в районе Шолохово.

⁷⁷ «Колбасой» в обиходе именовался привязной змейковый аэростат цилиндрической формы, поднимавшийся на высоту до 1 км и использовавшийся для наблюдения и корректировки стрельбы.

⁷⁸ Жлоба Дмитрий Петрович (1887—1938) — рабочий, окончил Московскую авиационную школу, участвовал в 1-й мировой войне, младший унтер-офицер. В сентябре — ноябре 1918 г. — начальник 1-й Стальной дивизии, с декабря — командир Особого партизанского отряда 11-й армии, с января 1919 г. — командир кавбригады, которая в сентябре

под наименованием 1-й Партизанской вошла в состав Конно-Сводного корпуса Б. М. Думенко. Считая себя более достойным места командира корпуса, Д. П. Жлоба явился одним из организаторов клеветнической кампании против командира. После ареста Б. М. Думенко 23 февраля 1920 г. вступил в командование корпусом. 4 апреля корпус получил наименование 1-го конного, в мае три его кавбригады были переформированы в 1-ю и 2-ю кавалерийские дивизии. К 25 июня корпус был переброшен с Северного Кавказа на Крымский участок Юго-Западного фронта и вошел в состав 13-й армии. Командармом-13 Р. П. Эйдеманом была образована Ударная группа в составе 1-го конного корпуса (3800 саб.), 2-й Ставропольской кавдивизии им. М. Ф. Блинова (1340 саб.) и двух кавбригад 40-й стрелковой дивизии (1500 саб.) под общим командованием Д. П. Жлобы. Соотношение сил на Крымском участке сложилось благоприятно для разгрома Русской армии и освобождения Крыма (подавляющее превосходство красных в коннице — 8 тыс. сабель против 4 тыс.). По плану командующего Юго-Западным фронтом А. И. Егорова, Ударная группа Д. П. Жлобы должна была из района Цареконстантиновка — Верхнетокмак рассечь Русскую армию стремительным рейдом по линии Мелитополь — Перекоп. Наступление Ударной группы на Мелитополь началось 15 (28) июня.

√⁷⁹ Решающее сражение произошло 20 июня (3 июля) в районе немецких колоний южнее Большого Токмака. Ударная группа Д. П. Жлобы была разбита наголову, потеряв свыше половины бойцов и лошадей. Врангелевцы захватили 3 тыс. лошадей, на которых были посажены пешие бойцы 2-й кавалерийской и донских конных дивизий. По заключению следственной комиссии Юго-Западного фронта, главной причиной поражения группы стала непригодность Д. П. Жлобы к занимаемой должности.

⁸⁰ В операции против конной группы Д. П. Жлобы для разведки и бомбардировки использовались главным образом новые английские двухместные аэропланы «Хэвилленд ДХ9».

⁸¹ Речь идет о начальнике 2-й Донской дивизии генерале Калинине и о генерале Секретеве.

⁸² Генерал-майор Туркул Антон Васильевич (1892—1957) — с октября 1919 г. командовал 1-м стрелковым генерала Дроздовского полком, в апреле 1920 г. был произведен в генерал-майоры, с августа по ноябрь 1920 г. — начальник Дроздовской стрелковой дивизии.

⁸³ Ввиду провала мобилизаций в Таврии, части Русской армии пополняли убыль состава пленными красноармейцами. Осенью 1920 г. во многих частях, включая «цветные», пленные красноармейцы составляли до 60% рядового состава.

√⁸⁴ Володин Василий Герасимович (?—1920) — командир «отрядов мелитопольского направления» армии Махно, весной 1920 г. был взят в плен и заключен в симферопольскую тюрьму. В июле П. П. Врангель, пытаясь заключить с Н. И. Махно соглашение о совместной борьбе против большевиков, приказал освободить Володина, произвел его в полковники и разрешил формировать отряд из дезертиров. К осени отряд вырос до 300 бойцов, занимался ловлей красноармейцев, бежавших из плена, и грабежом населения. В сентябре, когда армия Махно начала операции против врангелевских частей, вторгнувшись в пределы Александровского уезда и приступивших к мобилизации и реквизициям, отряд Володина стал препятствовать мобилизациям белых в Таврии, грабить обозы войсковых частей и убивать офицеров. По приказу А. П. Кутепова отряд Володина был рассеян, а сам атаман, семеро его ближайших помощников и сестра были преданы военно-полевому

суду и 13 (26) октября расстреляны в Мелитополе.

⁸⁵ Под давлением рядовых участников махновского движения, увидевших во врангелевцах более опасного врага, чем большевики, Н. И. Махно в октябре заключил соглашение с командованием Красной Армии о совместной борьбе против Врангеля. В ноябре, после изгнания врангелевцев из Крыма, Н. И. Махно в третий раз нарушил соглашение с Советской властью. В 1921 г. в условиях проведения новой экономической политики махновское движение лишилось массовой опоры среди украинского крестьянства и выродилось в бандитизм. Сам Н. И. Махно 26 августа 1921 г. бежал в Румынию.

⁸⁶ Генерал-лейтенант Шяллинг Николай Николаевич (1870—1946) — главноначальствующий и командующий войсками Новороссии и Крыма в период с июня 1919 г. по март 1920 г.

⁸⁷ Краснопартизанский отряд Г. Голика численностью до 300 бойцов (в основном из большевистски настроенных крестьян-бедняков) оперировал на юге Бердянского уезда, нападая на тыловые части Русской армии, срывая проведение мобилизаций и реквизиций, разрушая телеграфно-телефонную связь.

⁸⁸ Десант полковника Назарова (около 800 казаков) был высажен на рассвете 26 июня (9 июля) западнее Таганрога с целью проникновения в Область Войска Донского и выяснения степени готовности донских казаков к массовому восстанию. Отряд Назарова, достигнув центра области, вырос до 1,5 тыс. бойцов. 15 (28) июля у станицы Константиновской он был разбит 9-й стрелковой дивизией. Из всего отряда в Крым вернулись только полковник Назаров.

⁸⁹ Генерал-лейтенант Улагай Сергей Георгиевич (1875—1944) — окончил Николаевское кавалерийское училище в 1897 г., участвовал в 1-й мировой войне в рядах Лицейного полка Кубанского казачьего войска, в 1917 г. был произведен в полковники. Участвовал в корниловском мятеже, был арестован, но бежал на Кубань. С февраля 1918 г. — начальник кавалерии в кубанском добровольческом отряде полковника Лисевицкого, с июля — начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии, в ноябре был произведен в генерал-майоры. С марта 1919 г. — командир 2-го Кубанского конного корпуса, в июне — августе временно командовал конной группой Кавказской армии под Царицыном, был произведен в генерал-лейтенанты. С 14 (27) февраля по 12 (25) марта 1920 г. — командующий Кубанской армией. В августе — сентябре командовал морским десантом частей Русской армии из Крыма на Кубань, после поражения десанта был уволен П. Н. Врангелем из армии. В ноябре 1920 г. эвакуировался и впоследствии служил в албанской армии. Во время 2-й мировой войны сотрудничал с гитлеровцами.

⁹⁰ «Земгусарями» в насмешку называли служащих Всероссийских земского и городского союзов — буржуазных общественных организаций, созданных, соответственно, в июле и августе 1914 г. в целях помощи русской армии в снабжении и медицинском обслуживании. Их служащие носили полувосковую форму: защитные френчи, расшитые черными шгурами на груди, синие или черные бриджи, фуражки с чиповичьей или офицерской кокардой, гусарские погонны большого размера с вензелями «ВЗС» или «ВГС».

⁹¹ Имеется в виду защита русской армией Крыма от англо-франко-турецких войск в ходе Крымской войны 1853—1856 гг.

⁹² В боях 11—17 (24—30) августа части 9-й Кубанской армии понесли поражение десанту. К 25 августа (7 сентября) остатки группы генерала С. Г. Улагая (7 тыс. из 11,5 тыс. бойцов) вместе с присоединившимися к ней повстанцами (около 5 тыс.) и захваченными в плен

красноармейцами (до 3 тыс.) были эвакуированы в Крым.

⁹³ Имеются в виду мирные переговоры между делегациями РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польши — с другой. Переговоры начались 2 августа в Барановичах, затем были продолжены с 17 августа в Минске; 2 сентября было принято решение о переносе их в Ригу. 21 сентября переговоры возобновились в Риге.

⁹⁴ И. М. Калинин искажает фамилию. Имеется в виду протоиерей Владимир Востоков (1868—1957) — настоятель церкви Института благородных девиц в Москве с 1906 по 1918 гг.

⁹⁵ Великий князь Кирилл Владимирович (1876—1938), двоюродный брат Николая II, во время Русско-японской войны служил офицером на броненосце «Петропавловск» и был одним из немногих спасшихся, когда броненосец 31 марта 1904 г. подорвался на японской mine и затонул вместе с адмиралом С. О. Макаровым.

⁹⁶ Генерал-лейтенант Витковский Владимир Константинович (1885—?) — с августа 1919 г. командовал Дроздовской дивизией, с августа по ноябрь 1920 г. — командир 2-го армейского корпуса.

⁹⁷ 1 (14) октября.

⁹⁸ Далее И. М. Калинин повествует о событиях, вызванных рейдом 5-й Кубанской кавалерийской дивизии по врангелевскому тылу 1—5 (14—18) октября.

⁹⁹ 12 октября в Риге между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей, с другой, был заключен договор о перемирии и племинарных условиях мира. 18 октября военные действия на Западном и Юго-Западном фронтах были прекращены. Мирный договор был подписан в Риге 18 марта 1921 г.

¹⁰⁰ Генерал-лейтенант Семенов Григорий Михайлович (1890—1946) — атаман Забайкальского казачьего войска с начала 1919 г. по ноябрь 1920 г.

¹⁰¹ Казачья песня «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон», с соответствующими изменениями, была объявлена «народным гимном» Всевеликого Войска Донского Основными законами, принятыми «Кругом спасения Дона» 4 (17) мая 1918 г.

¹⁰² 21 сентября постановлением РВСР был образован Южный фронт (командующий — М. В. Фрунзе) с задачей разгрома армии Врангеля и освобождения Крыма. К концу октября в состав фронта входили: 4, 6, 13, 1-я Конная и 2-я Конная армии (всего 99,5 тыс. пехоты и 33,6 тыс. сабель).

¹⁰³ Генерал-лейтенант Барбович Иван Гаврилович (1874—1947) — окончил Елизаветградское кавалерийское училище в 1896 г., участвовал в Русско-японской и 1-й мировых войнах, в 1917 г. — полковник, командир 10-го гусарского Ингерманландского полка. В январе 1919 г. вступил в Добровольческую армию, с февраля — командир 2-го Конного полка, с июня — командир Отдельной кавалерийской бригады 3-го армейского корпуса, с июля — командир 1-й бригады 1-й кавалерийской дивизии. В декабре 1919 г. был произведен в генерал-майоры и назначен командиром 5-го кавалерийского корпуса, затем — Сводно-кавалерийской бригады (в феврале 1920 г. была развернута в одноименную дивизию). С мая 1920 г. — начальник 1-й кавалерийской дивизии, был произведен в генерал-лейтенанты, с сентября — командир кавалерийского корпуса. После эвакуации остатков Русской армии в Турцию был назначен начальником 1-й кавалерийской дивизии, перевезенной в 1921 г. из Галлиполи в Сербию. С 1924 г. — начальник IV отдела «Русского общевойскового союза» в Белграде. В 1941 г. отказался сотрудничать с немцами, оккупировавшими Югославию.

¹⁰⁴ После ряда поражений, понесенных от 9-й Кубанской армии, остатки «Армии возрождения России» генерала М. А. Фостикова (около 2 тыс.) пробились к Черноморскому побережью и 22—23 сентября (5—6 октября) были перевезены кораблями Черноморского флота в Крым и влиты в Русскую армию. М. А. Фостиков был произведен в генерал-лейтенанты, а после эвакуации в Турцию назначен командиром Кубанского корпуса, в который вошли остатки всех кубанских казачьих частей.

¹⁰⁵ 31 октября (13 ноября), приняв решение об эвакуации Крыма, генерал П. Н. Врангель заключил в Севастополе с «верховным комиссаром Франции в Крыму» графом де Мартеlem соглашение, по которому французский флот обеспечивал перевозку Русской армии и беженцев в Турцию, после чего русские военные и торговый флоты подлежали передаче Франции как «залог» в уплату расходов по их перевозке и содержанию в Турции. Один из пунктов соглашения оговаривал, что на всех военных и торговых судах вместе с русским будет поднят французский флаг.

¹⁰⁶ 22 ноября в шторм затонул шедший на буксире у парохода «Голланд» старый эскадренный миноносец «Живой» с двумя сотнями донских офицеров. В Константинополь из портов Крыма пришло 126 судов разных классов, на которых находилось до 130 тыс. человек.

¹⁰⁷ В 1918 г. в центральных районах Турции, поверженной союзницы Германии, началось национально-освободительное движение против колониального раздела страны державами-победительницами. Во главе движения встал генерал турецкой армии Мустафа-Кемаль (1880—1938).

¹⁰⁸ Имеются в виду Первая (октябрь 1912 г.—май 1913 г.) и Вторая (июнь — август 1913 г.) Балканские войны. Главными итогами войн явились потеря Турцией почти всех своих европейских владений и переход Болгарии на сторону Австро-Германо-Турецкого блока.

¹⁰⁹ Генерал-майор Фицхелауров Александр Петрович (1878—?) — казак ст. Новочеркасской, окончил кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище в 1899 г., участвовал в Русско-японской и 1-й мировой войнах. В 1918 г. командовал Северным отрядом Донской армии, в 1920 г. — отдельной бригадой, входившей в состав Донского корпуса.

¹¹⁰ Спаги — военнослужащие колониальных (северо- или западноафриканских) кавалерийских частей французской армии.

¹¹¹ Речь идет, соответственно, о Добровольческом, Донском и Кубанском корпусах, в которые были сведены в Турции остатки Русской армии.

¹¹² Генерал от кавалерии Шатилов Павел Николаевич (1881—1962) — с июня по ноябрь 1920 г. являлся начальником штаба главкома ВСЮР (Русской армии), продолжал занимать эту должность после эвакуации в Турцию.

¹¹³ Описываемое далее И. М. Калининым вооруженное столкновение казаков с французами произошло 12 января 1921 г.

¹¹⁴ «Кутепией» был прозван лагерь Добровольческого корпуса генерала А. П. Кутепова на Галлиполиском полуострове.

✓¹¹⁵ После эвакуации в Турцию за резкую критику действий П. Н. Врангеля генерал Я. А. Сланцов был судим судом чести и 21 декабря уволен из армии без права ношения мундира. В 1921 г. в Константинополе была дважды опубликована его брошюра «Требую суда общества и гласности (Оборода и сдача Крыма). Мемуары и документы», в которой он рассказывал об интригах, царивших во врангелевском генералитете, и показал неумение П. Н. Врангеля и его штаба руководить военными операциями на широком фронте. В октябре 1921 г.,

получив предварительно гарантию амнистии, Я. А. Слащов возвратился с семьей в РСФСР. В июне 1922 г. он добровольно вступил в Красную Армию, служил преподавателем тактики на курсах усовершенствования состава РККА «Выстрел» (Москва). 11 января 1929 г. был застрелен на своей квартире неким Коленбергом, мотивировавшим убийство мезью за брата, казненного в Крыму якобы по приказу Я. А. Слащова.

¹¹⁶ Генерал-майор Скоблин Николай Владимирович (1894—1938) — с ноября 1918 г. командовал Корниловским ударным полком, с октября 1919 г. по ноябрь 1920 г. — командир Корниловской ударной дивизии, с декабря 1920 г. в Галлиполи и позже в Болгарии командовал Корниловским полком. С 1922 г. возглавлял объединения корниловцев в Болгарии и Франции, являлся председателем «Общества галлиполийцев». С 1920 г. был женат на известной русской певице Н. В. Плевицкой. Осенью 1930 г. был завербован ОГПУ; при его непосредственном участии в 1937 г. был похищен в Париже и вывезен в СССР председатель «Русского общевойскового союза» генерал Е. К. Миллер. Погиб в 1938 г. в Испании при невыясненных обстоятельствах.

¹¹⁷ Имеется в виду «поход бедноты» во главе с монахом Петром Пустынным (Амьенским) за «освобождение гроба господня». Летом 1096 г. около 30 тыс. сельских бедняков из стран Европы, направляясь в Иерусалим, достигли Константинополя.

¹¹⁸ М. Конради — швейцарец, бывший капитан Дроздовской дивизии и личный адъютант генерала А. В. Туркула, 10 мая 1923 г. в Лозанне застрелил В. В. Воровского, генерального секретаря советской делегации на Генуэзской и Лозаннской конференциях. С. Таборицкий — белогвардейский офицер, черносотенец, вместе с Р. Шабельским-Борком устроили в апреле 1922 г. в Берлине покушение на П. Н. Милокова, в результате которого был убит другой лидер партии кадетов — В. Д. Набоков, отец писателя В. Набокова.

¹¹⁹ А. Р. Козловский — бывший генерал царской армии, командовал артиллерией крепости Кронштадт, возглавил «штаб обороны», руководивший мятежом (28 февраля — 18 марта 1921 г.).

¹²⁰ «Русский Совет» был сформирован П. Н. Врангелем в марте 1921 г. как «преемственный носитель законной власти» с целью консолидации вокруг себя всех антисоветских сил, стоявших на монархической платформе. Не признанный ни правительствами стран Западной Европы, ни большинством эмигрантских организаций, прекратил свое существование в сентябре 1922 г. после переезда в Сербию.

¹²¹ В конце ноября 1920 г. корабли Черноморского флота, которые французы считали своей собственностью, были уведены ими в Бизерту (порт в Тунисе, находившемся под протекторатом Франции). В феврале 1925 г. по требованию французов русская Черноморская эскадра, стоявшая в Бизерте, была передана местной морской префектуре; андреевский флаг на кораблях был спущен. В 1932 г. большая часть кораблей была продана французами на металлолом.

¹²² Имеются в виду Французский Судан и Сенегал, входившие в состав Французской Западной Африки, колониального владения Франции с 1895 по 1958 гг.

¹²³ Имеется в виду эвакуация из Одессы, Севастополя и Новороссийска, происходившая в январе — марте 1920 г.

¹²⁴ Зауряд-врачи — выпускники гражданских медицинских учебных заведений, призванные в армию из запаса и занимавшие офицерские должности, не имея офицерских чинов.

✓¹²⁵ В 1919 г. «волчий» дивизион генерала А. Г. Шкуро носил пахаи волчьего меха и верблюжки башлыки с волчьим хвостом на конце.

Знамя дивизиона — стеганая волчья шкура, в центре — серебряная голова волка с разинутой пастью; носилось знамя на казачьей пике с двумя волчьими хвостами.

✓¹²⁶ Подавление кемалистского движения державы Антанты возложили на Грецию, которой был обещан Измирский район. К сентябрю 1921 г. греческие войска приблизились к Ангоре (совр. Анкара), где находилась ставка Мустафы-Кемалю. В августе 1922 г. турецкая армия разбила греческих оккупантов и очистила от них всю Анатолию.

¹²⁷ Сербия входила в состав Королевства Сербов, Хорватов, Словенцев, образовавшееся 1 декабря 1918 г. (с октября 1929 г. — Королевство Югославия). Короли С. Х. С. — Петр I Карагеоргиевич, с 17 августа 1921 г. Александр I Карагеоргиевич, а также глава правительства Н. Пашич, лидер Сербской радикальной партии, активно поддерживали П. Н. Врангеля. Генерал П. Н. Шатилов, направленный в Белград в конце марта 1921 г., в июне достиг с правительством С. Х. С. договоренности о размещении в Сербии 7 тыс. человек.

¹²⁸ «Общеказачий сельскохозяйственный союз» был организован весной 1921 г. в Константинополе казачьими политическими деятелями эсеровского направления.

¹²⁹ Считая Русскую армию наследницей армии, освободившей Болгарию от турецкого ига, болгарское правительство во главе с лидером Болгарского земледельческого народного союза А. Стамболийским в начале мая 1921 г. дало согласие на прием 2 тыс. казаков. В августе между военным представителем главкома Русской армии генералом В. Е. Вязмитиновым и начальником штаба болгарской армии полковником Топалджиковым было подписано соглашение о размещении в Болгарии частей Русской армии с полным сохранением войсковой организации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Слово историка. С. Карпенко	3
I. После Новороссийской катастрофы	9
II. Донская крамола	18
III. Лавочка	27
IV. Генерал Врангель	34
V. Гром грянул	40
VI. Опытная ферма	48
VII. Процесс донских генералов	53
VIII. Приговор	71
IX. Перед наступлением	79
X. Выход из бутылки	87
XI. Чуть не крах	98
XII. Война или набег?	107
XIII. Борьба с преступностью	117
XIV. Крестьянские думы	128
XV. В глубоком тылу	139
XVI. Черные вороны	153
XVII. В Орехове	163
XVIII. Ночной налет	170
XIX. Начало конца	179
XX. «Хал-Граб-Драп-Армия»	187
XXI. Никому не нужные	200
XXII. На море и на суше	212
XXIII. Чилингирская жизнь	222
XXIV. Санджакский инцидент	239
XXV. В Маль-Тепэ и Серкеджи	248
XXVI. Ницета среди изобилия	269
XXVII. Во дни Кронштадтского мятежа	279
XXVIII. Тайна Лемноса	289
XXIX. Островитяне	301
XXX. Распыление	319